

Фридрих Горенштейн.

ПСАЛОМ

ПСАЛОМ

Фридрих Горенштейн



Фридрих Горенштейн

ПСАЛОМ

Роман-размышление о четырех казнях Господних

● СТРАНА И МИР

**Ф. Горенштейн. Псалом.
Все права принадлежат автору.**

Иллюстрации Бориса Рабиновича

**Fridrich Gorenstein: Der Psalm. Roman.
Verlag: Strana i mir (Das Land und die Welt e. V.), München 1986.
Satz: N. Eske. Umschlag und Abbildungen: B. Rabinovich.
Druck: Verlagsdruckerei E. Rieder, Schrobenuhausen, BRD
Alle Rechte vorbehalten.
Printed in the Federal Republic of Germany.**

ПСАЛОМ

Роман-размышление о четырех казнях Господних

Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его.

Вторая книга Моисеева. Исход

Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная.

Пушкин

Наслышался и про вашу живопись. Бог дал вам одно лицо, а вы себе – другое. Иная и хвостом, и ножкой, и языком, и всякую Божью тварь обзовет по-своему, но какую штуку ни выкинет, все это одна святая невинность.

Шекспир, "Гамлет"

Памяти моей матери

I



Увы! Шум народов многих! Шумят они, как шумит море. Рев племен! Они режут, как режут сильные воды! — Так изрек Исайя, сын Амосов, пророк, за восемь веков до Вифлеемской звезды предсказавший Рождество Младенца, Ребенка, Сына своему сердечно любимому непослушному и упрямому народу. Народу, изнемогавшему среди рева и топота со всех сторон. Так изрек пророк, чутким ухом уловивший самый опасный, тяжелый топот с Севера.

Да, шумно и суетливо на земле. Но чем выше к небу, тем все более стихает шум и чем ближе к Господу, тем менее жалко людей. Вот почему Господь, чтоб пожалеть человека, шлет на землю своих посланцев. Не сам по себе шлет их на землю Господь, не сам избирает, а шлет тех, кого изберут и обозначат пророки. Такое право дал человеку Господь лишь в самом начале бытия, при сотворении мира. "Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел их к человеку, чтоб видеть как он назовет их и чтоб как нарежет человек всякую душу живую, так и было имя ей". Этим заложил Господь в человеке силу Творца и приобщил человека к тайне искусства. На седьмой день творения было Рождество искусства, на седьмой день был человеку этот Божий подарок, и по сей день сохранил Господь его для избранных. Из среды этих избранных выделил Он пророков-предсказателей великих и малых, а из среды пророков выделил лишь трех — Моисея, создателя Божьего Закона, Исайю, предсказавшего Мессию, Христа из

колена Иудина и Иеремию, предсказавшего Анти-мессию, Антихриста из колена Данова.

На смертном одре своем Иаков, зачинатель Израиля, сообщал каждому из двенадцати сыновей своих его будущее, чтоб не было у сыновей любопытства к своей судьбе и все силы свои они отдали лишь на исполнение Завета. Четвертому сыну Иуде он сказал:

— Иуда! Тебя восхвалят братья твои. Твоя рука на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычи сын мой поднимается. Преклонился он, лег, как лев и как львица, кто поднимет его. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его, доколе не придет Примиритель и Ему покорность народов...

Шестому сыну своему, Дану он сказал:

— Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. Дан будет змеем на дороге, Аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад...

От полноты силы и похоти льва родился Мессия-Христос, от Аспида, змеи, заменявшей древним палачам и самоубийцам орудие смерти, родился Анти-мессия-Антихрист. И в великий день Благословения и Проклятия, когда Моисей из колена Левия учил народ любить Бога и страшиться злословия, они стояли порознь. Колено Иудино на горе Благословения Геризим, колено Даново — на горе Проклятия — Гевал.

Далеко тогда ушло уж время от седьмого дня Творения, святого дня Рождества искусства. Уж мука мысли, самая страшная земная пытка, которой впоследствии подвергся Шекспир, гений, тесно прижавшийся к земле и отринутый Небесами, ибо тот, кто так силен в помыслах человеческих всегда слаб в помыслах Божьих, уж мука мысли пытала челове-

ка, мука, за которую он был изгнан из Эдема и проклят на вечный труд. Уж и искусство, святой Подарок Господа, научился человек обращать против Того, Кто Подарил. И первое проклятие, которое было произнесено на горе Гевал по Заповеди Моисея было:

— Проклят, кто сделает изваяние или литой кумир, мерзость пред Господом, произведение рук художника и поставит его в тайном месте!

Но человек, терзаемый желаниями и стыдом, порожденными от Древа Познания Добра и Зла, продолжал не знать пределов своих и не имел страха. Он создавал кумиры уже не тайно, а открыто, возносил к небесам таких же, как он, грешных и себе подобных... Тщетно, подобно гласу в пустыне зывал великий пророк-страдалец Иеремия:

— Язык их выстроган художником, и сами они оправлены в золото, но ложны и не могут говорить. И ничем иным они не делаются, как тем, чем желали их сделать художники. Видя толпу спереди и сзади их поклоняющуюся перед ними, скажите в уме: Тебе должно поклоняться, Владыко...

Однако с Иеремией за пророчество поступили по традиции, его били и посадили в подвал Ионафанписца, превращенный в народную темницу. Когда же страдания Иеремии стали таковы, что он мог умереть, царь проявил к нему милость и перевел его в свою царскую темницу, во двор стражи, где ему давали хлеба.

”Царь дал приказание Авдемелеху Ефиоплянину, сказал: Возьми с собой отсюда тридцать человек и вытащи Иеремию пророка, доколе он не умер. Авдемелех взял старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустил их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдемелех Иеремии: положи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мыш-

ки рук твоих, под веревки. И сделал так Иеремия. И потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы и оставался Иеремия во дворе стражи”.

Так страдал великий еврейский пророк, предсказавший Антихриста из среды братьев своих из колена Данова и создавший легендарное учение о непротавлении нечестивцу злом и насилием, которое через семь веков было заимствовано у него и стало всемирно известным. Ибо всякий пророк проповедует против царя и против народа и ими преследуется и казнится. Потому Господь, который не мог всеобщим наказанием погубить многих грешных, дабы при том не погибли немногие праведные, ибо жизнь его Рукопись Божья, а даже земной творец, если только он не работает в стиле социалистического реализма, не может погубить злое, оставив доброе, а может лишь, подобно Гоголю, бросить всю рукопись в огонь, казнив ее целиком. Итак, Господь, который еще со времен Ноя отказался от всеобщей казни, создал против казней царских и казней народных четыре тяжких Казни Господни. Вот они, как изложил их пророк изгнания Иезекииль.

Первая Казнь — меч, вторая — голод, третья — зверь, толкуемый, как похоть, четвертая — болезнь, моровая язва...

Иногда приходят эти казни вместе, иногда порознь, иногда усиливается одна, иногда другая... Но в тот год, когда свершилось предсказание мученика-пророка Иеремии, и Дан из колена Данова, Аспид, созданный не для благословения, а для Суда и Проклятия, Антихрист явился на землю, особенно усилилась Вторая Казнь Господня — голод. Сбылось сказанное пророком Иезекиилем.

— И пошлю лютые стрелы голода, которые будут губить, пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас...

Тогда пришел на землю Дан из колена Данова, Антихрист... Было это в 1933 году, осенью, неподалеку от города Димитрова Харьковской области... Там было начало Первой Притчи. Ибо когда приходят Казни Господни, обычные людские судьбы слагаются в пророческие притчи.

ПРИТЧА О ПОТЕРЯННОМ БРАТЕ

— Пришла жатва, кончилось лето, а мы не спасены, — так говорил пророк Иеремия в пасмурный, как ныне, день, глядевший на пустые поля земли обетованной, которые в осенние сумерки были необжиты и страшны, как и темное, грозное небо над ними, — смотрю на землю и вот она разорена и пуста — на небеса, и нет на них света.

И действительно, из окна бывшего кабака, ныне народной чайной колхоза "Красный пахарь", видна была та же самая земля и то самое небо, которые терзали сердце еврейского пророка, проникнутое состраданием, сердце пессимиста-человеколюбца, печальника-псалмопевца.

Надо попутно заметить, что если более чем две тысячи лет нынешней цивилизации почти не изменили характер оптимиста, не убавив у него ветренных легких восторгов и не прибавив ума, то пессимист изменился полностью... Утратив лиричность, он приобрел философскую остроту и надменное презрение к жизни... Впрочем, из всех, собравшихся в тот вечер в народной чайной колхоза "Красный пахарь", обо всем этом имел понятие только один человек, да и тот подросток, почти что мальчик, причем явно

не из местных, так что на него остальные посетители первое время довольно часто поглядывали. Мальчик этот сидел в стороне от общества, в самом неудобном месте, за столиком у окна. Одет он был по-городскому и вида явно еврейского, но так как в этот год коллективизации и неурожая из города приезжало множество уполномоченных и среди них немало евреев, то мальчик-подросток вскоре примелькался посетителям и о нем забыли. К тому ж от окна, частично заколоченного фанерой, сильно дуло и столиком у окна никто из опытных посетителей не пользовался.

Посетители чайной были в тот вечер из самой зажиточной по нынешним временам части местного населения — трактористы-ударники, собравшиеся после районного слета. По случаю слета в буфет привезли селедку и булочки, а в чайную семечки и монпансье-леденцы. И потому с раннего еще утра ударникам-трактористам начали досаждать нищие. Да еще полбеды, если только из своего села Шагаро-Петровского. Шли отовсюду — из Ком-Кузнецовского, и из поселка Липки, и с хуторов...

— Господи! Иисусе-Христе... Сыне Божий...

Этот припев, исполняемый то звонким детским голосом, то старческим заплетающимся шепотком испокон веков сопровождал традиционный русский неурожай и голод. И во времена Бориса Годунова, и во времена более поздние, описанные Львом Толстым и Короленко, отцы и матери и все работающее население в разорении и голоде становилось нахлебником детей своих и стариков, живя Христовым именем. Когда-то Короленко назвал нищенство на Руси грандиозной народной силой. Однако ныне к неурожаю и голоду прибавились страхи и волнение, и эта сила, последняя сила в беде, начала изнемогать. Церковь за грехи ее стала прахом, а о народе

без пастыря давно еще с тоской сердечной сказал Иеремия:

— Неразумные они дети и нет в них смысла, они умны на зло, но добра делать не умеют.

И ранее не все подавали с охотой, не по доброму сердцу, а из страха перед грехом. Ныне же все грехи небесные были отменены новой властью, а в церквах, где еще недавно священники равнодушными устами превращали живые истины в мертвые побрякушки, в церквах ныне пахло сырым погребом, спиртной запах стоял от преющей соломы и дурно хранящейся картошки. Иисус Христос из колена Иудина был повсюду отменен и заменен, снят со стен в местах общественных, соскоблен и заклеен. Но нищенствовали по-прежнему Христовым именем хотя бы потому, что ничего другого для нищих придумано не было, ибо нищий, испокон веков стоящий на самой низкой ступени общества, для пропитания своего может пользоваться лишь самым высоким, чтобы воздействовать на черствость братьев своих. Но кто мог додуматься нищенствовать именем Совета Народных комиссаров и при этом не сойти за провокатора, караемого ГПУ? Поэтому Христово имя для нищенства было сохранено как анахронизм, подобно некоторым маркам дореволюционных папирос.

Итак, к вечеру, когда в народной чайной раздался обычный припев:

— Господи! Иисусе Христе... Сыне Божий, — мало кто поднял голову от беседы или от питья морковного чая с леденцами монпансье, или от настоящего застолья, что шумело у стола бригадира. Там стоял штоф разбавленного спирта и лежало на тарелках рядом с селедкой настоящее розовое сало...

Незадолго перед этим подали двум мальчикам-братьям, которые пели и плясали "цыганочку", по-

том старику, потом женщине с грудным младенцем... Нищета назойлива, у нищеты нет ни такта, ни совести, ее желание — побольше урвать для себя, опередив своего же брата нищего...

Вошедшая в чайную девочка явно не желала знать о том, что люди устали за день, что они ели и пили свое, добытое тяжелым трудом, а также счастливым везением и привилегией, что нищие надоели им, как слепни, сосущие кровь рабочей лошади.

Вообще, в нищенстве детей есть нечто наглое и требовательное в отличие от нищенства взрослых и особенно стариков. Во-первых, ребенок-нищий редко плачет, стараясь разжалобить, а если плачет, то явно фальшиво, видно, что его научили плакать, а не он сам. Во-вторых, благодарит он за подавание без удовольствия, а часто и вовсе не благодарит, берет как должное, словно все вокруг должны ему и словно все вокруг ему родные отец и мать. К тому ж в народной чайной женщин не было, а мужчина в чайной подаст скорее, если нищий его не разжалобит, а наоборот, развеселит, как щедро подали двум братьям, плясавшим "цыганочку". Но девочка, видно, нищенствовала недавно, она не веселила публику, просто шла меж столиков, заученно произнося Христово имя звонким голоском, как детскую считалку. Лицо у девочки было типично "бабье", спокойное, в серых глазах нечто меж глупостью и добротой, а в губах уже женское, припухлое, но понятное не ей, а более со стороны и лишь опытному глазу. Такие лица обычно бывают круглы и сыты и от малого, от кусочка хорошего хлеба и ломтика сала, но, видать, малого этого не было давно. Малое это щедро лежало на столе бригадира, но от того богатого стола ее прогнали, а у других столов, победнее, на нее никто и внимания не обратил, даже леденца не подал или горстки семечек. Тому, как известно,

были причины — народ жил трудно, устал от нищих и не боялся греха. Девочка, обойдя все столики, направилась было к последнему, самому дальнему, где сидел городской мальчик еврейского облика. Но вдруг остановилась в нерешительности. Надо заметить, что все нищие, посещавшие чайную в этот вечер, не подходили к дальнему столику, наверное, опасаясь городского чужака. Девочка тоже сразу признала в нем чужака, но не потому она остановилась в нерешительности. Свои не подали, и она как раз решила спросить у чужака в надежде, что тот подаст. Взгляд остановил ее, мгновение, словно вспышка огня межзвездного из темных глаз. Она, конечно, не знала, что это взгляд Аспида, Антихриста, предсказанного пророком.

Нет, не того Антихриста, о котором кликушествуют христианские живописцы и проповедуют философы, не Антихриста — врага Христа, и не того Антихриста, которым балуются мистики-модернисты, называющие Антихриста Творцом и ставящие его выше Бога, а Антихриста, который вместе с Братом своим делает Божье... Один послан для Проклятья и Суда, другой для Благословения и Любви... Один с горы Проклятия Гевал, другой с горы Благословения Геризим... Лишь на мгновение, подобно блеску молнии, не сдержал своих чувств Дан из колена Данова, предсказанный Иеремией, но тягостно вдруг стало в народной чайной, затих говор, и все головы, даже и бригадира трактористов, человека влиятельного, втянуты были в плечи невольно и бессознательно, что случается, когда мимо пронесется нечто тяжелое или острое, несущее смерть...

Причина несдержанности чувств у Дана была тоска по дому своему, которая была свежа, как недавно вырытая могила. Ненастный вечер с дождем, столь нередкий осенью на Харьковщине, еще более

усилил эту тоску, которая доходила до крайности при виде чужих, далеких сердцу его лиц, к тому ж веселивших друг друга и друг другу приятных, что подбавляло последние капли к жгучей тоске чужака... Весь вечер Дан, Антихрист, впечатлительный как все еврейские дети, старался найти для глаз своих, умных и злых глаз Аспида, покойный предмет, чтоб если не развеселить душу, то хотя бы дать ей передохнуть. Но обращался ли он внутрь народной чайной, повсюду были темные головы отступников, и на унылых лицах не было ни тени лиризма, на наглых — ни тени величия, а на добрых — ни тени ума. Обращал ли он свой взор вне народной чайной, и за окном являлась та, российская, осенняя провинциальная безнадежность с мокрыми тополями у дороги, с собачьим лаем, с двумя-тремя мигающими вдали огоньками, что хоть закричи, хоть заплачь, ничего против нее не действует, кроме стакана бурякового самогона. Но славянский рецепт был непригоден сыну Иакова, в забвении видевшему подобие смерти. Смерть же, столь возвеличенная во многих восточных религиях и философских системах, была ненавистна народу его, смерть ли физическая, смерть ли в буддийском созерцании... "Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе, кто будет славить Тебя. Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей". Так сказано в псалме номер шесть. Смерть лишает человека возможности исполнять долг свой — сознательно любить Господа. В буддистской же нирване он любит не Господа, он любит себя... Всякому посланцу Неба, идущему земным путем, не избежать человеческого. Дан помнил это наставление, оно было записано на повязках его рядом с изречениями из Закона Моисеева, повязках, прикрепленных к запястьям. Но здесь, на Харьковщине, в первые часы

свои все человеческое было еще чуждо Дану, и потому он обратил взор свой внутрь себя и увидел город свой, освещенный солнцем месяца Авив.

Овечьи ворота и Рыбные ворота, и ворота Источника у водоема Селах против Царского сада у ступеней... И Печную башню... И Оружейную на углу близ гробницы Давидовой. И выкопанный пруд у дома Елиашива, первосвященника. И верхний дом царский возле двора темничного, где страдал великий провидец Иеремия. И стену Офел. И Конские ворота против дома торговцев. И Водяные ворота на площади Торговцев, где с деревянного возвышения великий книжник Ездра от рассвета до полудня читал народу, павшему духом в Вавилонском угнетении, Книгу Закона Моисея, и уши народа были приклонены к Книге. Ездра из колена Левия читал, а священники поясняли. Дан знал, что Ездра пережил самое счастливое, что может пережить пророк — редкую покорность народа добру. "И открыл Ездра Книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал".

Дан помнил, что, приобщаясь к великому, слушая слова Закона, весь народ стоя плакал от счастья. Тот самый народ, который несколькими веками ранее сжег проповеди Иеремии, а несколькими веками позже отверг царя своего Иисуса из колена Иудина. Дан знал, что Брат его Иисус мечтал об успехе, выпавшем на долю Ездры, Брат мечтал подняться с рассветом на деревянное возвышение среди площади Торговцев у Водяных ворот и увидеть в глазах народа радостные слезы раскаяния. Ибо он любил народ свой так же страстно, как великий книжник Ездра, свой народ с медными лбами упрямы и железными жилами в шее, жилами непокорности Господу. Он любил свой народ так, что

порой даже терял благородство в словах. Это ведь Он, Иисус, Брат Дана сказал, что живет ради своих злых детей, а не ради чужих добрых псов. Но эту его мысль, которую весьма бегло и неполно, но по сути ясно изложил евангелист Матфей, христианские проповедники, начиная с Савла из колена Вениаминова, впоследствии апостола Павла, первого выкреста на земле, христианские проповедники как-то ухитрились не заметить... Брат его жил и боролся ради своего народа и умер от рук тех, кто сотрудничал с римскими оккупантами, кого по нынешним временам именуют коллаборационистами. Так же, как свои угнетенные братья не поняли его любви к ним, так же и чужие угнетатели не поняли его ненависти к ним. В истории с римлянином Пилатом, пытавшимся выручить Иисуса, повторяется история с Навузарданом, начальником телохранителей царя Вавилонского, выручившего Иеремию из темницы, куда он был посажен своими братьями как пораженец. Ибо и Иеремия, и Иисус указывали на путь непротивления злу, который кажется идеалистическим только тем, кто не понимает основы еврейской мысли — крайняя практичность в бытии, при предельной метафизичности в Небесном. Путь непротивления злу перед лицом сильного нечестивца возможен, однако, при одной важной оговорке, указанной у Иеремии. В принципе она звучит так: пусть нечестивец берет все, но и ты должен взять у нечестивца в качестве добычи своей душу свою... Главное перед лицом нечестивца сохранить как добычу душу свою, ибо нечестивец душу свою рано или поздно потеряет, а любовью твоей, которой ты полюбишь его взамен за зло его, воспользоваться не сумеет. Ты же сам ею и воспользуешься. Вот она, предельная еврейская практичность мысли о непротивлении злу насилем... Но перед лицом со-

временного нечестивца, созданного движением цивилизации, все менее возможна оговорка пророка Иеремии, оговорка, которую знал и на которую рассчитывал Брат Дана Иисус из колена Иудина, Брат с горы Благословения Геризим...

Ох, как далеко в мыслях своих и видениях своих ушел Дан от осеннего дождливого вечера села Шагаро-Петровское Димитровского района Харьковской области к тому моменту, когда девочка-нищенка направилась было к нему в надежде, что он ей подаст милостыню. В первые секунды, когда он обратился к ней еще не остывший от Нездешнего взор, она сильно испугалась, так испугалась, что и хотела бы закричать, да сил нет. Когда же силы начали к нищенке возвращаться, Дан уже протягивал ей кусок хлеба, который достал из своей пастушьей сумки грубой необработанной кожи. Хлеб этот был нечистый хлеб изгнания, завещанный Господом через пророка изгнания Иезекииля. Испечен он был из смеси пшеницы и ячменя, бобов и чечевицы. За грехи завещал Господь печь этот нечистый хлеб изгнания на человеческом кале, но пророк Иезекииль выпросил у Господа право печь его на коровьем помете...

И тот, кто подавал, и милостыня его пугали девочку, но она была голодна и взяла кусок нечистого чужого хлеба. Гул прошел по народной чайной. Общество было уязвлено. Что-то старое, полузабытое всколыхнулось сперва в наиболее добрых лицах, затем перешло к лицам унылым, а затем своеобразно, в виде негодования, коснулось и лиц наглых. Они, местные люди, своя кровь, отказали девочке-нищенке, в то время как чужак, городской еврей подал ей. Сперва сидевший ближе всех над морковным чаем худой мужик, еще не старый, но уже без передних зубов, так что хлебные корки ему

приходилось мочить в кипятке, а уж потом не жевать, а сосать, что было, кстати, и экономней, — сперва этот беззубый протянул девочке такую размокшую корку, потом другой поодаль дал ей два леденца монпансье, кто-то сыпанул горсть семечек и наконец от самого богатого стола, где сидел бригадир трактористов, девочку поманил сам "ваше благородие".

— Иди, дура, — шепнул ей беззубый мужик, — не робей... Петро Семенович теперь добрый. Ты сальца проси...

И точно, едва подошла девочка к столу, как бригадир Петро Семенович торжественно и на глазах всей публики, как вручают награду ударнику — отрез полотна в два метра или сапоги — вручил ей кусочек сала на газетной бумажке...

— Вот так, — сказал Петро Семенович, — а ты к чужим обращаешься за помощью... Чужой, он, может, еще и из враждебного лагеря, кулак или подкулачник... Это еще треба уразуметь...

Петро Семенович был в данный момент человек выпивший, и его тянуло на разные политические высказывания. Девочка же, не смея возражать и будучи испугана второй раз за короткое время, правда, по другому поводу, молча взяла сало и начала его заворачивать в газету.

— А что ж ты не ешь, дитяtko, — сказал Петро Семенович, на которого вдруг нашло новое и он прослезился, — кому ж ты бережешь, такая малая? Разве ж есть у тебя дети?

— Меня на крылечке брат Вася дожидается, — робко сказала девочка.

— Брат Вася, — сказал Петро Семенович, — то добре. А тебя ж как звать?

— Мария, — сказала девочка.

— А отчего ж это, Мария, брат твой Вася тебя

просить посылает, а сам на крылечке прохлаждает-ся?

— Он малый еще... Боится...

— Отчего ж бояться, — обиделся Петро Семенович, — здесь не звери... Свой народ... Село... Другое дело посторонние люди... Их следует бояться, ежели они без мандата... Ты, видать, местная, что тебя в такой поздний час отец просить пускает...

— Отец прошлый год помер, — сказала Мария.

— А как звали отца? — спросил Петро Семенович.

— Не знаю, — сказала Мария.

— Это как же понять, — удивился Петро Семенович, — а мать твою как звать?

— Не знаю, — сказала Мария, — мать и мать.

— Э-э, — сказал Петро Семенович и по-хохлацки вытер большим указательным пальцем концы губ своих, — да тебя, дитя, кто-то дурному научил...

— Брось, Петро, — сказал чернявый, сидевший от бригадира по правую руку, — хай ее идет...

— Нет, подожди, Степан, — сказал Петро Семенович, — тут что-то нечисто... А фамилие твое как?

— Не знаю, — сказала девочка уже едва не плача.

— Тикай, — шепнул ей беззубый мужик, шепнул едва слышно.

Но Петро Семенович, который разом возбудился и попал в свою колею, уловил и засек шептуна.

— Я тебе пошепчу, — сказал он, прихватив девочку за руку, — в сибирские переселенцы захотел? Я знаю, что по хуторам скрываются многие семьи кулаков и подкулачников, чтоб не переселяться в Сибирь... Ты ж с хутора, — сказал он, приблизив к Марии свое страшное лицо с сабельным шрамом от гражданской войны.

— С хутора, — едва живая от испуга отвечала Мария, — с хутора Луговой.

— Вот сейчас ты дело говоришь, — сказал Петро Семенович, несколько успокаиваясь, — продолжай показания свои по порядку.

— Дяденька, — сказала Мария, — фамилию свою я не знаю, не знаю как звать отца и мать, потому что с нами родители никогда не занимались, да и было им не до нас, так как они всегда заняты колхозной работой, а теперь, как отец помер и вовсе мать то в доме, то в огороде, прибирать надо, пахать, сеять и прочей работой заниматься, а нас ничему не обучила. Есть у меня большие брат Николай и сестра Шура, и маленький брат Вася, и Жорик, тот еще в люльке.

— Молодец, — сказал Петро Семенович, — вот теперь ты не придуливаешься. А только как же вас кличут? Вот меня, например, сыном Семена в детстве все соседи звали... Вон, сын Семена пошел... А вас как?

— А мы гражданкины дети, — сказала Мария.

— Это как же понять "гражданкины"? Это в Дмитрове или в Харькове "граждане". А здесь крестьянство... Что ж вас "гражданкины дети" кличут? Мать у тебя, выходит, городская?

— Нет, — опустив голову, сказала Мария.

— Врешь, — сердито сказал Петро Семенович, — врешь, в глаза не смотришь, — речь его вдруг почти утратила украинский акцент и украинские словечки, стала сухой, русской, протокольной. — Почему ж вас "гражданкины дети" называют, если вы не из города?

— Ну называют и называют, — снова пытался вставить слово чернявый, сидевший от бригадира по правую руку, — что ты, Петро, не знаешь деревенских кличек?

— А ты помолчи, заступник... В адвокаты, что ли, записался? Так ты не жид, чтоб тебя в адво-

каты приняли... Ну, продолжай, — обратился он к Марии.

— Говори, девочка, не бойся, — сказал ей чернявый.

— Прошлый год помер наш отец, год был голодный.

— Это я уже слышал, — сказал Петро Семенович, — дальше...

— Нас с матерью осталось пять душ детей, один одного меньше, — сказала Мария, — после отца у нас завалилась хата, и нам управление колхоза дали другую хату, возле тамбы... И наша мать оставалась в этой хате, так как у нас почти все пухлые и большая часть наших детей лежат больные... Менять у нас не осталось ни единой тряпочки, что на нас, что под нами и только кроме лохмотьев ничего...

Мария замолчала. Молчал и Петро Семенович. Молчали все. Эта девочка-нищенка рассказывала о том, что все знали и что многие сами перенесли, но почему-то произнесенное сейчас вслух детским голосом, да еще по принуждению, оно прозвучало словно молитва-жалоба о тяготах и горестях своих. И может оттого, что давно уж не молились, у многих на глазах показались слезы, а Петро Семенович сидел с побелевшим от тоски и гнева лицом, лишь сабельный шрам его налился кровью.

— Вот что они с нами, буржуазные пьевки, делают, — сказал он тяжело, сквозь зубы, — капиталистическое окружение... Ничего, выдюжим... Не позволим позлорадствовать... В гроб вгоним, — вдруг он рывком поднял голову, — а где ж тот, который у окна сидел, который хлеб подал? Ну-ка, предъяви подачку свою, — сказал он Марии и протянул к ней огромную ладонь, из которой торчали железные пальцы-прутья, способные в секунду сжать горло до смерти.

И в эту намозоленную орудиями труда и оружием ладонь лег кусок нечистого темнокоричневого хлеба изгнания, изготовленного по рецепту пророка Иезекииля.

— Так и знал, — сказал Петро Семенович, — не наш хлеб, заграничный хлеб... Эх, не проявили бдительности...

И верно, место у окна было пусто. Никто не видел, как ушел чужак.

— Надо бы в сельсовет, — крикнул Петро Семенович, — Степан, — обратился он к чернявому, — мотай в сельсовет, звони Максиму Ивановичу, уполномоченному ГПУ... А мы пока здесь пошукаем... Нука, пять человек айда со мной... Ты, ты, ты, ты, ты... — И он на ходу совал пальцем в лица посетителей народной чайной, отбирая из них подходящих для поиска и преследования.

Так же на ходу вытащил он из тужурки выдавший виды наган с облупившейся краской и много раз чиненный собственными руками умельца-самоучки. Редкой цепью по грязи и лужам побежала группа преследования вдоль сельской улицы — вдоль темных хат и собачьего лая.

Между тем дождь прекратился, дожидаясь, видать, рассвета, чтоб уж зарядить на целый день, когда голодные жители выйдут из своих хат по делам личным и общественным. Явилась луна, украинский месяц, который здесь на Харьковщине, где была сильная примесь России, может быть, и не был так маслянист, как Полтавский, но все ж отличался от рязанского меньшей строгостью и большей лучистостью и игрой. В свете этого месяца и выбежали на тамбу, как называли здесь почему-то большую дорогу в город Димитров.

— Видать, в заказ побежал, — сказал беззубый

мужик, также попавший в преследователи, — в заказе не споймаешь, ночь...

А заказом на местном наречии именовался лес, темневший вдаль за полем.

— Ты чего, Охрименко, народ дезорганизуешь, — по-революционному, как в восемнадцатом году, заиграл желваками Петро Семенович, — да я контру не то, что из заказа, из под собственной шкуры своей, если она туда спрячется, ногтями выцарапаю. Многих я уже так преследовал и от многих социалистическую землю очистил...

И верно, многих преследовал на своем веку Петро Семенович, нынешний бригадир. Интеллигентов-деникинцев, кстати, жестоко замучивших в плену лучшего и единственного друга, пулеметчика и тезку — Петра Лушню, и мужиков-петлюровцев, оставивших на лице сабельную отметину до самой смерти. Помнит Петро Семенович, как неподалеку от села Ком-Кузнецовское, или попросту Кузнецовки, перехватил он на тамбе петлюровскую подводу, груженную награбленным еврейским барахлом из города Димитрова. Петлюровцев тут же, невзирая ни на какие мольбы, шашкой порубал, — Петро Семенович любил шашкой рубать, из нагана он стрелял реже, а из карабина и вовсе редко, больше любил в рукопашную, — итак, петлюровцев шашкой, а потом и до еврейского барахла очередь дошла. Пух из перин выпустил, бархатные платья с кружевами, платки, простыни, какие-то кацавейки тоже в куски, а серебряные рюмки и подсвечники в речку выбросил, поскольку бесребренник... Был случай, кое-кто из его отряда пытался еврейское барахло присвоить, так он его мигом к стенке. Тоже плакал, тоже умолял, вошь кобыля. Но зачем такому на свете жить? Если уж вор, не умеешь жить честно, вори свое, полушубок укради или коня. А на что му-

жику еврейская перина или бархатное платье с кружевом? От него дух неприятный в хате — не мочеными яблоками и коровьим дерьмом пахнет, а сладкими конфетками воняет. Вот такой человек был Петро Семенович, бригадир. Воевал крепко, но соблюдал принцип — руки хоть и в крови, но чистые... И в прошлом году, когда Митька-кулак, сын мельника, поджег колхозную конюшню, преследовал его Петро Семенович вместе с уполномоченным ГПУ Максимом Ивановичем и настиг в заказе, схватил за горло, а когда Максим Иванович подбежал со своим обычным "руки вверх", сдаваться уже некому было... Составили акт, заверили в сельсовете, направили в Димитров, а удушенного Митьку выдали старику-мельнику для похорон. Многих преследовал и многих настиг Петро Семенович, но никогда еще не бежал он по следам Антихриста, как бежал он сейчас под своей харьковской луной, более постной, чем полтавская, но более игривой, чем рязанская.

А играть, надо признаться, было чем, поскольку село Шагаро-Петровское красивое даже и в осеннюю пору... И хутор Луговой, где жила Мария, девочка-нищенка, совсем рядом. Хата их новая, которую выдало им колхозное управление вместо старой, завалившейся стояла на отшибе, а против хаты был цветник, где летом собирали ягоды, землянику и грибы. В цветник этот можно было лазить лишь тайком и с большой опасностью, поскольку принадлежал он санаторию. Санаторий этот стоял на бугре, и мать рассказывала, что в санатории этом раньше жила старая барыня, которая после революции сильно озлилась и все норовила какого-либо мужика или мужичку палкой ударить, а дочь ее, добрая плаксивая барышня постоянно мать удерживала. Но однажды дочь зазевалась и старуха-помещица выбе-

жала за ворота с палкой и ударила этой палкой мужика Володьку Сенчука, проходившего мимо из кабака, а тот, поскольку был пьян, развернулся, да как врежет в ответ, тут из старухи и дух вон... Потом барышня куда-то уехала, а в доме организовали санаторий для рабочих из Димитрова. При санатории был большой яблоневый сад, куда Мария часто лазила, пока были яблоки, и кормилась этими яблоками, и домой носила. Тут же была церковь — ныне колхозный склад, рядом колхозный клуб и водяная мельница шумела, а река под бугром текла в другое село — Ком-Кузнецовское. По другую сторону тамбы был заказ, а за заказом село Поповка. Мария помнит, что очень давно, когда она была совсем маленькая, меньше брата Васи, а брат Вася еще лежал в люльке как Жорик, а Жорика вовсе не было, мать и отец, одетые по-праздничному, веселые, взяли ее с собой в Поповку к дедушке и бабушке. Шли пешком сперва полем, потом через заказ. Пришли в какой-то большой двор, и из сарая вдруг выскочил поросенок. Мария испугалась и закричала, а мать взяла ее на руки и успокоила. У бабушки на тарелке лежали красные яички, потому что была Пасха. Бабушка сказала:

— Деточка, скажи, Христос воскрес, и я дам тебе яичко.

Но Мария испугалась и ничего не сказала, а бабушка все равно дала ей яичко. Это было давно. Больше Мария никогда не была у бабушки и не знает, то ли они с дедушкой померли, то ли уехали. С тех пор и отец помер, и голодно стало, и в голодное это время брат Вася подрос. Сначала был он веселый, ласковый, Мария только с ним время и проводила, потому что у сестры Шуры, брата Николая и матери были свои дела. Но потом у Васи стал увеличиваться живот, а ножки сделались очень тонень-

кие, и он больше сидел чем ходил. Переступит раз другой на печке и садится. И стал он угрюмым, злым. Щипаться у него сил не было, так он кусался. Но не всегда — когда поест что-либо опять ласковый становится. Мария не хотела брать его с собой просить, но сестра Шура сказала:

— Бери, у него вид болезненный, больше подадут.

Мария не стала спорить с Шурой, та за споры и побить может, но когда пришла к чайной, Васю на крыльце оставила, в уголочке на лавочку посадила, с себя платок сняла и ему лицо укутала. Подали на сей раз хорошо, хоть и испугали два раза — тот городской и бригадир. К тому ж бригадир отнял хлеб, поданный городским. Однако и без того набралось — и корок хлебных, и семечек, и леденцов несколько, и главное — кусочек сала. Вышла Мария на крыльцо, а брат Вася, так же как оставила она его, сидит, словно спит, но не спит, а смотрит, глаза открыты.

— Пойдем, Вася, — сказала Мария, — поздно уже, ночь.

— Не хочу, — говорит Вася, — далеко идти, лучше здесь до утра посидим, притулись до меня, Мария, теплей будет.

— Глупый ты, — говорит Мария, — да тебя отсюда прогонят. А в хату придем, поедим, что я выпросила, может и мать что даст, или сестра Шура.

— Что ты выпросила? — спрашивает, — дай мне хлеба, а то не дойду.

— Да я, Вася, кое-что и послаще выпросила, — с гордостью говорит Мария и показывает сало.

Вася хватъ сало и целиком в рот запижал, весь кусок.

— Как же ты, Вася, так, — говорит Мария, а потом подумала и не стала жалеть. Пусть, думает, ест, он из нас самый замученный.

Поел Вася сала, встал и говорит:

— Пойдем домой до хаты.

Пошли они темной улицей, потом полем, потом через тамбу перешли и пошли мимо заказа. А заказ шумит мокрыми ветвями, какие-то птицы ночные пугают. Но ни Мария, ни Вася не боялись ночи. Волков тут давно уже под корень истребили, а из людей кто польстится на нищих детей. Разве что из озорства, но в голодное время и лихой народ озоровать перестал, потерял разбойничий идеализм и стал слишком практичен — продкомиссара подшибить или склад зерна ограбить. Впрочем, какой-либо интеллигент-разночинец, мучаемый желанием понять идею всемирного страдания и причины, по которым оно было допущено Богом, какой-нибудь поклонник Мессии Достоевского, этот мог бы зарезать нищих детей из соображений доктринерских. Но в результате революции таковые либо сильно повымерли, либо сильно по форме преобразились, да и в лучшие свои времена водились они в местах более кликушеских, где икон побольше, а на скучную Харьковщину не забредали. Так что благодаря всем этим обстоятельствам Мария и Вася благополучно дошли до своего хутора, и вот уже шум плотины у водяной мельницы слышен, а вот и забор санатория. Постучали они в хату, отперла сестра Шура и говорит:

— Пришли... Мать уж беспокоится, а я говорю — придут...

Мать обняла и поцеловала Марию и Васю и спрашивает:

— Выпросили вы что-либо, дети?

— Выпросили, — отвечает Мария.

— Тогда садитесь в уголочек, поужинайте вместе и спать ложитесь, а то у меня с Колей и Шурой разговор.

— Я, мама, сало выпросила, — говорит Мария, — но его Вася съел сам, весь кусок.

— Ничего, — говорит мать, — Вася слабый, ему надо. Ужинайте, а мы с Колей и Шурой уже сыты.

Поели Мария и Вася людскую милостыню, поговорили, что отнял у них бригадир кусок хлеба, который подал им городской чужак, и полезли на печь, прижались друг к дружке, заснули. А мать со старшими своими детьми, Шурой и Колей, продолжала разговор.

— Нет у нас, — говорит мать, — ни коровы, ни одежды, ни хлеба. За лето заработала я в колхозе десять килограммов ржи, да и с картошкой плохо. Ничего нам не остается, кроме двух исходов — либо мы помрем, либо останемся в живых, но не полноценные... Кормить вас, дети, мне нечем, и я решила вас разделить. Меньших свести со двора, а ты, Коля и ты, Шура, пойдете на колхозное поле, сможете себя прокормить.

— Это верно, — сказала Шура, — если оставить на нашей шее Марию и Васю и Жорика, то нам не справиться. Может их разберут люди, или в приют возьмут, и они останутся в живых.

— А если помрут, — сказала мать, — то пусть хоть не на глазах моих. Тяжело мне видеть, как они на моих глазах помирать будут.

И приняли они решение — свести малых детей со двора.

Еще не рассвело, как разбудила мать Марию и Васю, а Жорик к тому времени уже был вынут из люльки и завернут в красное теплое одеяльце. Вася, тот, конечно, вставать не хотел.

— Холодно, — говорит, — еще на дворе, еще солнце не поднялось.

Мать отвечает:

— Пойдемте, дети, в город Димитров на ярмарку,

может, что наменяю или куплю, будет вам подарок. Может, веточку куплю, на которой привязаны сушеные сливы, орехи да леденцы. Помните веточки, какие вам давали на поминках у отца?

Мария не только встала послушно, но и в помощь матери говорить начала, чтоб Васю поднять.

— Помнишь, Вася, какие были сушеные сливы? Только спешить надо, потому что город далеко и если запоздаем, другие крестьяне придут и разберут.

Вышли еще при сером пустом небе. Опять привычно миновали забор санатория, церковь, мельницу, а как спустились с бугра в поле, небо осветилось, и над заказом всплыло нетеплое утреннее солнце.

Мария и Вася шли, взявшись за руки, а маленького Жорика, закутанного в красное одеяльце, мать несла на руках и было ему лучше всех. Пока шли полем, Вася несколько раз порывался присесть передохнуть, ибо ножки у него были тоненькие, плохо держали тело, но мать и сестра его то стыдили, то уговаривали, а как вышли на тамбу и Вася прибодрился, ровней пошел, не переваливаясь. Солнце меж тем уже отошло от заказа, осветило все небо, стало тепло, огромная стая перелетных птиц опустилась неподалеку в надежде найти и пожить-ся бесхозяйственно брошенными колосьями, и какое-то насекомое, блестя крыльями, выпорхнуло из-под самых ног, понеслось и исчезло в придорожной канаве. И стало ясно, что осень не такая уж и поздняя, что в прежние удачные годы в это время в речке купались, и дачники из города Димитрова жили на дачах и варили варенье из деревенских ягод, которые носили им и мать, и сестра Шура, и другие женщины. Даже Мария помнит, как пошла с матерью за ягодами и продала их дачникам, как в саду санатория играл оркестр и какой-то дачник с бород-

кой смеялся и что-то говорил матери, и мать тоже смеялась и отмахивалась от него, а дачник с бородкой вдруг поймал ее руку, и когда мать вырвала руку и пошла с Марией домой, то всю дорогу улыбалась. Мать была тогда бела лицом и носила на черных волосах цветастый платочек, который прошлой зимой выменяли на пшено.

Потеплевшее солнце, и похорошевший день, и ветряк, который неподалеку лениво вертел деревянными крыльями, и колхозные подводы с мешками зерна, которое согласно государственному продналогу сворачивали с тамбы к ветряку, — все это, видно, и мать одурманило и пробудило приятное. Она вздохнула как-то от души и задумалась без грусти. А Вася, который давно уже ходил с трудом, тут взбрыкнул подобно жеребцу на раннем выпасе и радостно побежал к канаве, чтоб поймать пролетевшее красивое насекомое и задавить его. Дышалось легко и усталость исчезла. Тут и первые дома показались каменные, не сельские.

— Вот мы, Васечка, и пришли, — весело сказала Мария, — вовремя на ярмарку успели.

— Нет, дети, — словно пробудившись от дурмана, сказала мать, — это еще не город Димитров, а поселок Липки. Возьмитесь за руки, поскольку здесь народу уйма, затеряетесь.

В поселке было тесно от людей и подвод, и сразу стало очень голодно. На площади у большого каменного дома в безветрии провисало полотнище красного флага и сильно пахло пшенной кашей со смальцем. Вася захныкал, что хочет каши и хлеба, а Мария сказала:

— Мама, и ты, Вася, не горюйте. Я сейчас пойду к тому дому, начну просить и мне подадут.

Но мать сказала:

— Некогда нам, дети. До Димитрова далеко, мы

на ярмарку не успеет. Лучше выйдем за поселок, тут колодец есть с такой чистой водой, что попьете и наедитесь.

И верно, как попили, есть стало меньше хотеться, пошли дальше. От Липок к Димитрову тамба еще шире стала и народу стало попадаться больше, — кто на подводах, кто пешком. И вдруг Мария узнала в одном из прохожих того чужака, что в народной чайной подал ей хлеба. На нем было потертое пальто с короткими узкими рукавами, так что костлявые кисти рук его далеко из рукавов торчали, на голове шапочка пирожком из старого же потертого котика, штилеты были ничем не примечательные, бросалась лишь в глаза их прочность и непривычная в те годы толщина подметки, словно специально сделанная для долгого и частого пути. Пальто, кстати, было с бархатным воротничком, который в начале века носили одни лишь аристократические франты, а позднее начали носить многие интеллигенты, даже и с малым заработком. В общем, одет был чужак, как поживший на свете человек, а между тем, был он подросток, почти что мальчик. Как ни бежал быстро Петро Семенович, бригадир, какой ни имел он опыт по преследованию и уничтожению врага социалистического государства, этого чужака ему было не догнать. Более того, к величайшему страданию своему и величайшей злобе, он даже и следов не обнаружил. Ибо Господь отдает в произвол нечестивцу многих за грехи их и отдал в произвол даже Заступника за грехи чужие, Заступника, посланного для благословения, но он никогда не отдает в произвол нечестивцу Аспида, Антихриста, посланного для проклятия. Ибо Антихрист есть судья нечестивцу, как и судья всему существу. Однако тяжело это ярмо для того, кто послан Небом, но идет земным путем. Не в его власти спасти и по-

мочь, но в его власти осудить и погубить. И, идя по дороге из поселка Липки в город Димитров ранним осенним солнечным утром, Дан из колена Данова, Антихрист говорил с Господом через пророка Иеремию, от духа которого он был рожден и который был ему духовным отцом. И сказал Господь:

— Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя.

— О Господи, Боже, — ответил Дан, — я не умею говорить, ибо я еще молод.

Но Господь сказал:

— Не говори: ”я молод”, ибо ко всем, к кому пошлю тебя, пойдешь и все, что повелю тебе, скажешь... Не бойся их, ибо Я с тобой, чтоб избавлять тебя.

И здесь, на многолюдном тракте, именуемом по местному наречию ”тамба”, Дан почувствовал, как Нечто коснулось губ его и он услышал:

— Вот Я вложил слова Мои в уста твои... Подыми голову, посмотри на народ, что идет вокруг тебя в своих заботах... Они солгали на Господа и сказали: ”Нет Его, и беда не придет на нас, и мы не увидим ни меча, ни голода”.

И сказал Господь Дану через другого своего пророка, через Исайю, духом которого рожден брат Дана, Иисус из колена Иудина, Заступник.

— Смотри, вот они беременны сеном, разродятся соломой... Возведи очи твои и посмотри вокруг... Забудет ли женщина грудное дитя, чтоб не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то я не забуду...

Поднял Дан голову и увидел прямо перед собой Марию, которая как и вчера в народной чайной протягивала к нему руку, а несколько поодаль он увидел женщину с младенцем на руках, еще не старую,

но униженную голодом и бедой, и маленького мальчика, сына ее, в котором были испуг и надежда. Вынул Дан опять из пастушьей сумки хлеб голода и изгнания из смеси пшеницы и ячменя, бобов и чечевицы, испеченный по завету пророка Иезекииля, и подал Марии большой кусок этого хлеба. И впервые нечто коснулось сердца Дана, и он обрадован был своим добром, но Господь предостерег его.

— Не радуйся своему добру, Дан, ибо не затем ты послан. Народ сей сокрушил с шеи своей ярмо деревянное, но сделал вместо того ярмо железное. Многого предстоит ему прежде, чем земля его опять станет замужней.

И замолчал Господь, а Дан повернулся спиной к тем, кому подал, пошел быстрым шагом и скоро скрылся с глаз.

Мария, обрадованная, сказала матери:

— Какой большой кусок хлеба, есть что поделить. Подели его, мама, на три части — тебе, Васе и мне, а Жорику тоже можно завернуть мякиш в платок, пусть пососет.

Вася же быстро протянул руку, чтобы пока начнут делить отщипнуть себе кусочек сверх нормы. Но мать перехватила его руку и сказала:

— Выбрось тот хлеб, Мария. Нечистый он, недобрый человек его подал. Не русский это хлеб.

— Как же выбросить хлеб, мама, — сказала Мария, — если мы голодные и ничего не ели сегодня, кроме воды из колодца... Позволь нам хоть с Васей съесть по кусочку.

— Нет, дети, — сказала мать, — лучше рагозы поесть, чем этот хлеб. Рагоза трава съедобная, ее вдоволь растет на берегу речки за болотом. Как вернемся с ярмарки, пойду я с вами рагозу дергать.

И взяла мать у Марии хлеб, завещанный пророком Иезекиилем, и бросила его далеко прочь, в са-

мую грязь размытого дождями колхозного поля, всполошив стаю птиц, которые, однако, тут же начали тот хлеб клевать.

Дан, Аспид, Антихрист видел это, хоть и был уже далеко и сказал через основателя пророчества, первого пророка Господня Фекойского пастуха Амоса.

— За то и дал я вам голодные зубы во всех городах ваших и недостаток хлеба во всех селениях. И удержал от вас дождь за три месяца до жатвы...

И поскольку Дан, Антихрист, как все еврейские дети был легко раним и злопамятен, то затаил зло на грешную женщину.

Уже далеко за полдень пришла мать с тремя своими детьми в город Димитров. Никогда не была до того Мария в городе Димитрове, только слышала о нем, и Вася никогда не был, а мать уж была здесь и все хорошо знала, потому шла, ни у кого дороги не спрашивая, и пришла куда хотела. Остановилась она возле большого красивого дома с железным крыльцом, увитым диким виноградом. И рядом на улице, мощенной булыжником, было много таких же домов и росли деревья, побеленные до половины, как белят в селах хаты. По улице часто проезжали подводы, видно, вела она к ярмарке, и булыжник был щедро усеян соломой, утерянной с подвод. Собрала мать с булыжной дороги охапки этой соломы, постелила на лавочке возле дома и говорит:

— Сидите, дети, и ждите меня здесь. У вас ножки болят и вы устали, а на ярмарке толчея, народу много. Я пойду куплю вам слив сушеных и леденцов, и приду сюда опять.

Васю упрашивать не надо было, он быстро сел, а рядом с ним села Мария с Жориком на руках. И мать быстро ушла, не поцеловав даже детей, чтоб у них не появилось подозрения, будто она их бросает и с ними прощается. Сперва сидеть было прият-

но, мягко на соломке и солнышко припекало, да еще думалось хорошо про то, как мать принесет с ярмарки сушеных слив. Но вот уж подул ветер, предвестник вечера, и подводы потянулись в обратную сторону с ярмарки, больше порожняком, распродав товар, уж и тощая собака, напугав Васю, подбежала к лавке, на которой сидели дети, а мать все не шла с ярмарки и не несла слив. Вася несколько раз порывался плакать, но Мария успокаивала его, говорила, что время теперь голодное и достать хороших сушеных слив не просто и дело долгое. Однако, когда у нее на руках раскричался маленький Жорик, она сама впала в отчаяние. Жорик был больной, весь в прыщиках да и голодный, он требовал еды, но у Марии ничего не было ни для него, ни для Васи, у нее самой от голода нутро болело и она тоже заплакала, поскольку не могла заменить ни Васе, ни Жорику мать. Так сидели они и плакали, а Жорик начал дергать ножками и развернул красное одеяльце, в которое был завернут. Тут открылась дверь, из дома вышел дядька в очках и спросил:

— Откуда вы, дети, и почему здесь плачете?

— Мы с хутора Лугового, — сказала Мария.

— А где же ваши родители? Отец или мать, — спросил дядька в очках.

— Отец наш помер прошлый год, — сказала Мария, — год был голодный. И нас с матерью осталось пять душ детей. После смерти отца у нас завалилась хата и нам правление колхоза дало другую хату вблизи тамбы...

— Ясно, ясно, — нетерпеливо сказал дядька в очках, прерывая слова Марии, видать, для него скучные, — а как фамилия ваша, как мать звать?

— Не знаем, — сказала Мария, — знаем только, что по деревенской кличке мы гражданкины дети.

В этот момент из дверей выглянула очень красивая женщина, одетая в мужскую рубашку с галстуком и спросила:

— Павел, что случилось?

— Да вот подбросили нам детей... Я сейчас позвоно в приют.

— Ну, пригласи их в дом, — сказала женщина, — а то смотри, уж из окон выглядывают и подумают, что мы этих детей чем-то обидели... Заходите, дети, — добавила она, широко раскрыв дверь.

И Мария с плачущим Жориком на руках, и Вася вошли в переднюю, где висело много одежды и пахло чем-то очень вкусным. То был запах нафталина, но для Марии всякий запах был сейчас вкусен, даже исходящий от Жорика запах напоминал ей что-то квасное, которое она ела или пила у бабушки в деревне Поповка на Пасху. Из передней куда-то вверх вела деревянная лестница с перилами, крашенная в зеленый цвет и очень крутая. Вася сделал два шага своими тоненькими ножками и тут же сел, ибо пухлый животик мешал ему. Но Мария шепнула:

— Пойдем наверх, Вася, может нам что подадут. Может хлеба подадут, или борщем вчерашним накормят, которого им не жалко.

Она слышала от старухи-нищенки из их села Шагаро-Петровское, что в городе нищим иногда дают в богатых домах поесть борща, которого варят так много, что лишнее выбрасывать приходится, и старухе часто удавалось поесть такого лишнего борща. Но борща им не дали и хлеба тоже, пока добрался наверх Вася своими ножками и Мария с тяжелым Жориком, женщина уже успела, наверное, убрать борщ со стола, а на стол наложила книг. Дядька куда-то звонил по телефону, телефон Мария знала, он стоял в сельсовете. Очень скоро, как будто из дома напротив, пришла сердитая, коротко стриженная

женщина, развернула привычно и грубо одеяльце, посмотрела Жорика, спросила как его зовут и как фамилия. Как зовут Мария сказала, а вместо фамилии начала рассказывать свою историю о завалившейся хате. Но женщина не стала слушать, взяла Жорика и ушла.

— Ну, теперь идите домой, — сказал дядька в очках.

— Нет, домой мы не можем, — сказала Мария, — мы хотим на ярмарку. Там мать наша. Как пройти на ярмарку?

— Очень просто, — оживленно сказал дядька, — проще пареной репы. Идите по улице все влево и влево, перейдете площадь, вот вам и ярмарка.

И он быстро свел по деревянной лестнице Марию и Васю и запер за ними дверь.

Сперва Мария и Вася пошли к ярмарке и быстрее ее нашли, но матери там не оказалось, сколько они ни искали. Зато, хоть был уже вечер и подводы мало-помалу разъезжались, еще было вдоволь пшена в мешках и лука-цыбули в вязках и какая-то старушка, похожая лицом на старую нищенку из села Шагаро-Петровское, ту, которая рассказывала Марии о своих удачах в получении лишнего борща от богатых домов, так вот, какая-то старушка продавала сушеные сливы, которые разложила на мешковине кучками. И тут Васе впервые пришла в голову мысль украсть.

— Обими руками я целую кучку слив схвачу, — говорил он, — и хоть ноги у меня слабые, но и торговка старая, не догонит.

— Да Боже тебя упаси, — отвечала Мария. — Это грех большой. Чтоб я за тобой этого больше не замечала. Да и не убежать тебе. Старуха не догонит, но крик подымет, и тебя другие люди поймают. А знаешь, как воров бьют? Я видела раз, как у нас в селе били цыгана.

— А почему ж, — говорит Вася, — наша мама не купила нам слив, чтоб нам их не воровать?

— Наверно, за платок, который она принесла продавать, здесь на ярмарке, мало хотели заплатить, — сказала Мария, — а платок красивый, шерстяной. Это отец ей к свадьбе подарил. Жалко его продавать дешево. Вот она и понесла его продавать в богатые дома. Давай, Вася, походим по городу, может и найдем нашу маму.

Город Димитров большой, красивый. Тут и бульвар, огражденный забором, забор хоть и железный, но низенький, даже и Вася, если его чуть подсадить, перелезет. Тут и электрических лампочек множество в больших стеклянных окнах, где товары разные лежат — одежда и обувь, а съестных товаров не было, поскольку год был голодный, и съестное городским по карточкам выдавали. А народ по улицам шел все чужой, впервые виденный, незнакомый и потому, когда Мария узнала в толпе возле главпочтамта, в самом центре города уже известного ей чужака, она тут же шепнула Васе:

— Гляди, вон тот, кто нам два раза хлеб подал. Пойдем, может подаст в третий раз. Ни мамы нашей, ни бригадира рядом нет, отнять некому, мы и съедим хлеб, а то голодно.

Перед главпочтамтом был фонтан, еще дореволюционный, потемневший, с изображением голых деток, сидящих верхом, как на конях, на жабах-лягушках, и из жабьих морд били водяные струи. А рядом был недавно вырубленный из гранита кумир, установленный на пьедестале каменном, так что тяжелая глыба еще не успела соединиться с землей, на которой она установлена, как это бывает со старыми кумирами в городах языческих.

За короткое время своего пребывания здесь Дан из колена Данова, Антихрист, понял, что находится

среди язычников, либо недавно принявших эту веру, либо переживавших расцвет этой веры, ибо слишком много кумиров, литых из металла, выстроганных из дерева, высеченных из камня, а также слишком много рисованных изображений было вокруг. Кумиры были разные, но чаще всего попадалось изображение усатое с азиатскими скулами, похожее на вавилонских идолов, против преклонения которым предостерегал пророк Иеремия... Два великих пророка, два ненавистника идолов — Исайя и Иеремия предостерегали, но народ не вразумился.

— Кто сделал бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы, — с горечью восклицал Исайя, — кузнец делает из железа топор и работает на углях, молотком обделявает его и трудится над ним сильною рукою своею до того, как становится голоден и бессилён, не пьёт воды и изнемогает. Плотник, выбрав дерево, протягивает на нём линии, остроконечным орудием делает на нём очертания, потом обделяет его резцом и округляет его и выделывает из него образ человека красивого вида, чтоб поставить его в доме. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выбирает между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. И это служит человеку топливом и часть этого он употребляет на то, чтоб ему было тепло и разводит огонь и печет хлеб. И из того же делает бога и поклоняется ему, делает идола и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другою частью варит мясо и пищу, жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: "Хорошо я согрелся, почувствовал огонь". И из остатков от того делает бога, идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему и говорит: "Спаси меня, ибо ты мой бог". Нет, пожалуй, не внове на этой земле язычество и идолопоклонство. Дан из колена Данова, Антихрист ви-

дел в местном храме множество старых людей, которые стояли на коленях и преклонялись вырезанному из дерева изображению распятого на кресте Александрийского монаха-затворника, истязавшего в неверии свою плоть, которого они именуют почему-то именем брата Данова Иисуса из колена Иудина, крепкого, как прародитель его, зачинатель колена молодой лев Иуда, с жаркими глазами, как у братьев Маккавеев, погибший от рук идолопоклонников своих и чужих, как погиб на семь веков ранее его пророк Иеремия, предлагавший покорностью сокрушить хребет нечестивца. И стоя в храме среди треска множества свечей и величественного песнопения, глядя на согнутые старые плечи, Дан из колена Данова с горечью думал через пророка Исаяю:

— И не возьмут они этого к своему сердцу и нет у них столько знания и смысла, чтоб сказать: "Половину его я сжег в огне и на углях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатков его сделаю ли я мерзость? Буду ли преклоняться куску дерева?"

Дан знал, что даже ранние христиане, христиане первых двух веков христианства, хоть в них и было уже немало не Господнего, языческого, никогда не преклонялись изображениям и кумирам. С того же момента, как начали они преклоняться изображению тощего александрийского монаха, с того момента и произошла подмена, и христианство стало врагом Христа. Но если ранее подменяли имеющего плоть, но не имеющего формы Господа изящными греческими идолами из дерева, кости и мрамора, то ныне они начали подменять Творца грубыми вавилонскими кумирами, созданными из материалов тяжелых — металла или камня. Однако процесс этот был единый, длящийся уже более полутора тысяч лет и суть была одна. Лишь греческое идолопоклон-

ство, красивое и изящное, сохранившееся еще кое-где для старых людей, начало вытесняться вавилонским, с кумирами на площадях, кумирами, вокруг которых толпились молодые и преклоняться которым учили даже детей, во множестве бегавших в тот вечер перед недавно установленным кумиром усатого скуластого азиата, а также вокруг фонтана. Ибо дети есть дети, и когда проходит первый испуг от грозного вида обожествленного каменного лица, им хочется побегать и пошалить. В шалости детской, в их игре зачатки того Господнего, чему научил Бог человека на седьмой день творения, но безмерный голод губит ребячество, и голодный ребенок подобен мудрому старику, он существует лишь оттого, что мыслит, а мысли голодного всегда одни — где достать хлеба. Вот с такими-то мыслями Мария снова подошла к Дану, протянув руку для подаяния и тут же была схвачена за эту руку представителем власти, пост наблюдения за порядком которого располагался рядом с установленным кумиром и где всякое нищенство, азартные игры и прочие беспорядки были запрещены.

— Ты, девочка, чья будешь? — твердо, но не сердито спросил милиционер, — где твой отец и мать?

— Отец помер прошлый год, — сказала Мария, — год был голодный. И нас с матерью осталось пять душ детей, один одного меньше. После отца у нас завалилась хата, и правление колхоза дали нам другую хату возле тамбы. И наша мать оставалась в этой хате, так как у нас почти все были пухлые и больные.

— Отпустите девочку, товарищ милиционер, — сказала какая-то сердобольная женщина.

— Да я ее не задерживаю, — сказал милиционер, — а где она живет... Где ты живешь? Дорогу домой знаешь?

— Знаю, — торопливо сказала Мария, вот ей-богу, знаю... Хутор Луговой... Надо все по тамбе идти и никуда не сворачивать. Как пройдешь санаторий, мимо церкви, потом клуб и школа, а под бугром течет речка и водяная мельница стоит. А рядом цветник, где летом ягоды да грибы собирают. Вот против цветника и наша хата.

— Ну иди домой, — сказал милиционер, у которого и без нищих детей дел было по горло, — иди быстрее домой и скажи матери, что если еще будет посылать тебя за милостыней, то и ее, и тебя арестуют.

— Верно, — поддержал какой-то доброволец из толпы представителя власти, — вместо того, чтобы в колхозе работать, они попрошайничают и воруют как цыгане.

— Только не надо насчет нации, у нас все нации равные.

— Извините за ошибку, — торопливо сказал доброволец, ретируясь в глубь толпы.

А Мария, которой в третий раз помешали поест хлеба, завещанного пророком Иезекиилем, но довольная тем, что ее отпустили, взяв голодного брата своего Васю за руку, голодная пошла прочь.

И глядя на все это Дан из колена Данова, Антихрист облизал губы свои и вот горечь на языке его. И сказал он через пророка Иеремию:

— Лучше полезный сосуд в доме, который употребляет хозяин, нежели ложные боги, или лучше дверь в доме, охраняющая в нем имущество, нежели ложные боги.

А означало это, сказанное пророком, любящим Господа, следующее по нынешним понятиям:

— Лучше уж атеизм, если нет сил верить в Господа, чем идолопоклонство. Лучше здоровый, материальный атеизм. Но атеизм, терпимый Господом, доступен либо честным, черствым душой тружени-

кам, либо наоборот, бездеятельным мудрым созерцателям. То есть подлинный атеизм доступен весьма немногим. И испокон веков в стране этой и в народе этом было так же мало атеистов, как и мало верящих в Господа. И были либо равнодушные псалмопевцы, либо неистовые идолопоклонники. И сказал Дан себе:

— Пророки ваши пророчествуют ложь, и священники ваши господствуют при посредстве их, и народ любит это. Что ж вы будете делать, отступники, после всего этого? Неужели не отомстит моя душа такому народу, как этот? Изумительное и ужасное совершается на сей земле...

И, сказав это, Дан, Антихрист свернул за угол главпочтамта в слабо освещенный редкими фонарями переулок и удалился.

А Мария и Вася еще долго блуждали по вечернему городу, боясь спросить у кого-либо дорогу, чтоб их опять не схватили, пока сами по себе не вышли к тамбе.

— Ну теперь-то уж мы найдем свою хату, — обрадованно сказала Мария, — все по тамбе да по тамбе и никуда не сворачивать до самого заказа.

И опять пошли ночью без всякого присмотра нищие дети, и опять никого не прельстила их беззащитность, и опять светила им с неба харьковская луна. Только путь на сей раз был очень долгий и пока дошли до поселка Липки, выбились из сил. По обыкновению своему брат Вася начал плакать да просить.

— Давай, Мария, заночуем где-либо в сенях, на лестнице. Или лавочку в закоулке найдем, где не дует. Прижмемся друг к дружке и поспим до солнца. Как утро, дальше пойдем.

— Нет, Вася, Бог с тобою, — отвечает Мария, — может, мама наша уже вернулась домой и, не найдя

нас, будет беспокоиться. Пойдем, идти-то нам уж недолго. Сколько мы до Липок шли по колхозному полю, где, помнишь, мама наша выбросила хлеб, поданный чужаком, столько и осталось поля до нашей речки, а там и заказ, и мельница, и церковь, и санаторий. Как будет санаторий, так и нашу хату видать.

Уговорила Мария брата и пошли они дальше, усталые, голодные и беззащитные. А ночью все кажется иным. И колхозное поле более ветреное, и в речке берега от воды не отличишь, и заказ точно темная сплошная туча, и сами они малые и одинокие, уж такой соблазн для злодея, которому их нищета не помеха и который в награду себе берет лишь человеческие мучения, что не будь это в провинциальной Харьковщине, где нечестивец ходит в смазанных дегтем сапогах и не имеет бледного, вдохновенного творческого лица, навряд ли дошли бы дети к своей хате. Но дошли. Постучали они в дверь хаты раз и другой. Отперла им сестра Шура, посмотрела сердито и говорит:

— Где ж вы оставили Жорика?

— Чужая тетя пришла и унесла его куда-то, — отвечает Мария.

— А знаете ли вы, — говорит брат Коля, — что наша мама завербовалась, хочет от нас уехать.

— Куда уехать? — спрашивает Мария.

— Этого мы не знаем, — отвечает Шура, — но раз пришли, ложитесь вон там в угол и спите.

Легли Мария и Вася у холодной печки на полу земляном, обняли друг друга, согрели как могли и заснули усталые. Утром, еще и солнце не поднялось, кто-то растолкал их — вставайте! Мария вскочила торопливо, думала, это Шура за что-то ругать собирается, ибо Шуру она боялась, но это не Шура, а мать их стоит над ними в ватнике и с мешком в руках.

— Давайте, — говорит, — дети, попрощаемся, я уезжаю.

Поцеловала она Марию, поцеловала Васю, совсем сонного, поцеловала Шуру, поцеловала Николая и ушла. Мария с той поры уже не спала, а Вася спал. Но лишь солнце поднялось, растолкала Мария Васю.

— Хватит, — говорит, — спать. Пора идти за питанием.

Как вышли на улицу, зябко еще было и петухи в селе Шагаро-Петровском то там, то здесь перекликались. Перешли Мария и Вася тамбу, миновали болото и с бугра спустились к речному берегу. Туман еще над водой, плещет вода в тумане, сыро и неласково здесь, но зато растет съедобная трава — рагоза.

— Дергай, Вася, — говорит Мария, — пучок травы набери в ладонь и дергай вот так, — и она выдернула пучок травы, — побольше пучков наберем, — говорит Мария, — сколько унести сможем, потому не все в этой траве съедобное, часть в отход пойдет.

Пока набрали Мария и Вася рагозы, туман разошелся и теплее стало. Вернулись они с рагозой к хате, расположились на солнышке, и начала Мария эту траву-рагозу очищать от несъедобной кожицы да сухих стеблей, все же съедобное в той траве Васе давать и самой есть. Наелись Мария и Вася вдоволь, а как наелись — задумались.

— Вот что, Вася, — говорит Мария, — двинем-ка мы в город Димитров на станцию, так как нам дорога уже знакома.

— Двинем, — отвечает Вася.

— Только всю дорогу бежать надо, — говорит Мария, — потому, боюсь, не застанем мы мать... Согласен?

— Согласен, — отвечает Вася.

И побежали они, и бежали всю дорогу, и на этот раз дорога показалась им короче, может оттого, что

поели травы-рагозы вдоволь и сил больше было. Как санаторий, да мельница, да церковь, да заказ за спиной остались — и не помнят. Только перед Липками, на колхозном поле, дух перевели и дальше побежали. Миновали поле, где мать выбросила хлеб, поданный чужаком, Липки миновали... Вот и город Димитров.

— Тетенька, — говорит Мария какой-то городской женщине, — как нам на станцию пройти и побыстрее?

— А ты что, — говорит женщина и улыбается, — на поезд опаздываешь?

— Что такое поезд, я не знаю, — отвечает Мария, — но нам быстрее на станцию надо.

— А если ты не знаешь, что такое поезд, то откуда же ты знаешь, что такое станция?

— Станция, это где паровозы гудят, — отвечает Мария.

— Вот как, — рассмеялась женщина, — что такое поезд, ты не знаешь, а что такое паровоз знаешь? — И продолжая смеяться, она показала Марии и Васе дорогу к станции.

Перешли Мария и Вася через железнодорожные пути и видят, на лавочке сидит их мать рядом с мешком. Как подбежали они к матери, как всплеснула она руками, как начала их целовать и плакать, и пошла с ними в станционный буфет, и купила им булочки. Поели Мария и Вася булочки, и мать говорит:

— А теперь, дети, бегите скорее домой, пока не смерклось.

Тут уж Мария и Вася начали сильно плакать и просить не прогонять их, да так, что посторонние заинтересовались, в чем дело. Тогда мать говорит:

— Не плачьте, дети, сидите рядом со мной, я вас не прогоню от себя. — И какой-то женщине, тоже в

ватнике, только не с мешком, а с сундучком она сказала: — Знаю, что запрещено, а не могу их прогнать от себя. Сердце не переварит.

— Да, — говорит женщина с сундучком, — мать есть мать своим детям.

Сели Мария и Вася рядом с матерью, прижались к ней, хорошо им. А Вася, тот больше по сторонам смотрит, любопытно.

— Ой, какие горы большие, — говорит и пальцем на пути показывает.

— То не горы, — поясняет мать, — а то платформы с песком. Здесь, дети, не так, как на хуторе, здесь всюду опасно и враз задавить может. У нас посадка ночью будет, так что ты, Мария, за Васей гляди. Ты с ним отдельно от меня в поезд садись, уж потом, в вагоне встретимся. А то вербовщик заметит и запретит вас брать.

И верно, как потемнело, страшно стало на станции. Людей много, все толкают, бегут, паровозы гудят, в общем суета, и никому ни до кого дела нет. А в поезд садиться совсем уж страшно. Как явился он, железный, Вася перепугался, упирается ножками, дрожит, не хочет садиться в вагон. Ох как намучилась Мария, пока его в тамбур втолкнула, но в вагоне, хоть и людей битком было, их сразу же мать нашла. Васю она посадила с собой на лавку, а Марии говорит:

— Ты под лавку лезь.

Полезла Мария под лавку, там еще удобней, людей поменьше, под полом стучит точно в кузне в два молота, но не звонко железом по железу, скорее, железом по доскам. Стучало, стучало, потом гудеть начало, потом шипеть, и Мария уснула. Проснулась она от того, что мать ей под лавку жестяной чайник сует.

— Попей, дочка, водички.

Выпила Мария водички и опять спать. Спит она и вдруг во сне чувствует — что-то дурное и для нее страшное происходит. Проснулась она, выглянула, сразу чьи-то пальцы ей в плечо больно вцепились и из-под лавки вытянули.

— Так вы и под скамейкой прячете, — кричит какой-то неясный в темноте на мать, а она сидит перед ним бессловесно, виновато голову опустив, — я вас предупреждал... Я запрещаю вам брать с собой детей. — Сказал и ушел.

— Кто это? — говорит Мария.

— Это вербовщик, — отвечает мать, — он мимо проходил и увидел Васю рядом со мной. Ох беда, беда, — и она пригорюнилась, но Марию уже больше под лавку не гнала, и Мария с Васей остаток ночи спали у матери на коленях.

Утром приехали в город Харьков. Боже мой, что за роскошь перед детьми явилась. Можно ли поверить, что такое бывает, если б о том рассказывали Марии и Васе. Город Димитров красивый, большой, а перед Харьковым он как село или хутор. Вошли они с матерью вроде бы в дверь, а оказались и не в доме, и не на улице. Над ними небо стеклянное, деревья диковинные растут прямо в деревянных кадках, а меж деревьями лестница белого блестящего камня, вообще блеску вокруг много, а народу в одну минуту Мария увидела столько, сколько за свою жизнь не видела. И весело стало сразу Марии и Васе, все захотелось посмотреть да пощупать. Взяла она брата Васю за руку и побежали они вверх по белой блестящей лестнице, поднялись, а наверху пол из малиновых квадратов скользкий, как лед. Вася, который любил с горок скользить зимой, разбежался и упал, но не заплакал, а рассмеялся. Мария следом за ним разбежалась и упала и тоже засмеялась. Так бегали они и падали, а потом Мария новую игру

затеяла — кругом кадки, где дерево росло, бегать от Васи, а Вася ее догонял. Но надо заметить — как ни веселилась Мария, время от времени все ж подбежит к перилам, посмотрит вниз и видит — мать их сидит на скамейке рядом с мешком. Всякий раз как подбежит — мать их на месте. А последний раз как подбежала — матери не было. И побежали Мария и Вася вниз, стали кричать и звать мать свою, и где силы взяли, чтоб кричать так долго, так громко и без перерыва, ведь с вечера по булочке поели в Димитрове и больше ничего. Однако, сколько ни кричали, нигде матери не обнаружили. Народ на крик сошелся, стал тесным кругом, повернулся лицом к Марии и Васе и начал их уговаривать.

— Вот мы сейчас дядю милиционера позовем и он сразу найдет.

Пришел милиционер, взял Марию и Васю за руки и сказал ласково:

— Пойдемте искать вашу мамашу.

Марии этот милиционер сразу понравился, а Вася смотрел на него исподлобья и хотел выдернуть руку, однако милиционер держал крепко. Он повел Марию и Васю через пути и привел в вагон, стоящий отдельно, отцепленный на путях. В вагоне этом было много детей и такого возраста как Мария и такого — как Вася. Марии здесь сразу не понравилось, а Васе понравилось. Мария сказала милиционеру, который их привел:

— Дяденька, побудьте с нами, пока наша мама найдется, и мы отсюда уйдем, а то нас могут побить.

— Некогда мне, девочка, — ответил милиционер и погладил ее по голове, — а вы, огольцы, — обратился он ко всей компании, — глядите, ребят не трогайте. Они еще к такой жизни не привычны. Они из деревни. Ведь верно, вы из деревни?

— С хутора, — сказала Мария.

— В случае чего, вы дежурную позовите, — сказал милиционер, — она там, за перегородкой.

Но только милиционер ушел, как огольцы начали смеяться над Марией и Васей и говорить, передразнивая милиционера:

— Позовите, позовите... Дежурную, дежурную... Она за перегородкой.

Был этот народ большей частью грязный, в угле и мусоре, и позабывший давно про родительскую ласку, либо ее вовсе не знавший, а Марию и Васю только еще утром мать обнимала и прижимала к себе. Мария сказала Васе:

— Сядь ближе ко мне и не смотри на них.

Но какой-то мальчишка такого примерно возраста как Мария, в жирных от грязи лохмотьях, с очень грязной шеей и грязными в царапинах руками показал Васе глиняную свистульку, и Вася придвинулся к нему, забыв о сестре. Только Вася придвинулся, как мальчишка щелкнул его пальцами по уху, и вся компания рассмеялась.

— А я рада, — сказала Мария Васе, — будешь знать, как сестру не слушать. Я еще и маме расскажу, когда мы ее найдем.

Но после этого Вася вплотную придвинулся к Марии и от сестры уже не отходил. Вскоре в вагон вошел мужчина с портфелем и женщина с бумагами в руках. Мужчина огляделся, поморщился, видно, от тяжелого духа, поскольку огольцы, не стесняясь, громко, с хохотом портили воздух, и сказал:

— Что-то народу прибавилось, куда я их... В детдоме мест нет... Скандал... Разве что в область отправить.

Тут Мария, которая была девочкой сообразительной, сказала:

— Дяденька, мы маму свою сегодня потеряли, нам бы маму найти.

— Ну вот, — говорит мужчина с портфелем, — Калерия Васильевна, таких у нас множество. Их всех надо по своим домам отправлять, а не занимать места для сирот.

Женщина сказала Марии и Васе:

— Пойдемте, — и привела их за перегородку.

Здесь стоял стол, топилась железная печка. Мужчина положил портфель на стол, снял пальто, снял шляпу, повесил все это в углу и начал спрашивать Марию, а женщина записывала.

— Как ваша фамилия? — спросил мужчина.

— Не знаю, — сказала Мария.

— А как звать папу и маму?

— Тоже не знаем, папа да мама, вот и все... Папу мы звали "отец", но он в прошлом году умер, поскольку год был голодный.

— А братья и сестры есть у вас? — спрашивает мужчина.

— Есть, — отвечает Мария.

— А знаете, как их звать?

— Знаем, — говорит Мария, — брата зовут Коля, а сестру — Шура, и еще братик у нас был Жорик, но теперь его дома нет.

— Ну, хорошо, — говорит мужчина и почему-то переглядывается с женщиной, которая все записывает, — а знаете ли вы, где жили? Деревня ваша, или район, или область?

— Нет, — говорит Мария, — ничего этого мы не знаем, а село и хутор свой знаем.

— Какое же название вашего села? — спрашивает мужчина.

— Село Шагаро-Петровское, хутор Луговой, — отвечает Мария.

— Вряд ли, чтоб это было далеко, — говорит мужчина, — вне Харьковской области.

— Но, Модест Феликсович, — говорит женщина, —

в Харьковской области сел Петровских много... Я лично знаю три села такого названия.

— Что ж, — говорит мужчина, — дадим им провожатого, дадим сухой паек и пусть поедят по селам, поищут свой дом. Думаю Наробраз одобрит нашу новую инициативу. Затраты только на проезд и на сухой паек. Провожатых подберем на общественных началах из местного актива.

А Мария слышит все это и говорит:

— Век буду за вас Бога молить, если вы доставите нас с Васей до своей хаты и увидим мы брата Колю и сестру Шуру, а Жорика мы знаем, что его дома нет.

— Теперь, — говорит мужчина, — отправьте-ка их, Калерия Васильевна, в санпропускник при станции.

Тут Мария снова проявила сообразительность и говорит:

— Дяденька, дорогой, дайте мне и Васе хлеба Христа ради, потому что мы с вечера не ели и съедобной травы-рагозы, как у нас в селе, здесь не нарвешь.

Мужчина посмотрел на Марию — очень умело у нее иногда просьбы получались, как тогда в народной чайной, когда железный чекист и бригадир тракторной бригады Петро Семенович прослезился. И мужчина вдруг тоже вытер очки платком и сказал:

— Калерия Васильевна, налейте-ка этим детям по кружке кипятку и дайте им вот, — и он вынул из портфеля жирную бумагу и подал ее женщине.

— Я им выпишу паек, — сказала Калерия Васильевна. — Как же вы без завтрака, Модест Феликсович?

— Ничего, — сказал Модест Феликсович, — дайте детям. Я вижу, воровать они еще не умеют и вооб-

ще полностью от посторонних зависят, как котята. Это еще не закаленные улицей огольцы.

Женщина взяла жестяной чайник с печки-буржуйки, налила кипятку в жестяные кружки и развернула жирную бумагу. Ох какое счастье получили в свои руки Мария и Вася! Это была французская свежая булка, разрезанная пополам, и на каждой половинке — по два ломтика вареной колбасы с жирком. В минуту проглотил Вася свою половину, в минуту осталось у него от счастья одно лишь воспоминание и жадно начал смотреть он на Марию, которая свой кусок ела умно и медленно.

— Ты кипяточком запей, Вася, — говорит Мария, не в силах оторвать от своего куса хоть крошку булки и ломтик колбасы и дать это Васе. А он так хотел!

И потом часто видела она в этом знамение и часто себя за это упрекала. Так и не отдала Мария Васе ни кусочка от своей порции, съела ее до последней крошки, которые с коленок подбирала. Вася видит, ничего ему дополнительно не получить — начал пить кипяток. И Мария свой кипяток выпила, разомлела, глаза потяжелели. Спала ведь она урывками, то под лавкой, то у матери на коленях. Но женщина не дала понежиться на стуле в тепле.

— В санпропускник, — говорит, — поскольку у меня и помимо вас дел хватает.

Повела она Марию и Васю опять через пути, и Мария была рада, что избавились они с Васей от огольцов, которые и побить могли и от которых Вася дурному мог научиться.

Пришли они в помещение душное, мокрое, вода под ногами хлопает.

— Все с себя скидывайте, это на прожарку, — говорит женщина.

Снял с себя Вася одежду — животик еще больше стал и ножки еще тоньше, и под шкурой каждая косточка видна. А у Марии тело хоть и изможденное, но правильной формы, она давно уже перед мужчинами раздеваться стеснялась, даже перед братом Колей. Но перед Васей не стеснялась. В санпропускнике никого в тот час не было, и дети помылись с радостью горячей водой, это после булки с колбасой было второе счастье, причем подряд... Мария нашла на полу обмылков и густо намылила Васю, а тот от удовольствия прямо урчал, как благодарная собака. Выдали им вафельное полотенце, одно на двоих. Только начала Мария в предбаннике Васю вытирать, как чувствует — кто-то смотрит. Оглянулась, а в дверь парень заглядывает. Как крикнет она, и назад, в баню. Парень смеется.

— Чего ты, — говорит, — я ваш проводник, к вам прикреплен, и вы мне обязаны подчиняться.

— Закрой дверь, — говорит Мария из бани, — пусть я сперва оденусь и Васю одену.

— Ладно, — говорит проводник, — одевайтесь, — и скрылся, ухмыльнувшись.

Проводник этот чем-то был похож на Васю, если бы тот вырос. Как и Вася, был он худой, глаза маленькие, серые, лицо продолговатое, чуть курносый. Хоть и был он похож на Васю, Мария его сразу невлюбила, а Вася, наоборот, к нему потянулся. Так что Мария впервые испытала странное чувство, как будто одно общее, но в отношении Васи оно было недовольством, а в отношении проводника — завистью, точно проводник для Васи что-то имел, чего она, родная сестра, не имела. Однако показывать открыто проводнику, которого звали Гриша, свою неприязнь нельзя было, поскольку у него находилась корзинка с провизией — хлебом и салом. Прав-

да, сала Гриша-проводник не выдавал им еще ни разу, но хлеб — выдавал.

И поехали они так по селам Петровским Харьковской области. Приезжают они в село большое, много в нем домов каменных и церковь белая на площади.

— Вот оно, — говорит Гриша, — ваше Петровское.

И Вася, чтобы проводнику угодить, говорит:

— Наше это, наше...

А Мария посмотрела вокруг и говорит:

— Нет, не наше... У нас церковь на бугре стояла и санаторий рядом, а внизу речка течет.

— Ладно, — говорит Гриша, — не ваше, так не ваше.

Сели опять в поезд и поехали, а потом с поезда слезли и на подводе по местной тамбе ехали. Пока на подводе ехали, Гриша все шептался с Васей, а Мария посматривала на это неодобрительно, но молчала, поскольку корзинка с провизией была у Гриши. Замечает Мария, что Гриша себе и Васе отрезал хлеба и сала, себе побольше, Васе поменьше, а ей один лишь хлеб, да и то небольшой кусок. Пусть, думает Мария, Вася сала поест, раз мне сала не достается, пусть, — и хоть за себя огорчается, но за Васю радуется.

Наконец приезжают они в село. На бугре церковь стоит, под бугром речка течет.

— Ваше это село Петровское? — спрашивает Гриша.

— Наше, — чтобы угодить ему отвечает несмышленный Вася.

— Нет, не наше, — говорит Мария, — и хоть церковь стоит на бугре и речка есть, а где ж санаторий? И заказа не видно, через который в село Поповка идти, где бабушка и дедушка хату имели.

Поехали опять, сперва на подводе, потом на поезде, потом опять на подводе.

— Ваше это село? — спрашивает Гриша.

— Наше, — говорит Вася.

— А если наше, — не выдерживает Мария, — то где ж хутор Луговой? И найди-ка, Вася, нашу хату, где Шура и Коля живут... Разве ты не помнишь, что хата наша стояла на отшибе и против был цветник, где летом собирали ягоду землянику да грибы?

— Ладно, — говорит Гриша и улыбается, — вы меж собой не ругайтесь, поедем дальше.

Приехали на какой-то маленький полустанок.

— Поездов сегодня уж больше не будет, — говорит Гриша, — так что здесь заночуем. Да и не время ночью село Петровское искать. Вы и днем его узнать не можете.

А Мария отвечает:

— Я и ночью его б узнала, если б увидела. На бугре мельница, под бугром речка идет в другое село, Ком-Кузнецовское, а тамба идет в город Димитров и по пути там поселок Липки.

— Вот завтра ты по этим признакам и найдешь, — улыбаясь по своему обыкновению, говорит Гриша, — а сейчас ужинать пора, — и отрезает себе большой кусок хлеба и кусок сала, Васе поменьше кусок хлеба и кусок сала, а Марии опять только хлеба небольшой кусок.

Вася хлеб укусит, сала полижет, хлеб укусит, сала полижет и все с Гришей о чем-то перешептывается. Наконец Гриша говорит:

— Чего нам здесь на полустанке ночевать? Здесь дует и не заснешь, поезда грохочут, паровозы гудят. Я эту местность знаю, пойдете, неподалеку большой сарай имеется, еще от помещика остался и в нем полно соломы. Крыс мы криком разгоним и там переночуем.

Мария возражать начала, и не потому, что ей на полустанке нравилось, а просто — что Гриша ни скажет, ей возражать хочется. Но Вася Гришу поддержал.

— Холодно мне здесь, — говорит, — не засну я. В сарай хочу...

Что сделаешь, раз и Вася в сарай хочет. Пошли они от полустанка, где хоть фонарь горел, куда-то во тьму, поскольку в тот вечер и постной харьковской луны на небе не было, и звезд не видно. Небо темное, но дождя нет, тихо, даже собачьего лая не слышно, и безветрено, вроде бы потеплело. Хотела Мария брата своего Васю за руку взять, но тот руку выдернул и поближе к проводнику жметя, а Мария идет одна, чуть поотстав. Дороги никакой, под ногами сплошные бугры да ямы и вообще, вроде бы по полю идут, поблизости никакого жилья. Наконец, впереди что-то показалось.

— Вот он, сарай, — говорит Гриша, — только дверь заперта, надо доску отодвинуть, тут доска одна надорвана.

Полезли в дыру, и верно, на солому наткнулись.

— Ух, мягко здесь, — говорит Вася, — тепло.

— Вот так, Мария, — говорит Гриша, — а ты не хотела.

— Давай, Вася, — говорит Мария, — ложись со мной рядом, прижмись, еще теплей будет, а то хоть и солома здесь, но под утро прихватит холодом.

— Нет, — отвечает Вася, — я с Гришей лягу.

Уж не "дядька Гриша" он его зовет, и не "проводник", а просто Гриша, вроде бы он ему брат, как Коля.

— Ложись, где хочешь, — сердито отвечает Мария, — дурной ты...

— Сама дурная, — отвечает Вася.

Тут Мария даже растерялась.

— Вася, — говорит, — братик мой, кто ж тебя этому учит? Ведь слышала б тебя мама наша, или сестра Шура, или брат Коля, какой ты стал, они б подумали, что я тебя учу дурному, поскольку я все время

с тобой вожусь. Ведь ты еще малое дитя, Вася, ты должен сестру свою слушать как мать, раз от матери мы отстали...

— Ты мне не мать, — говорит Вася, — мать я бы слушал, а тебя слушать не хочу.

Тут Гриша вмешивается из темноты.

— Ладно, — говорит, — ты, Вася, действительно, сестре не груби.

И только он это сказал, как Вася перестал грубить. Но от такого отсутствия грубости у Марии не только не появился покой, а наоборот, еще более тоскливо стало. Если, думает, станет Вася дурным человеком, не простит мне этого ни мать, ни брат Коля, ни сестра Шура.

Так в тоскливых мыслях она и задремала, без брата, который начал похрапывать в другом конце сарая. И слышит она сквозь дремоту, кто-то рядом.

— Ты, Вася, — обрадованно говорит Мария сквозь сон, — ложись потесней ко мне.

И верно, кто-то ложится, прижимается к ней и в колени ее, а спала она на боку, коленка к коленке прижата, в колени ей руку сует. И сразу Мария поняла — не Вася это. Чужую руку от себя толкнула, вскочила.

— Чего тебе?

— Тише, — говорит Гриша шепотом, — Васю разбудишь.

— Чего тебе? — потише повторяет Мария.

— Я тебе сала принес, — говорит Гриша, — ты ж сала не ела, а только хлеб. Вот я тебе и всю норму одним разом.

Взяла Мария сало, чувствует на ощупь, действительно большой кусок, надкусила, попробовала — хорошее сало, сочное, мягкое, надкусила еще кусочек, почувствовала, как тоска, с которой заснула,

мало-помалу исчезает. И с Васей, думает, все образуется, это он по глупости так.

— Хорошее сало? — спрашивает Гриша и посмеивается.

— Хорошее, — отвечает Мария.

— Ну вот, — говорит Гриша, — а ты все против меня, да против меня. Если ты меня полюбишь, тебе никакая мать не понадобится.

— Как это мне мать не понадобится? — говорит Мария. — Она ж мне родная...

— А так, отвечает Гриша, — что мать твоя тебя с брательником, видать, специально бросила... Чтоб избавиться... Тебе не мать нужна, тебе парень нужен, поскольку сейчас самый твой возраст для настоящего удовольствия, а как повзрослеешь, и вырастут у тебя груди, и начнешь ты беременеть, так уж удовольствия не те.

Только как сказал все это Гриша, Мария окончательно поняла, чего он хочет, хоть никто ее этому понятию не учил, и все это происходило с ней в первый раз.

— Отойди, — говорит, — бесстыдник, я сразу тебя поняла, как ты в бане на меня раздетую заглядывал.

— Раз поняла, тем лучше, — говорит Гриша. И вдруг как схватит Марию под мышками, точно посадить ее хочет куда-либо, а железными своими мужскими коленями разъединил ее детские коленки, и оказалась она у него в полной власти, в темном сарае, запертом снаружи замком и стоящем на отшибе среди темного поля, примыкающего в конце своем к темному железнодорожному полотну у глухого полустанка. И даже постная харьковская луна не светила в эту ночь.

Одна лишь живая душа была рядом — брат Вася, но и тот похрапывал. А если бы не спал, то что он

мог сделать — ведь дитя еще... Кричать было некому, только Васю испугаешь, потому что Гриша ей рта не зажимал, как не зажимают рта животному, которое режут, пусть кричит, кто его услышит. Мария пробовала себя защитить молча, но всякий раз, как она пробовала себя защитить, Гриша выворачивал ей руку и становилось очень больно, когда же переставала себя защищать, Гриша отпускал ей руку. И добился Гриша от Марии чего хотел, и стонал он при этом как тифозный, но Вася спал, и даже, когда Мария крикнула от боли необычной и незнакомой, которую причинил ей Гриша ради своего удовольствия, и Гриша особенно сильно застонал, точно ему тоже рвали тело, как рвал он тело Марии, даже и тогда Вася не проснулся. Мария поняла это после того, как все кончилось. Лишь слышно было ее и Гриши тяжелое дыхание и храп Васи. И Мария обрадовалась тому, что Вася ничего не слышал и не напугался. Меж тем дыхание у Гриши стало спокойней, и он сказал Марии, которая по-прежнему дышала тяжело:

— Ты не переживай... При твоей жизни все равно тебя б изнасиловал какой-либо старик... Так уж лучше я... Вот возьми, — и он дал ей хлеба.

Мария взяла хлеб и притихла, а Гриша полез от нее в другой конец сарая и вскоре захрапел, как и Вася.

Нельзя сказать, что Мария заснула, скорее, она впала в беспамятство, поскольку видела за собой все время проступающие во тьме стропила сарая и чувствовала под собой солому. У нее болело в животе и под животом, точно она вместо травы рагозы наелась ядовитой травы, как соседка их по хутору, которая в один почти день с отцом померла от отравления кишок. Но постепенно боль утихла, а когда стропила стали видны ясно в посветлевшем

сарая, боль была незначительная, точно намек на то, что произошло ночью. Мария поднялась, села и увидела, что в сарае лишь она с Васей, а проводник их Гриша исчез. Этому она обрадовалась, но тут же огорчилась, поскольку он унес корзинку с провизией. Однако тут же опять обрадовалась, поскольку нащупала в кармане кусок сала и кусок хлеба, хоть и не такие большие при свете, как казались во тьме, но все ж ей и Васе было на первое время чем жить.

— Вася, вставай, — сказала Мария, — проводник, которому велели доставить нас домой, убежал и теперь нам придется самим добираться. И унес всю провизию... Вот, брат, убедись, кого ты принимал за хорошего человека и не слушал своей сестры, единственного тебе сейчас родного человека, поскольку нашей мамы нет с нами, а сестра Шура и брат Коля далеко.

Вася молчит, видно, чувствует себя виноватым.

Полезли они наружу через дыру, огляделись. Поле в одну сторону, поле в другую сторону, куда идти? И пошли они наугад, но пришли точно к железной дороге и к тому полустанку, где проводник Гриша не мог бы сотворить с Марией того, что он сотворил с нею в сарае, на отшибе, поскольку тут и дежурный заглянет, да и вообще ходит по перрону сонный народ. Никогда б такое не случилось, если б не Вася, но Мария не стала Васю упрекать и вообще ему ничего о произошедшем в сарае не рассказала, а сказала она ему:

— Дорогу домой в село Шагаро-Петровское я не знаю, но знаю, что отсюда нам надо уезжать до какой-нибудь большой станции, где в случае чего легче еды выпросить... Как поезд придет, ты сразу лезь следом за мной.

— Полезу, — говорит Вася.

Исчез проводник Гриша, и Вася опять стал Марию слушать, а поездов он уже не боялся как в городе Димитрове.

В поезде Мария и Вася поели сала и хлеба, которые дал Марии проводник Гриша за то, что он с ней сотворил в сарае. Но не все поели, часть Мария припрятала от Васи на следующий раз, ибо Вася хотел все съесть. Приехали Мария и Вася на большую станцию, вышли вместе с общей толпой пассажиров, поскольку дальше поезд не шел. Огляделись брат и сестра и ахнули от радости.

— Да ведь это ж город Димитров... Отсюда тамба прямо к нашему хутору.

А какой-то старик пояснил.

— Это, дети, не город Димитров, а город Изюм... Такой сладкий сушеный виноград, вы ели? Вот в честь его и назван этот город "Изюм", — и улыбается.

А Мария хоть и огорчена, что это не Димитров, а Изюм, но про старика думает: "Старики редко улыбаются, а этот, раз улыбается, значит добрый, а добрый подаст чего-нибудь, поскольку хлеба и сала у нас самая малость осталась".

— Ничего, — говорит, — мы, дедушка, ни сладкого, ни сушеного не ели, поскольку, вот, с братом малым отстали от матери... Подайте нам, Христа ради, что можете...

— Знаем мы вас, — говорит старик и сразу сердитым становится, — по поездкам шляетесь, чемоданчик, какой плохо лежит, утащить хотите... Вот я вас...

Подхватила Мария Васю за руку и побежала прочь от злого старика по перрону, а оттуда в вокзал.

Вокзал в Изюме не такой как в Харькове, ни стеклянного потолка, ни лестницы белой, блестя-

щей, но тоже красивый, теплый, скамеек много, и даже дерево такое же диковинное как в Харькове в кадке стоит, правда, одно всего.

— Ничего, Вася, — говорит Мария, — здесь мы проживем пока что неплохо. Просить я умею, голос у меня жалостливый, один не подаст, так другой подаст. Народу, гляди, вон сколько вокруг. Пойду попрошу, может подадут. Попробуй нас тронь кто-либо. Здесь и ночью народу много и светло... Только Боже тебя упаси, Вася, воровством промышлять... Видал, как старик озлился? Это он не на нас озлился, это он на воров озлился... Народ, Вася, не обижай никогда, и народ за тебя в любой момент заступится, а если обидишь народ, он тебя на произвол судьбы бросит... Хорошо ли нам было в темном сарае ночью, когда кругом поле темное, а рядом дурной человек, которого ты, Вася, по глупости своей полюбил...

Так говорила Мария брату своему Васе наставление, и Вася слушал, поскольку зависел от того, что Мария соберет подающими. А собирала Мария здесь, на станции Изюм, действительно неплохо.

— Господи, — говорила, — Иисусе Христе... Сыне Божий...

На эту мольбу подавали ей и старые, и молодые, и мужчины, и женщины. И даже некоторые партийные не могли отказать в просьбе ребенку, пусть и использующему отжившие старорежимные церковные термины. Один партийный пассажир, этот безусловно партийный, поскольку в кожаном пальто и с сабельным шрамом, как у Петра Семеновича, бригадира, один партийный подал Марии пакет, в котором было пять пирожков с горохом. Случалось, подавали и селедку, и колбасу, а про хлеб и говорить не приходится, здесь, в Изюме на станции, Мария и Вася впервые поели хлеба если и не вдоволь,

то хотя бы и не впроголодь. Ночью спали дети на скамейках в теплом углу и были довольны своей жизнью.

Но всякая случайная, не подготовленная судьбой удача не прочна и временна. Однажды возвращается Мария после сбора подаяний, было это на третий день их удачной с Васей жизни, и видит — рядом с Васей стоит сердитая женщина, похожая чем-то на ту, что за Жориком в городе Димитрове приходила.

— Вот она, моя сестра, — говорит Вася и на Марию пальцем указывает.

— Очень хорошо, — говорит женщина, — а мать ваша где?

— От матери мы затерялись, — говорит Мария.

— Тогда пойдете.

Выводит она Марию и Васю из теплого вокзала на ветреную площадь, а там еще стоят дети, но, к счастью, не огольцы, как в Харькове в вагоне-приемнике. Огольцов Мария уже различать научилась. Построили всех попарно и повели. Мария, конечно, с Васей шла и за руку его держала. Если б раньше, когда Мария на хуторе жила, она б себе глаза проглядела по сторонам на дома и на людей. А теперь она на Изюм не очень-то обращала внимания, больше думала, куда их приведут и чем накормят. Привели их на конный двор, где несколько конюшен, и среди утрамбованной площадки были столбы с цепями — коновязи и много конского навоза. Стриженная женщина назвала себя воспитательницей, а как ее звать не сказала — просто воспитательница. Открыла она ворота одной из конюшен, там на полу солома прелая, но лошадей всего несколько и в дальнем конце конюшни, здесь же пусто.

— Располагайтесь, — говорит воспитательница, — ждите, пока я за вами приду и поведу вас обедать.

Но самим никуда не отлучаться, лошадь может ударить насмерть.

Сказала и ушла. Сели Мария с Васей в стороне от других детей за кучей соломы и поели милостыню, что Мария насобираала на станции. Вдруг видит Мария, приближается к ней какой-то мальчишка, чуть помоложе Марии, но постарше Васи.

— Меня, — говорит, — Ваня звать...

— Ну и что? — говорит Мария.

— А то, — говорит, — что дайте пошамать.

— Иди ты, — говорит Мария, — нам с братом самим еле хватает... Вот будет общий обед, пошамашь...

Отошел он, ничего не сказав.

Общий обед случился нескоро. Через несколько часов пришла воспитательница, построила всех попарно и повела в столовую рядом с конным двором. Может, при голодовке на хуторе Мария ела б обед этот с удовольствием, но после того, как на станции Изюм ей хорошо подавали и она попробовала и селедки, и колбасы, и пирожков с горохом, обед этот Мария ела с трудом и по нужде... И Вася, она замечает, тоже ест с трудом. Эге, думает Мария, да мы с Васей вряд ли проживем, если не ходить просить милостыню. Да и Васю надо обучить просить, а то он лентяем растет и того гляди приспособится воровать.

Так оно и получилось. Раз в сутки в одно и то же время, после полудня, приходила воспитательница и вела в столовую, где всегда давали суп-затируху, кипяток с мукой, пшеничную кашу без жиру и хлеба кусок. В остальное же время все уходило искать себе пропитание, кто просить, кто действительно занимался воровством. Однако Васю Мария от себя не отпускала, хоть и видела, что просить он не любил. А раз просить не любил, значит ему редко

подавали, ибо каждое дело труда и умения требует. Ну пусть, если не просит, то хоть рядом будет, постоит за углом, или на скамеечке посидит. Чтоб слушал ее Вася и был у него интерес, Мария как выпросит хороший кусок, ему отдаст. Просила Мария по пивным, возле домов какие побогаче, но на вокзал ходила редко, базар же вовсе не посещала и все из-за Васи. Знала, что там воров много, и они могут на Васю плохо повлиять. Так дни проходили, а ночевали в конюшне.

Был на конном дворе дедушка, ночной сторож по кличке "Москаль". Добрый был он, ласковый, любил детей, и дети его любили. Собирал всех детей в конюшне вокруг себя и, пока не уснут дети, рассказывал им сказки. Одни при том сразу засыпали, а другие слушали допоздна. Мария слушала допоздна и Вася тоже. Сказки у дедушки были разные. И про Ивана-Царевича, и про сиротку Марфушу, и про Илью Муромца — сокрушителя басурманов. И была еще одна, самая интересная сказка про божью деточку — Иисуса Христа. Подопрет дедушка морщинистое, белобородое лицо свое ладонью, задумается, пригорюнится и начинает:

— В тридевятom царстве, тридесятom государстве был на земле большой грех. И решил Господь спасти народ от греха, и послал он на землю любимую деточку, сыночка Иисуса Христа. Как появился Иисус среди людей, сразу им хорошо стало. Взял он хлеб и накормил всех досыта, и водой окропил из реки Иордан, и сказал: "Будете вы теперь народ крещенный, православный, а евреям-жидам за то, что они работать не хотят, а только торговлей в храмах святых занимаются, не будет царства божия". И задумали евреи-жиды любимую деточку Божию, сыночка божьего Иисуса Христа погубить. А главный среди евреев был Иуда-антихрист, — и старичок

поднял кверху палец, словно кому-то в темноте погрозил, прислушался, как в дальнем конце конюшни переступают с ноги на ногу, похрапывают лошади, — собрал Иуда-антихрист весь всемирный еврейский кагал — это значит шайку свою разбойничью — и говорит: "Пока жив Иисус Христос, не одолеть нам народ православный, не заставить на нас работать мужчин и женщин православных, и не сможем мы у деточек православных кровь брать, чтобы печь нашу мацу". Это их лепешки такие нечистые. Раз пошел Иисус Христос в сад, а Иуда и другие евреи его в кустах подстерегали. Схватили они Иисуса Христа, потащили его на гору и прибили ему руки и ноги к кресту, думая, что он умрет. Но он не умер, а вознесся на небо силой божьей и с неба опять явился народу православному и сказал: "Вот он я. Не верьте жидам, что я умер, и оплатите им за мои божьи муки..."

Хоть и интересная была сказка, но длинная, так что к концу ее большинство детей уже спало. Однако Мария не спала, и Вася не спал, и тот мальчик, что в первый день приходил пошамать просить — Ваня — тоже не спал, слушал конец. Конец же всегда старичок по-разному рассказывал. То на зов Иисуса Христа являлся Илья Муромец и Алеша Попович, то Степан Разин и Емельян Пугачев, то Ермак Тимофеевич — завоеватель Сибири... И так каждую ночь. Кони похрапывают, а в окошко конюшни из-под крыши луна глядит... Наконец Вася не выдерживал, опустит голову на грудь и давай сопеть.

— Поснул Вася, — говорит тогда Мария и осторожно брата в уголок поведет, где соломки она заранее приготовила, уложит, а сама рядом. Нравились Марии эти ночные сказки, но после она пожалела, что разрешила Васе их слушать, поскольку Вася

при этом с Ваней подружился, тем мальчишкой, который пошамать просил.

Раз говорит Вася Марии, когда та собиралась милостыню просить, в город идти:

— Я с тобой не пойду, я с Ваней пойду.

— Братик, — говорит ему Мария. — Вася, да разве я тебя обижала? Что попрошу — тебе лучшее... А Ваня тебя воровать научит, я знаю, он на базар ходит.

— Ну и что, если на базар, — отвечает Вася, — на базаре подают больше и лучше.

— Знаю я, как на базаре подают, — отвечает Мария, — там народ жадный, те, кто покупают, хотят подешевле, а кто продают — подороже... Лучше нет места, чем пивная или дом богатый. Хорошо и на вокзале подают, но на вокзале народ подозрительный, воров боится. Если расположишь к себе — подаст, а не расположишь — побить может. Пойдем со мной, братик, сыт будешь.

Не послушался Вася Марию, ушел с Ваней. К вечеру приходит, говорит:

— Мария, дай мне хлеба, я ничего не выпросил.

Мария отвечает с упреком:

— Нужно не бегать на базар, а просить милостыню, трудиться..., — но все же дала ему хлеба.

На следующий день он уже к ней не обратился и даже к обеду не явился. Поздно они вместе с Ваней возвратились и оба довольные, леденцы сосут. Мария сразу же поняла, Васю ни о чем спрашивать не стала, а Ваню в сторону отозвала и говорит:

— Вы воруете на базаре?

— Воруем, — отвечает Ваня.

— Ваня, — говорит тогда Мария, — ты сам за себя в ответе, а я за Васю перед матерью нашей, от которой мы в дороге отстали, отвечаю... И перед сестрой Шурой, и перед братом Колей... Не втягивай, Ваня, Васю в воровство.

— А мы не ворует, мы просим, — отвечает Ваня и усмехается нагло, — я тебя обдурил.

— Брешешь ты как собака, — сердито говорит Мария и, отойдя от Вани, подумала: единственная теперь надежда — это то, что скоро отсюда переведут будут, распределят по разным детдомам, и Ваня с Васей разлучится.

О переводе давно уже слух был, но как-то утром собрала детей воспитательница и говорит:

— Дети, сегодня придет машина, и вы все поедете, но куда, я не знаю. Машина эта всех не заберет, отвозить будут партиями и потому, у кого есть братья и сестры, держитесь вместе, чтоб попасть в одну партию.

Только воспитательница такое сказала, кинулась Мария Васю предупредить, а его и след простыл. Пришла машина — грузовик. Отвезла первую партию — ждет Мария. Пришла машина, набрала вторую партию, начала Мария волноваться, — нет Васи. Что делать? Пойти на базар искать его, разминуться можно. Вернется он на конный двор и усадят его и увезут без сестры. Уж так переживала Мария, уж так кляла Ваню за то, что подбил он Васю уйти на воровство, да еще в такой день. Уж так себя кляла за то, что разрешила Васе слушать ночные сказки старика сторожа, где Вася с Ваней близко сошелся. Пришла в третий раз машина, набрала партию, осталось немного детей, на один раз. Не выдержала Мария, побежала на базар, искала, звала, но нигде не нашла. Бегала и по городу возле пивных, где просили они с Васей раньше, может и верно он за ум взялся, воровать бросил, а начал милостыню собирать, побежала и на вокзал. Вся мокрая, усталая прибежала на конный двор. Васи нет, но машина уже пришла и последних детей сажают. Начала Мария просить, чтоб оставили ее здесь, не увозили,

пока она брата найдет, но воспитательница сказала:

— Твой брат ворует, мы это знаем, и ты тоже хочешь остаться с ним воровать? Найдем его, приведем туда, где будешь ты...

Плакала Мария, объяснить хотела, что перед матерью она за Васю в ответе, но воспитательница и какой-то седой мужчина взяли ее крепко, как Гриша тогда в сарае, под мышки и посадили на машину, велели другим детям держать ее. Однако, если в ночном сарае она Грише покорились, поскольку он ей руку вертел, то здесь, за брата Васю, она боролась до конца, рвалась, несмотря на то, что ей было больно от чужих рук, ее державших, кричала так, как, может, лишь на вокзале в Харькове кричала, когда от матери они с Васей потерялись. И наконец ей удалось вырваться, прыгнуть с машины, но ее догнали воспитательница и седой, подхватили под мышки и посадили опять на машину. Тронулась машина под плач и проклятия Марии, и пока не выехали за Изюм, не переехали мост, не поехали полями, была Мария с открытым ртом, кляла этих людей. Уж далеко от Изюма устала Мария и покорились и ее перестали держать. И снова, как после того, что сотворил с ней Гриша в сарае, впала она не в сон, а в беспамятство. Вроде бы все видит, но ничего не понимает. Помнит она, что в каком-то селе из всей партии детей осталось только двое — она и девочка постарше. Девочку куда-то повели, а Марии сказали:

— Останься здесь, подожди.

Однако ее теперь никто не караулил, и как только она осталась одна — убежала.

Выбежала за село и пошла по дороге, и как вышла она среди полей — впервые одна-одинешенька, поскольку хоть редко кто из родных с ней рядом

был, но в пути Вася всегда был рядом, как вышла она одна среди полей — почувствовала в мире перемену и смотрит — снег идет... Ах ты, Боже мой, думает, как же в такой холод, да еще голодная я Изюм найду, где Вася остался. Закуталась она теснее в кофту старую, которая на ней была, лицо в ворот уткнула, чтоб дыханием грудь согреть и пошла.

Идет и видит — поля белыми становятся — сыпет и сыпет снег, и чем больше сыпет снег, тем больше голод донимает. Земля под ней белая, чистая, а небо чуть потемней, но тоже белое, снежное, и движется среди всей этой белизны Мария черным убогим пятном. Если б могла она сама себя понимать, то именно сейчас ощутила б, до чего ж ее жизнь лишняя в мире и до чего ж она портит красоту. Но, к счастью для себя, не могла Мария ни себя видеть со стороны на фоне первого снега, ни себя понимать со стороны подобно личностям философствующим. А если б могла философствовать, то ужаснулась бы, что никому до сих пор не нужна была, даже брату Васе, и от ее существования получил удовольствие только человек дурной, а именно Гриша, изнасиловавший ее в сарае. Такие безысходные, не из трактатов, человеческие мысли и являют тот редкий плодотворный атеизм, который угоден Творцу более, чем холодное псалмопение или распространенное идолопоклонство. Однако от Марии ее собственная душа и ее разум были отделены бесконечным пространством, но безмолвное сердце, лишенное Божьего дара слова, сердце ее было рядом с ней, и она заплакала, не имея ни слов, ни понятий, а одни только лишенные смысла звуки.

Плач этот не был тем частым, обычным плачем, которым плакала она еще недавно, когда ее уво-

дили от Васи, не крикливый с проклятиями плач, бессмысленный, ничего не дающий плач. Это был Божий плач, от сердца, которым иногда Господь награждает неразумных, подменяя этим плачем великие истины, доступные лишь пророкам. И нищая девочка Мария, от которой отказалась мать и старшие брат и сестра, которая потеряла младшего брата Васю, и отсутствие которой на Божьем свете могло лишить удовольствия только насильника, воспользовавшегося ее телом в сарае, через Божий плач среди белого неба и белой земли возвысилась и достигла этим неразумным, но сердечным плачем утешения Господа, которое произнес он через пророка Исаяю.

— Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас... И увидите это и возрадуется сердце ваше и кости ваши расцветут как молодая зелень...

Без слов прочла она это наставление Господа и без разума поняла. Утешенная этим отпущенным ей драгоценным даром — Божьим плачем, — успокоенная, с облегченным сердцем, прошла Мария снежным полем и вышла к каким-то заснеженным станционным строениям. Это был не Изюм, а станция Андреевка.

— Не беда, — подумала Мария, успокоенная сердцем, — здесь я всегда сумею прокормить себя подаяниями и, может, что-то придумаю... Надо ли мне добираться в Изюм? Может, брата моего Васи там уже нет, может, его еще с утра не было, когда я, как безумная, бегала то на базар, то по городу. Может, подался он с другом своим Ваней куда-либо на воровство в другой город. И хоть тяжело, что я недосмотрела за ним, но, может, мать, когда найдется, и брат Коля, и сестра Шура поймут, что я и за себя не могла постоять, и проявят снисхождение к моей вине.

Подумав так, Мария совсем успокоилась и решила отправиться на сбор подаяния у местных пассажиров станции Андреевка, поскольку была сильно голодна. Но как не у каждого дома просила Мария подаяния, так и не у каждого поезда она просила. Если видит — приходит поезд битком набитый, и люди там в лохмотьях, как и она сама, а вещи их в мешках да в корзинах упакованы, — не идет Мария, лучше в тепле посидеть на скамейке. А как видит — поезд богатый, народу не много и с чемоданами, — идет просить.

Вот приходит такой поезд богатый, и пошла Мария просить к этому поезду. Видит она, из вагона выходит молодой дяденька с блестящим чемоданом в руке, а рядом с ним выходит молодая тетенька без чемодана. Хотела было Мария у них просить, но вдруг оробела. Никогда еще Мария таких красивых людей не видела, а запах от них — как будто медом пахнут. И сама не знает почему, пошла Мария следом за ними. Идет и слышит, как молодой дяденька говорит молодой тетеньке.

— Я этим поездом на Харьков не поеду, а поеду через Курск в Льгов.

И тут Мария за голову схватилась. "Господи Боже ты мой... Ведь у нас в Льгове старшая сестра Ксения работает в доме отдыха". Вроде бы помнила о том Мария и вроде бы не помнила. Но сказал о Льгове молодой дяденька, точно вспомнила.

Меж тем молодая тетенька ушла и молодой дяденька один остался. И заплакала Мария. Конечно, не так она плакала, как среди снежного поля, не сама по себе, а умышленно, чтоб привлечь внимание. Молодой дяденька посмотрел на нее и спрашивает:

— Девочка, чего ты плачешь?

— Отстала я от матери, — говорит Мария, — а в го-

роде Льгов живет моя старшая сестра Ксения, работает в доме отдыха, но нет у меня денег доехать...

— Значит, ты голодная? — говорит молодой дяденька.

— Да, я голодная, — отвечает Мария.

— Тогда пойдем сперва в буфет, я тебе куплю поесть, — говорит молодой дяденька.

На станции Андреевка буфет маленький, не как в городе Изюм, но молодой дяденька что-то сказал официанту, и тот сразу жареную курицу принес и бутылку вкусной сладкой воды. Ест все это Мария, а сама на молодого дяденьку смотрит и от того, что красотой его отвлечена, даже вкус жареной курицы не ощущает.

Надо заметить: после того, что сотворил с ней Гриша в сарае, произошла в ней какая-то перемена. Вроде бы живет Мария — ест, пьет, спит и нет никакой перемены, а вдруг почувствует — есть перемена, и была эта перемена ей приятна. Так приятна, что временами хотелось ей опять в темном сарае очутиться на отшибе, среди поля, но не с Гришей, а с кем-либо другим, с кем же, не знала... Теперь же, как увидела молодого дяденьку — поняла, вот с каким очутиться бы в сарае, и пусть даже больно будет, она б не защищалась и не кричала. И явилась у нее мысль — не ехать в Льгов к Ксении, а пристать к этому молодому дяденьке. Но как сказать ему это, не знает. Молодой дяденька меж тем говорит.

— Кушай, девочка, быстрее, времени мало. Сейчас со мной пойдешь.

Обрадовалась Мария, обглодала косточки, выпила всю бутылку сладкой воды и только после этого опомнилась, стыдно ей стало.

— Извините, — говорит, — я все съела, вам не осталось.

А молодой дяденька смеется, зубы у него белые, ровные, блестящие.

— Ничего, — говорит, — я потерплю.

Пошла Мария за молодым дяденькой, идет и от радости ей впервые за много дней петь хочется. Надо заметить, что Мария раньше пела вместе с мамой и сестрой Шурой. "Нич, яка мисячна" пели или — "Наливайте мне да кружку чаю, до свидания, да я въезжаю". Эта песня про чай, видать, не к добру пелась, про остальные же песни приятно было вспомнить. И так идет Мария следом за молодым дяденькой и предается приятным воспоминаниям. Подходят они к вагону, и как увидела его молодая тетенька из окна, выбежала на перрон, обняла и плачет, точно они давно не виделись. А молодой дяденька говорит молодой тетеньке:

— Валя, довези эту девочку до Харькова, а там она попросится до Курска и оттуда в Льгов, где у нее сестра.

Молодая тетенька сразу руки с плеч молодого дяденьки сняла, слезы со щек кружевным платочком вытерла и говорит.

— Ты ведь сам едешь в Курск, а оттуда в Льгов.

— Я еще не скоро поеду, — отвечает молодой дяденька, — а этой девочке скоро надо... Мое ведь место освободилось... Вот тебе деньги, — и достает деньги.

— Не надо мне денег, — отвечает молодая тетенька, — пусть едет.

И вошла Мария в вагон неопишуемой красоты — весь шелком обтянут, с зеркалом и мягкими скамейками. Села она у окошка возле занавесочки кремовой и на молодого дяденьку поглядывает. А молодая тетенька с другой стороны села и в окошко вроде бы не смотрит, но видит Мария, что нет, нет, да посмотрит, нет, нет, да посмотрит. Ага, ду-

мает Мария со злостью, — хоть я от молодого дяденьки уезжаю, но и ты уезжаешь... Пусть ни тебе, ни мне.

Тут поезд пошел, точно на руках понесло Марию, так мягко ей было и шума никакого.

— Тебя как зовут? — спрашивает молодая тетенька.

— Мария.

— А сколько тебе лет?

— Не знаю.

— Ты деревенская?

— Да, — отвечает Мария, — село Шагаро-Петровское, хутор Луговой.

— Тебе, наверное, еще и четырнадцати нет, — говорит молодая тетенька, — лет двенадцать тебе... Счастливейший возраст, без мужчин и страданий.

И больше она ни о чем с Марией не говорила, сидит в углу и молчит, а иногда кружевной платочек к глазам приложит острыми, как иглы, пальцами с красными ногтями. Только как приехали в Харьков, молодая тетенька с Марией заговорила.

— Вот тебе деньги, — говорит, — пойди и купи себе билет до Курска, а там купишь себе билет до Льгова.

— Спаси вас Бог, — отвечает Мария, как учила ее благодарить мать, — но только дайте мне еще и хлеба, Христа ради... А то дорога дальняя, кто его знает, выпрошу ли я, какие люди попадут.

— Здесь денег больше, чем на билет надо, — отвечает молодая тетенька, — купишь себе хлеба и колбасы... А у меня хлеба нет, я сама голодная...

Поблагодарила Мария еще раз и ушла, больше она эту молодую тетеньку не видала. Пошла она на вокзал, и теперь он уж не показался ей такой большой, хоть и был по-прежнему красивый. Узнала она и скамейку, где мать ее сидела возле мешка, и узнала лестницу белую, блестящую, по которой они с Васей бе-

гали. Вот и деревья диковинные в кадках... Клубок подкатил ей к горлу, и она заплакала и плакала она горько, но так, как в снежном поле плакала, по дороге к станции Андреевка, не смогла плакать, и потому после плача было ей по-прежнему тяжело в груди и печально. Денег бумажкой ей никогда не подавали, но подавали медяками, и она знала куда обращаться, чтоб купить хлеба и колбасы, а куда обращаться, чтобы купить билет, не знала. Но молодой дяденька, которого она выбрала из многих людей, чтоб спросить, показал ей, где покупают билет, и она купила твердую зеленую карточку.

Этот молодой дяденька не был так красив, как тот, на станции Андреевка, однако вид его тоже был приятен Марии и может, если б она осталась с ним в темном сарае, то тоже не закричала б...

Колбаса, которую купила Мария, была тверда и черна и, после жареной курицы в буфете станции Андреевка, была Марии неприятна, ибо она была разбалована уже богатыми подавниями и не потому, что богатого стало много, а потому, что Мария научилась просить в определенном месте и у определенных людей.

— Что, не нравится колбаска? — сказал ей какой-то мужчина в шинели и обмотках, с красным лицом, будто стоял он на сильном морозе, — я когда-то верхом на этой колбаске ездил... Как в песне поется: "А конница Буденного пошла на колбасу", — он засмеялся, — не нравится конская колбаса, мне отдай...

Мария отломил кусок и впервые в жизни своей не приняла подавния, а сама подала и как подала — поняла, как это приятно и какое удовольствие делают себе люди, которые подают... Не нищие должны благодарить тех, кто подает им, а те, кто подает,

должны благодарить нищих за то, что они своим существованием доставляют удовольствие.

Хоть мужчина и был грязен, но пахло от него приятно, как и от молодого дяденьки на станции Андреевка, одеколоном. Взяв трясущимися руками поданную Марией конскую колбасу, он сразу же начал грызть ее. Марии он был приятен, лишь когда подала ему, а потом, когда он грыз колбасу, стал неприятен, и она отошла и подумала горько: "Вася и такой колбасы не имеет. Разве воровством много получишь, только побьют, а подаяние собирать я его не научила". Однако горечь о Васе уже не была такой жгучей, как в Изюме, во время их разлуки, была уже более себе подчинена. И если б Мария обучалась философии, то поняла бы, что горечь ее теперь стала оптимистична, ибо всякий оптимизм, даже всемирный, существует ради собственных интересов. Ничего, думала Мария, разыщу Ксению, та Васю найдет быстрее, чем я, поскольку уже давно не деревенская, в городе живет. Хлеб у нее был, колбаса, хоть и конская, тоже была, и поехала Мария, согласно своему билету, в Курск. Всю ночь ехала на собственном месте, барыней сидела, и локтями тех, кто напирал на ее место, отталкивала.

В Курске тоже народу много и деревья в кадках, но Мария уже привыкла, меньше посторонним интересовалась, а думала, как ей добраться в город Льгов и как подаяние получить, поскольку харьковские хлеб и колбаса кончились. Однако избалованная легкими подаяниями в городе Изюме, удачной встречей с молодым дяденькой на станции Андреевка и проездом в богатом вагоне, Мария, видно, разленилась и стала просить как Вася просил, без души. И никто ей в Курске не подал, а какая-то женщина, к которой Мария подошла с именем Христовым, вдруг ударила Марию по лицу. Мария убе-

жала и спряталась за ящиками в конце платформы, но не плакала, а думала, как ей добраться к Ксении в Льгов, ибо денег на билет у нее уже не было, напрасно она покупала колбасу, да и хлеба можно было меньше купить или вообще не покупать, а выпросить. О женщине, которая ударила по лицу, Мария себя успокоила: "Ничего, это она по ошибке меня за воровку приняла..." Но тут же пригорюнилась: "Вот так, наверное, Васю каждый день. Быстрее надо ехать к Ксении, чтоб та Васю разыскала".

Вдруг видит Мария — двое мальчиков каких-то грязных ее возраста, а с ними девчонка.

— Это ты, — говорит один мальчик повыше ростом, — у тетки чемодан своровала?

— Нет, не я, — отвечает Мария.

— Чего ж ты здесь сидишь? — спрашивает девчонка:

— Где ж мне сидеть, — отвечает Мария, — если мне в город Льгов надо, а денег на билет нет.

Тут оба мальчика и девчонка рассмеялись и говорят:

— Поехали с нами в Льгов... Вот поезд подан, — и показывают на платформы с песком.

Конечно, огольцы, думает Мария, но ехать-то надо... Пристанут, кричать начну.

Залезли на платформу, поехали.

— Давай, — говорит мальчик повыше, — к нам прижимайся, а то дуба дашь.

Мария сперва отдельно сидела, но ветер на открытой платформе до кости бьет. Полезла в общую кучу. Только присела, начал ее мальчик, который повыше, щипать, другой мальчик уже давно девчонку из своей компании щипал, под юбку ей руку совал. Мария думает: "Пусть щипет, что сделаешь, но под юбку не пушу", — и сжала колени. Видит Мария, силы в нем нету мужской, как в Грише,

коленки он ей не разожмет. Мальчик и сам это понял, говорит:

— Давай с тобой любовь крутить. Зачем тебе сестра в Льгове, у меня вон отец в Харькове, и то я от него убежал. Ездить будем по поездам, жить хорошо будем.

Мария, конечно, понимает, на что он подбивает, но притворяется дуручкой.

— Нет, — говорит, — мне надо сестру в Льгове найти, чтоб она помогла мне брата Васю разыскать.

Пока так говорили — уже и Льгов.

— Извините, — говорит Мария, — спасибо за компанию, — и соскочила с платформы.

— Ух ты, стерва, — говорит мальчик и хочет за ней погнаться.

Но Мария предупредила:

— Я крик подыму, — и он не стал за ней гнаться.

В городе Изюме то дождик помочит, то солнышко припечет, а здесь, понимает Мария, в городе Льгове на улице не поночуешь — снег и в вокзале холод, вокзал маленький, хуже, чем на станции Андреевка. Если, думает Мария, сестру Ксению не найду, конец мне... Кто в дом пустит обогреться?.. Или самой придется в приют проситься, а этого я больше всего боюсь.

Спросила она у какого-то прохожего дом отдыха.

— Какой, — говорит, — тебе, девочка, дом отдыха?

— Как какой... Где моя сестра Ксения работает.

— А в каком она работает? Есть дом отдыха "Круча", а есть имени десятого партсъезда.

— Я не местная, — говорит Мария, — не знаю.

— Тогда иди в "Кручу", а там уж видно будет, — и дорогу ей показал.

Пошла Мария среди сугробов, ибо в городе Льгове улицы узкие, домики низенькие, а ночью, видать,

метель была. Идет Мария и дрожит от холода, холод такой, что даже остановиться невозможно, осмотреться и сообразить, где бы в Льгове удачнее подаяние собрать можно, поскольку последние остатки богатых подаяний из нее ушли, выветрились, последние соки от прошлых удач были потрачены и стала Мария опять самой что ни есть голодающей, как у себя на хуторе... Тут и траве-рагозе будешь рада, если б сезон для нее... Но при том не теряет Мария надежды, что уж близко от богатой сестры находится... Вообразила себе Мария, что Ксения богатая. Раз, думает, она нашей бедной сельской семьи не признает и о себе ничего не сообщает, значит богатая.

Приходит Мария на самую окраину города, где уже река замерзшая и только по крутому берегу можно эту реку отличить от белых полей, которые за рекой начинаются. Видит — забор как возле их хаты, в санатории... Хотела пройти в ворота, а ее старик останавливает.

— А ну, иди отсюда.

— Дедушка, — говорит Мария, — я не за подаяния-ми... У меня здесь сестра работает, я к ней издалека приехала.

— Какая сестра?

— Ксения.

— А фамилия как?

— Фамилии не знаю.

— А ну, иди отсюда.

— Дедушка, — говорит Мария, — приехала я издалека, с хутора Луговой... Отец у нас помер в прошлом году, поскольку год был голодный. И нас с матерью осталось пять душ детей. А хата у нас завалилась, и управление колхоза дало нам другую хату, близ тамбы, и наша мать оставалась в этой хате, поскольку все мы были пухлые, менять у нас не

осталось ни одной тряпочки, что на нас, что под нами и кроме лохмотьев ничего.

— Ладно, — говорит старик, — иди в контору и спроси про свою сестру, — и пропустил Марию.

Вошла Мария, смотрит, дом красивый, старинный, белый и сад кругом, весь в снегу, и по саду этому прохаживаются старики и старушки. Боязно стало Марии у них спрашивать. Думает: "Тот старик поверил, а эти могут не поверить и прогонят. Куда ж я денусь?" И пошла она наугад, а именно на запах каши и жареного лука. Подходит к крыльцу, навстречу толстая женщина ведро помоев выносит горячих, и от ведра пар идет. К толстым людям у Марии больше было доверия, чем к худым, у толстого всегда лишнее есть, а худой редко чем поделится, худому самому подай.

— Тетенька, — говорит Мария, — где тут моя сестра Ксения?

— Коробко? — спрашивает женщина.

— Да, — обрадованно отвечает Мария, а сама про себя думает, — раз Ксения, значит моя сестра, хоть и Коробко.

— Она больше здесь не работает, — отвечает толстая женщина, — она еще на первое мая уволилась и уехала из города.

Тут Мария начинает плакать, да так горько, навзрыд, и толстая женщина следом за ней начинает плакать прямо с ведром в руках. А потом говорит:

— Не плачь, девочка, поскольку я Ксении была подруга и знаю ее адрес... Поехала она в город Воронеж, вышла замуж за одного нашего отдыхающего.

— А как же я до города Воронежа доберусь, — говорит Мария и продолжает плакать.

— Пойдем, — отвечает толстая женщина, — я тебя супом накормлю, а там видно будет.

Приводит она замерзшую, дрожащую Марию в помещение для мойки посуды, усаживает ее на табурет и дает ей железную миску горячего супа. Надолго запомнила Мария эти пухлые, распаренные в воде руки с короткими пальцами, которые подали ей тарелку горячего супа на табурете в теплом углу, ибо было в этих руках для Марии Божье... Не навсегда запомнила, навсегда и не надо, навсегда только Самого помнить надо, а не Его проявления, но надолго запомнила... Есть доброе, которое от людей, которое не освящено Высоким. Жареную курицу на станции Андреевка Мария без всякого чувства съела и деньги от красавицы в поезде без чувства приняла, как принимала она обычно грошовые подаяния — хлебную корку или пятак... Но тарелку вчерашнего супа в углу посудомойки она приняла с торжеством, ибо торжество было в плаче ее среди заснеженного поля по дороге на станцию Андреевка, торжество было и в благодарности за вчерашний разогретый суп, поданный в городе Льгове. Здесь не было добра человеческого, но добро Божье...

И опять, уже во второй раз, без слов прочла Мария наставление Господа и без разума поняла то, что открывается пророкам постоянно через их праведность и разум. И услышала она без слов и поняла без разума сказанное через пророка Исайю:

— Бедная, бросаемая бурей, безутешная. Вот я положу камни твои на рубине и сделаю основание твое из сапфиров. И сделаю окна твои из рубинов и ворота твои из жемчужин и всю ограду твою из драгоценных камней.

А толстая женщина по имени Софья, безграмотная посудомойка, которая добра была не человеческим, но Божьим добром, уже не впервые слышала Господа без слов и понимала Его без разума. И сейчас не разумом своим, который был у нее косно-

язычен, но безмолвным сердцем через пророка Исаяю поняла она.

— Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом, когда увидишь нагого, одень его и от единокровного твоего не укрывайся...

И сняла София ватник свой, висевший в углу, подала его Марии и говорит:

— Надень, а то замерзнешь. — И еще говорит: — Сменюсь я с работы, пойдем с тобой на станцию и упрошу я кондуктора, чтоб довез тебя в город Воронеж, поскольку денег на билет у меня нету.

Сменилась Софья к полудню, и за это время она еще два раза кормила Марию — пшенной кашей с жареным луком и макаронами, а с собой дала кусок хлеба и кусок селедки.

Как пришли Мария с теткой Софьей на станцию и дождались поезда, сразу тетка Софья велела Марии пригорюниться, а может, даже поплакать. Но как ни пыталась Мария плакать, на сей раз не плакалось.

— Ладно, — говорит тетка Софья, — может, и без плача кондуктора уговорим.

Выбрала она кондуктора на глазок, да не тихого, который ласково всем отказывал, ибо вагон битком, а того, кто всех ругал и толкал. Подошла к нему тетка Софья и начала без всяких предисловий рассказывать про горести Марии.

— Тебе чего надо? — прерывает тетку Софью сердитый кондуктор, — чего ты мне истории рассказываешь, я сам тебе могу рассказать.

— Довези, — говорит тетка Софья, — девочку к сестре в Воронеж.

— А ты ей кто будешь?

— Никто, — говорит тетка Софья, — но теперь мы с тобой вместе ей родственниками будем.

Молчит кондуктор, но тетка Софья стоит рядом,

не отходит, и Марии велит стоять. Когда кончилась посадка, кондуктор говорит:

— Пусть лезет, где пристроится.

Обняла Софья Марию, поцеловалась с ней, перекрестила и говорит слова пустые, каждому доступные и многими произносимые, не Божьи, а человечьи.

— Храни тебя, — говорит, — Господь наш Иисус Христос.

И кондуктору тоже говорит. А тот отвечает:

— Брось ты, тетка, Христа твоего уж давно отменили декретом, а ты лучше за девчонку проси, чтоб ей контролер в пути не повстречался...

Ведь прав он, кондуктор вагона номер семь. Не Божьим словом, а Божьим делом силен простой человек. Божьим же словом сильны лишь пророки.

Так, Божьим делом посудомойки Софьи и кондуктора вагона номер семь Мария доставлена была в город Воронеж, куда поезд прибыл затемно, в самый разгар ночи. Думала сначала Мария дожидаться утра на вокзале, а потом передумала: "Все-таки сестра родная". Спросила Мария у милиционера, дежурившего на вокзале, улицу, и оказалась эта улица совсем недалеко от вокзала. "Пойду", — решила Мария.

Улицы в Воронеже шире, чем в Льгове, и вообще Воронеж с первого взгляда ей понравился. Чем-то на Изюм похож, — думает Мария, — в Курске плохо подают, а в Изюме хорошо подавали. Если не найду сестру, здесь в Воронеже перезимую. Если же найду сестру, тем более перезимую с ее помощью. Идет Мария, так раздумывая, по улице, входит согласно адресу, ибо читать-писать она умела, до голодовки выучилась, входит в какой-то двор, где все тихо, темно, поскольку ночь, и народ весь спит. Подходит она к дверям, опять же согласно адресу, и начинает

в эти двери стучать. Стучит она стучит, только никто не отпирает. Неужели уехала сестра, думает Мария с тоской, а может не слышно, может в окошко постучать, которое за углом.

Вдруг окошко это само собой распахивается, и выскакивает оттуда человек в белых штанах в валенки заправленных. Только как побежал он изо всех сил мимо нее, точно гонятся за ним собаки, поняла Мария, что это он не штаны, а кальсоны в валенки заправил. Растерялась она, а тут слышит, дверь отпирают. Быстрее к дверям — и видит, стоит ее мать, но очень помолодевшая и красивая, чем-то на молодую тетеньку похожая, которая Марию от станции Андреевки везла. Губы у матери накрашены и сама бледная, одной рукой свечу горящую держит, а другой ворот синего в золоте халата.

— Кто там? — спрашивает.

И как заговорила, сразу Мария поняла, что не мать это, а богатая, красивая сестра Ксения.

— Ксения, — говорит Мария, — это я, твоя сестра Мария.

Тут Ксения как крикнет, свечу уронила, обняла Марию, заплакала и повела ее в дом. И все оправдалось, как Мария предполагала. Дом богатый, в одной комнате шифоньер, диван — все это Марии было знакомо по домам, где хорошо подавали. А в другой комнате постель широкая, раскрытая, с двумя огромными подушками.

— Я думаю, кто это стучит ночью, — говорит Ксения и плачет, — как же ты, сестричка, нашла меня?

Начала Мария рассказывать и про отца, который помер в прошлом году, и про хату, которая завалилась, и про Васю. Ксения спрашивает:

— Какой это Вася?

— Это братик наш, — отвечает Мария.

— А разве у нас есть такой братик? — говорит Ксения, — я Колю знаю и сестру Шуру, и тебя, но как уехала я, ты совсем малая была, по полу ползала.

— У нас еще маленький братик Жорик есть, — говорит Мария, — только его сейчас дома нету, — и про Жорика тоже рассказала.

Что Мария ни говорит, Ксения плачет. Обо всем Мария рассказала, но про то, что сотворил с ней Гриша ночью в сарае, не рассказала, утаила. И про то, как видела человека, который в кальсонах из окошка выскочил, тоже утаила.

— Ладно, — говорит Ксения, — ладно, сестричка. Утром приедет мой муж Алексей Александрович, железнодорожный техник, он человек хороший, добрый, уговорим его, оставим тебя возле нас зимовать, а там видно будет...

И верно, утром приезжает Алексей Александрович, железнодорожный техник. Видит Мария, человек этот тепло одетый, в полушубке, в ватных штанах, в валенках, а как стянул меховой треух, голова лысая. Начала его Ксения обнимать и целовать, да так обнимала, что Алексей Александрович говорит:

— Дай мне сперва, лапушка, умыться, поскольку от меня мазутом воняет.

— А это, — говорит Ксения, — сестра моя Мария приехала к нам погостить.

— Пусть живет, — отвечает Алексей Александрович, — квартира просторная, места хватит.

Начала Мария жить. Встает на рассвете, темно еще за окном, ночь, и на теплой кухне, где Мария спала, приходится свечку зажигать, чтоб уборку начинать. Свечи где-то Алексей Александрович дешево доставал целыми ящиками и с их помощью электричество экономил. Первым делом Мария с полу свою

постель убирала — старые теплые платки да пиджаки, чтоб пол на кухне мыть, потом обувь чистила, а уж как рассветет, она в комнаты идет, за стол садится вместе с Алексеем Александровичем и Ксенией, сладкого чаю попьет, хлеба поест со смальцем свиным или повидлом и опять за уборку, уже в комнатах... Незаметно и время обеда приближается, когда Алексей Александрович приходит. Обед всегда был сытный и вкусный. Ксения хорошо готовила, она ведь в доме отдыха поваром была. То борщ, о котором, наверное, мечтала нищая старуха с их хутора, что ей когда-нибудь такой борщ подадут в богатом доме, то макароны с мясной подливкой, то котлеты с пшенной кашей, а то блины. Ест Мария и думает: "Эх, Васю бы сюда... он ведь тощий совсем.. Да и мать нашу не мешало б сюда... И Шуру с Колей..."

После обеда начинала Мария посуду мыть и мыла долго под наблюдением Ксении. Сначала бак горячей воды вскипятит, чтоб с тарелок и вилок-ложек было чем жир смывать, а потом каждую тарелку, вилку-ложку холодной водой споласкивает.

И зимует там Мария в свое удовольствие. Как свободная минута, или с Ксенией на базар идет, или так просто на Воронеж смотрит. Хороший, думает, город Воронеж, не то что Курск, здесь не то что возле сестры, здесь и подавнием проживешь, не похудеешь. Зимует так Мария, зимует, и вот однажды говорит ей Ксения:

— Почистишь рабочие сапоги Алексея Александровича, поскольку он в командировку уезжает.

Начала Мария чистить сапоги, а они тяжелые, кожа толстая, двойная, плюс подкладка байковая, и к подошве железные подковки прибиты. Уж намучилась Мария, уж столько ветоши извела, столько гуталину, пока сапоги заблестели и кожа смягчилась.

Надел Алексей Александрович сапоги, постучал ногами об пол и говорит:

— Ну, теперь я ноги не замочу. А то, ядрена корень, там иногда бывает — трубы прорвет и в валенках ноги промокнут.

Уехал Алексей Александрович. Ксения говорит.

— Ты, Мария, сегодня больше пол не подметай, а то плохая примета. Хочешь, пойди погуляй, а потом спать ложись.

Пошла Мария, погуляла немного по Воронежу пока началось смеркаться, потом возвращается, видит — Ксения перед зеркалом сидит и лицо у нее такое красивое, что, пожалуй, молодой тетеньке, которая везла Марию со станции Андреевка, не уступит. Вот бы, думает Мария, мать нашу Ксению сейчас увидела, то-то бы порадовалась.

— Мария, — говорит Ксения, а сама веселая, что-то напевает. — Мария, поешь котлет с хлебом и спать ложись. Сегодня уборкой заниматься не надо.

Поужинала Мария в кухне сытно и улеглась на мягких старых платках, быстро уснула. Проснулась она среди ночи от тихих разговоров и тихого смеха.

Алексей Александрович, думает, вернулся.

Разговор, между тем, вовсе притих и вдруг слышит Мария, застонала Ксения. Заболела, думает Мария, заболела Ксения. Встала она к дверям, а двери заперты, из кухни не выйдешь. Стоит Мария у двери кухонной и слушает — стонет Ксения. Да так напевно стонет, словно от сильной боли радостную песню поет. И вспомнила вдруг Мария, как стонал Гриша в темном сарае, когда творил он над ней насилие. Неужели, думает Мария, и я такого не испытаю. Пропитание можно выпросить и ночлег для умелого человека добыть можно, а попробуй, выпроси такое удовольствие. И охватил вдруг Марию озноб, будто она на морозе среди поля, хоть

была она в доме на теплой кухне. И захотелось ей оказаться опять в темном сарае на соломе, если не с красивым молодым дяденькой со станции Андреевка, то хотя бы на худой конец с тем же Гришей.

Второй раз, в лихорадке думает Мария, и я, может быть, научилась бы так приятно стонать.

Однако тихие стоны Ксении вдруг разом прекратились, и сразу начался шум неопиcуемый, точно кто-то хотел шифоньер из дома вынести, а тот в дверях застрял. Слышит Мария — кричат сразу несколько голосов и среди них Ксения. Причем, если бы разбиралась Мария в музыке, то поняла бы, что кричат эти голоса одну и ту же ноту и на членораздельную речь не переходят. Вдруг кухонная дверь распахивается, и на кухню врывается знакомый уже мужчина, которого Мария в первую свою ночь по приезде своем в Воронеж видела и который в окошко из Ксениного дома выпрыгнул, а Мария это от Ксении утаила. И опять он в белых кальсонах, заправленных в валенки. Ворвался — и к окошку. А следом за ним Алексей Александрович ворвался, тепло одетый, в ватных штанах, заправленных в вычищенные Марией сапоги. А следом Ксения вбежала совершенно голая. Хоть и страшно Марии от всего этого, но так она голой Ксенией поражена, что глядит на нее, глаза вытаращив, и с собой невольно сравнивает. Груды у Ксении молочные, тяжелые, торчком, а в конце каждой груди длинный красный сосок, точно пальчик у Жорика-младенчика. У Марии же вместо грудей — бугорки, которые нащупывать надо, и сосок, словно прыщик. Тело у Ксении тоже молочное, без костей, живот и ноги крепко между собой соединены и, как она от стыда сейчас отказалась вследствие беспощадной драки между двумя одетыми мужчинами, так не срам обнажился, а красота ее обнажилась, нет-нет, да и посмотрят то

один дерущийся на нее, то другой, и дерутся уже не так беспощадно. Вбежала Ксения голая, а точно одетая, выбеги же голая Мария и осталась бы голая — засмеяли бы. Ноги у Марии костлявые, а живот ниже ребер и там, где у Ксении красота, у Марии обнаженный срам. Раньше Мария о том не думала, а как сотворил с ней насилие Гриша в сарае, начала думать, и вот теперь поняла, глядя на Ксению, что ежели она, Мария, в будущем кого-либо к себе допустит, то только в темноте. Ксения же и на свету может...

Так через Гришу и через дальнейшее приобщилась Мария к третьей тяжкой казни, которую посылает Господь на людей и о которой говорил пророк Иезекииль. Третья тяжкая казнь Господня — зверь, ему же имя похоть. Третья казнь Господня особая, ибо меча и голода, и болезни пророки не страшатся, а зверя страшатся. Царь Соломон, праведник, казним был третьей казнью. И Дан, Аспид, Антихрист знал, что, идя дорогой земной, первой казни — меча — ему страшиться не надо, ибо он бессмертен, второй казни — голода — страшиться не надо, ибо пастушья сумка его полна нечистого хлеба изгнания, четвертой казни — болезни земной — ему страшиться не надо, ибо лишь карам Господним он подвластен, а третьей казни — прелюбодеяния земного — ему надо страшиться.

И Моисей, который вел народ из Египетского угнетения, говорил, что третья казнь будет, и Неемия, который много веков спустя вел народ из вавилонского угнетения, говорил, что третья казнь уже была. Ибо если Моисею еще неизвестна была судьба царя Соломона, праведника, то Неемии уже была известна, и была она уже для него притчею.

— Не из-за них ли, — говорил Неемия, — грешил Соломон, царь Израилев? У многих народов не бы-

ло такого царя, как он, он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами, и однако же чужеземные жены ввели в грех и его...

Однако в чем же тайна третьей казни Господа? Почему подвержены ей не только грешники, но и праведники? Потому что меч, и голод, и болезнь лишь терзают, а дикий зверь, терзая, плодоносит. Потому что в третьей казни не только плевел, но и пшеница. Потому что ни разум, ни праведность от нее не спасут. Насильники над телом, аскеты, не спасут: они ведут лишь к уродству, видному на примере александрийских монахов, которыми средневековые христиане подменили облик Иисуса из колена Иудина.

Третью казнь в негодовании на женщину за яблоко из Эдема передал Господь в руки сильному нечестивцу, и потому бороться с ним можно лишь непотворением злу насилием, как учил пророк Иеремия и как укрепил это учение спустя семь веков Иисус из колена Иудина. Однако спастись можно лишь при оговорке пророка Иеремии — отдать все нечестивцу, но от нечестивца унести в качестве добычи собственную душу. Любовь и придумана, чтоб взять добычу от нечестивца — прелюбодеяния, взять собственную душу. Чтоб отделить пшеницу от плевел и, отдав дань зверю — похоти, сохранить плодородность. Но ради такой любви необходимо исполнить Божье проклятие и преодолеть свой, соблазненный змеем, разум. И если разум этот велик, то и праведник изнемогает, как изнемог царь Соломон, в котором женщина победила Бога. Однако малый разум еще более препятствует духовному труду, поскольку с уменьшением разума уменьшается и потребность его преодолеть, и возрастает тяга к праздности. А высшее проявление духовной празд-

ности есть зверь — похоть. Так было и в древности.

— Подыми глаза твои на высоты, — говорил с тоской пророк-мученик Иеремия, — и посмотри, где не блудодействовали с тобой. У дороги сидела ты для них и оскверняла землю блудом твоим и лукавством твоим. За то были удержаны дожди и не было дождя позднего, но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд.

— При начале всякой дороги устроила себе возвышение, — говорил и пророк — изгнанник Иезекииль, — позорила красоту твою и раскидывала ноги для всякого мимо идущего и умножала блудодеяния твои...

То же, но на свой воронежский манер, думал и Алексей Александрович, железнодорожный техник. Размахнулся он и ударил мужчину в кальсонах по зубам.

— За что бьешь? — спросил мужчина в кальсонах, вытирая кровь.

— За подлость твою, — пояснил Алексей Александрович.

— Ее бей, — сказал мужчина в кальсонах, — я лишь ее просьбу исполнял.

Тут Алексей Александрович ударил сапогом, тем, который Мария чистила, с подковами железными, тяжелым, словно камень-булыжник. От такого удара мужчина в кальсонах, заправленных в валенки, пошел как на параде мелким церемониальным шагом спиной вперед, ударился об окошко, вышиб стекло и нырнул в оконный проем валенками кверху так, что его на кухне мгновенно не оказалось, а остались на кухне только тепло одетый и в сапогах Алексей Александрович и голая, босиком, Ксения, поскольку Мария, всеми забытая в углу на полу, была не в счет. Остались муж и жена фактически с

глазу на глаз. Минуту-другую смотрел налитыми глазами на Ксению Алексей Александрович, даже треуха не сняв. Потом протянул руки свои, чтоб схватить ее для расправы. Ксения этому не препятствовала, только лишь увернулась движением полных бедер от захвата за горло и вместо горла Алексей Александрович в беспамятстве, очевидно, начал душить тяжелую, молочного цвета грудь Ксении, отчего сосок, длинный, как пальчик младенчика, напрягся, второй же рукой Алексей Александрович подхватил Ксению за пышную красоту ее, гикнул, оторвал от пола, как тяжелый ящик с путейским инструментом, упираясь ладонью в низ круглого Ксениного живота, и унес из кухни, причем Ксения, которую несли, своей полной рукой, с ямочкой на локте, плотно заперла по ходу движения кухонную дверь.

Некоторое время за этой дверью слышен был шум, Ксения всплакнула, но не надолго. Вскоре стало тихо, а потом Ксения вдруг застонала опять напевно. Так, потеряв любовника, Ксения соблазнила мужа... И опять Марию охватил озноб, но озноб гораздо более сильный, чем ранее, озноб от всего произошедшего, да и от выбитого окна дуло.

Мария всю ночь не спала, стараясь согреться, и все старые платки, которые на пол стелила под себя, на себя намотала, ходила из угла в угол. Утром, поздно уже было, входит наконец Ксения на кухню, лицо мятое, заспанное и некрасивое, а каждый день до этого оно всегда красивое было.

— Вот что, — говорит Ксения, и некрасивое лицо ее морщится, — решили мы с Алексеем Александровичем тебя домой отправить, в деревню. На поезд тебя посадим, денег дадим и провизию... Согласна?

— Согласна, — отвечает Мария.

Только сказал она "согласна", как и впрямь захотелось ей свою хату повидать, да хутор свой, где против их хаты цветник для сбора ягод, земляники и грибов. Дальше церковь и рядом клуб, а под бугром течет речка и водяная мельница на ней. Речка течет в другое село — Ком-Кузнецовское, и идет тамба в город Димитров, а через тамбу — заказ.

— Я и раньше, — говорит Мария, — стремилась домой попасть, только мы с Васей никак села своего найти не могли. Во многих селах были, а своего не нашли. И провожатый у нас был специально назначенный, — но больше про провожатого Гришу Мария распространяться не стала.

— Как же, — говорит Ксения, — разве ты не знаешь, село наше Димитриевского района.

— Что в город Димитров по тамбе можно дойти, знаю, а что это район — не знаю, — отвечает Мария. — Родители наши с нами никогда не занимались, им было не до нас.

У Ксении узнала Мария, что мать их зовут тоже Мария, а отца звали Николай, как брата.

— Однако меня пугает, — говорит Мария, — что брат Коля и сестра Шура будут упрекать меня, почему я оставила Васю в чужой стороне и недосмотрела за ним.

— Не виновата ты, — отвечает Ксения, — не ты виновница, что раскидало нас всех, и нашу судьбу.

Сказав это, она оглядывается на плотно закрытую кухонную дверь, и говорит шепотом:

— Вот возьми, и чтоб никто не знал, спрячь поглубже и береги, поскольку здесь деньги. Тебе я деньги особо дам и провизию по договору с Алексеем Александровичем, а это деньги лично от меня матери. Если же матери дома нет, то передай их Коле и Шуре, — протягивает она Марии пакет и го-

ворит. — Спрячь это себе в трико, но как будешь ходить по нужде — не потеряй.

Так и сделала Мария, и проводила ее Ксения на поезд прямо из кухни, так что Мария более в комнатах не побывала и с Алексеем Александровичем не попрощалась. С Ксенией же попрощалась душевно. И обнимала ее Ксения, и целовала, и плакала, и махала рукой, пока не исчезла из виду. И вместе с ней исчез и красивый город Воронеж.

Поехала Мария на собственном месте и собственных хлебах, причем меж ног ее резинкой прижат пакет с деньгами для матери от Ксении. Едет Мария и ни с кем не общается, чтоб деньги сберечь, и хлебом с колбасой не делится. Ежели б кто и попросил, поделилась бы, а самой от себя — не хотелось. Лучше Коле и Шуре остатки привезу, думает. У них там на хуторе голодно. Но у Марии никто хлеба не просил, и про деньги никто не догадался.

Приехала Мария в город Димитров, явилась среди знакомых мест, и от радости даже слезы потекли. Всюду по-разному, думает, Курск плохой город, Льгов получше, Изюм и Воронеж совсем хорошие, но как у себя дома — нигде. Пошла Мария по городу Димитрову и узнала дом, где мать их, тоже Мария, им соломки подстелила и оставила, пока на базар сходит за сушеными сливами, а в это время чужая тетка забрала брата Жорика. Вышла Мария за город, пошла по тамбе и узнала место, где чужак им хлеб подал, а мать чего-то испугалась, забрала этот хлеб и выбросила его в поле. И чем дальше идет, тем больше родного узнает. Вот он заказ, белый весь, блестит на солнце, ветви под снегом гнутся. Вот речка, и колеса водяной мельницы ко льду примерзли. Вот уже церковь видна на бугре. Ничего чужого не увидела Мария как тогда, когда искала свое село с Васей и провожатым Гришей, изнасило-

вавшим ее в сарае. Тогда только чужое видела, незнакомое, теперь же все свое. Вот оно, село Шагаро-Петровское, зимнее, заснеженное, красивое, из хат дым. А на улице народа уйма с флагами, все толпой идут. И слышит Мария такой разговор меж человеком, которого она смутно признает, но не до конца, и местным мужиком, которого она в лицо знает.

— Что это за праздник? — спрашивает человек.

— То, товарищ, не праздник, а партийные похороны, — отвечает мужик.

— Кого ж хоронят?

— Петра Семеновича, бригадира хоронят после убийства, — отвечает мужик.

— Кто ж убил?

— Мельник и убил, больше некому, — говорит мужик, — мельник и младший его сын Лешка, за старшего сыночка Митьку, которого Петро Семенович удавил... Да так убил, что лежали Петро Семенович не как мертвец, а как говядина или свинина на мясном прилавке в городе Димитрове в богатое время. Теперь мельника с сыном Лешкой к расстрелу судить будут, в Харьков повезли.

Слышит все это Мария, но кто тот, кто спрашивает, не признает. А Петра Семеновича вспоминает. И хоть жалеет его, но не плачет. И замечает, что все вокруг жалеют Петра Семеновича, но никто не плачет, а несут его молча в закрытом гробе. Мария мимо прошла, и вот уже хутор Луговой, забор санатория, цветник в снегу, против него хата родная. Ох как сердце забилося, как захотелось, чтобы открыла дверь мать Мария, обняла поплакала, как Ксения, когда провожала, а рядом с ней брат Вася, который кинул свое воровство и вернулся домой раньше...

Но дверь открыла сестра Шура.

— Ты откуда? — спрашивает.

— Я в городе Воронеже была, — отвечает Мария, — у сестры Ксении.

— А Вася где?

— А Вася, — говорит Мария, — в городе Изюме потерялся.

И случилось то, чего Мария больше всего боялась, упрекнула ее сестра Шура:

— Как же ты могла оставить Васю на чужбине? — говорит.

И молчит Мария, нечего ей ответить. Брат Коля тоже из хаты голос подал.

— Кто там?

— Это Мария вернулась, — говорит Шура, — а Вася в дороге отстал.

И Коля тоже упрекнул:

— Как же ты за Васей недосмотрела? Что ж мы будем в письме отвечать матери нашей, которая спрашивает про тебя и про Васю?

Мария как услышала про письмо матери, сразу свою обиду забыла.

— Где ж мать наша? — спрашивает.

— Мать наша, — отвечает Коля, — в городе Керчь... А ты почему у Ксении не осталась, что она, бедно живет, не прокормить ей тебя?

— Нет, — отвечает Мария, — Ксения живет не бедно, даже вам денег прислала, я же вернулась, поскольку по родной хате скучаю, — и после этих слов достает она из трико пакет и отдает его Шуре.

Взяла Шура пакет, и начали они с Колей деньги считать. Шура говорит:

— Ксения всегда устроится сытно и в богатстве, а тут пропадай... Она как в двадцать третьем году убежала в четырнадцать лет с фотографом проезжим, так и не была с тех пор дома... Она что ж, и теперь с фотографом живет?

— Нет, — отвечает Мария, — она живет с Алексеем

Александровичем, железнодорожным техником, а до этого работала в городе Льгове в доме отдыха... Мне мать о том рассказывала.

— Мать ее всегда больше других баловала, — говорит Шура, — и отец, пока был жив, ее любил, я помню... А ты, раз пришла, садись, я тебе борща налью.

И налила Марии борща холодного, то ли горького, то ли соленого, думая, что Мария и за это будет благодарна, поскольку перед отъездом и такого борща не ели, а как начали ходить Шура и Коля на колхозное поле, хоть какое-то питание появилось, но, конечно, лишнего не было.

В том Мария убедилась очень скоро, поскольку начала она жить опять впроголодь, а просить не у кого, здесь тебе не Воронеж и не Изюм, здесь, на родине, еще хуже подают, чем в Курске. Красивы родные места летом, красивы и зимой, только осенью и весной, когда дожди, плохо, а зимой, как и летом, хорошо...

Перешла Мария заснеженную тамбу, на которой колеи от машин и телег, по тропинке к заказу пошла. Валенки и платок, которые Ксения ей подарила, греют, и ватник, который тетка Софья, посудомойка, в Льгове подарила, идти приятно, дышится легко. В заказе птица вспорхнет, снег с еловых ветвей посыпется, и так хорошо станет, так приятно. Только голодно и тоскливо одной. Раньше тоже ни мать, ни отец, пока жив был, ею не занимались, ни Шура, ни Коля, но с Васей они всегда вдвоем были, Васю она, можно сказать, вместо матери воспитала, а он ей, пока малый был, радость доставлял. И стала Мария сама себя в мыслях упрекать, что недосмотрела за Васей. Может, в Андреевке надо было не к молодому дяденьке приставать, а в Изюм пробираться, Васю искать...

В такой тоске вышла Мария из заказа, и видит она — над белым полем солнце малиновое горит. И стала она на колени, чему ее никто не учил, повернулась лицом к малиновому солнцу, протянула руку, как делала она, когда просила хлеба и сказала:

— Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий!

И вспомнила Мария сказку доброго старика, ночного сторожа в конюшне города Изюма про то, как еврей-жиды убили Божьего Сына, и плакала Мария навзрыд, ибо не знала, кто поможет ей спасти Васю, поскольку хоть и жив Сын Божий, он теперь на небе, а Вася ее на земле, в городе Изюме...

Меж тем мимо по снежному полю шел человек и спросил Марию, как тогда на станции Андреевка спросил ее молодой дяденька:

— Девочка, — спросил он, — чего ты плачешь?

Ответила Мария:

— Я плачу оттого, что еврей-жиды убили Сына Божьего, и он теперь на небе, а Вася, брат мой, на земле, в городе Изюме, но помочь ему некому.

И сказал Дан из колена Данова, Аспид, Антихрист словами Господа, произнесенными через пророка Исайю, небесными словами, в которых смысл всего, которые он берег на самый конец, но идя мимо, вдруг понял, что пришло время употребить эти слова и позднее лишь многократно повторять их.

— Я открылся не вопрошавшим обо мне, — сказал Дан через Исайю слова Господа, — меня нашли не искавшие меня... Те же, кто ищет, — добавил Дан, помолчав, — не найдут... Я открылся тем, кого избрал сам, а не тем, кто избрали меня... Те же, кто избрали меня, пусть вспомнят слова Брата Моего, Иисуса из колена Иудина, о своих злых детях и чужих добрых псах... Не отнять псам у детей куска, хотя бы и у злых детей... Только через веру они свой кусок получить могут... Детям же и без прось-

бы их кусок подают... Так говорит Христос... Поскольку либо у тебя есть стая сильная, которая отнимает, либо есть Бог, который подает...

И сказав, пошел через поле в сторону заказа, и не стало его видно. И только не стало его видно, как Мария по памяти узнала чужака, два раза подавшего ей хлеб, и пожалела, что не попросила у него хлеба, поскольку бригадир Петро Семенович убитый, а мать в городе Керчь, и отнять хлеб было некому, можно было насытиться. Ведь неизвестно, даст ли поест Шура хотя бы горького холодного борща или постной каши. А воспоминания о сытой жизни на чужбине еще больше усиливали голод на родине. Нищего, который ходит не вокруг своего хутора, который по миру ходит, никакой едой не удивишь. Он от всего пробует — и от бедного, и от богатого. "Жалко, не попросила у него хлеба, — еще раз подумала Мария, — что он сказал мне, я не поняла, видно, совсем издалека этот человек, но хлеб его я бы поела".

Потемнело быстро. На Харьковщине зимой ночи морозные, а как высыпают звезды, и луна засверкает, еще холоднее становится.

Поторопилась Мария домой, встречает ее сестра Шура, говорит:

— Ложись, Мария, спать, поскольку утром вставать рано... Решили мы с Колей тебя к матери в Керчь отправить. Согласна?

— Согласна, — отвечает Мария, а сама думает: "По матери я сильно соскучилась, да может, и не так голодно будет".

Утром в темноте, еще при холодной луне собралась Мария, поцеловалась с Колей и Шурой и вышла из хаты. Вроде бы и грустно ей, и вроде бы не очень... Искала она свое, добивалась она родного и вот покидает без тоски, уезжает на чужбину в город

Керчь, к матери. Но к матери хорошо ехать, мать и пожалеет, мать и накормит чем может. Прощай, заказ, прощай, церковь на бугре, прощай, водяная мельница... Не видно больше села Шагаро-Петровского, как не видно его было и в городе Изюме, где ей было хорошо, и в городе Курске, где ей было плохо, и в городе Воронеже, где опять было хорошо возле Ксении. Пошла по тамбе Мария в обратном направлении, к городу Димитрову, на станцию. Деньги ей на билет Коля и Шура дали, а хлеба не дали, и на тамбе не выпросишь, поголодать придется до города Димитрова. У нищего какой закон — если голоден, запасись терпением. И верно, в городе Димитрове выпросила сухарей возле какого-то богатого дома. Поела Мария сухарей на станции и купила билет до Харькова, поскольку до Керчи не продавали. Поезд был теперь для Марии делом привычным, да и Харьков не удивителен, как в первый раз. В Харькове выпросила она еще хлеба у богатых пассажиров, купила билет и поехала в город Керчь, о котором думала, что он либо на Изюм, либо на Воронеж похож, поскольку мать ее, Мария, для жительства дурной город, подобный Курску, не выберет.

Едет Мария в город Керчь день, едет в город Керчь ночь, наутро просыпается, смотрит в окошко, а снега нет, солнце светит, и за полотном без краю и конца синеет поле.

— Это море, — объяснили ей, — вода в нем до самой Турции, чужого государства.

И видит Мария — земля в небо упирается.

— Это гора Митридат, — объяснили ей...

Совсем город Керчь не похож ни на Изюм, где хорошо подавали, ни на Курск, где плохо подавали, ни на Воронеж, где хорошо жилось около Ксении... "А как же здесь будет?" — думает Мария, слезая с

подножки вагона на теплую землю. Идет Мария и всему удивляется, почти как первый раз в Харькове, когда они с Васей бегали среди диковинных деревьев в кадках. Улицы не такие, как везде, каменистые и крутые, море издали, из вагона, тихое, чистое, большое, словно поле, а вблизи шумное, дымное, даже не большое, чуть побольше реки, другой берег виднеется с множеством домиков, которые не на земле стоят, а один на другом стоят. Как такое может быть, думает Мария, что за диковина. И спросила.

— Это не море, — говорят ей, — это бухта и порт. А море вон за углом.

Прошла Мария каменистой улицей, и верно — море без края и конца... Хоть и непривычный, думает Мария, город, но хороший город, мама удачно завербовалась.

Однако непривычным город Керчь был, пока Мария, согласно адресу, к окраине не вышла, где мать ее жила. В Керчи дома веселые, из белого камня, а на окраине, где мать жила, — дома сердитые, закопченные, из красного кирпича, словно в Воронеже у железной дороги. Вошла она в один из корпусов и спросила, где Коробко Мария живет. Ей объяснили. Не потому, что все знали мать, а потому, что случайно была там женщина, которая ее знала. Подходит Мария к дверям, стучит, и ей голос матери отвечает. Как услышала она голос матери, руки и ноги у нее задрожали, слезы сами собой из глаз брызнули и вбежала она с криком: "Мамочка!". А мать в тот момент сидела на своей койке и мужскую рубаху-гимнастерку латала. Увидела она дочь свою Марию, побледнела лицом и говорит трем другим женщинам, которые тоже на своих койках сидели и личным делом занимались:

— Это дочь моя, Мария...

И заплакала мать еще громче, чем Мария, и плакали они так, что все три женщины, тоже утиравшие слезы, не могли их успокоить. Но когда успокоили, мать говорит:

— Будешь жить возле меня... Вон в котелке вчерашняя каша, поешь...

Одну женщину звали Ольга, другую Клавдия, а третью — Матвеевна. И каждая из них что-нибудь да дала Марии... Кто хлеба, кто леденец, а Матвеевна — два яблочка.

— Бери, — говорит, — здесь Крым, здесь фрукты главное питание.

Потом все три женщины куда-то пошли.

— Пойдемте, — говорит Матвеевна, — бабы, погуляем... Пусть мать с дочерью поговорит.

Начала Мария матери свою жизнь рассказывать, обо всем рассказала, но про насилие, которое сотворил над ней Гриша в сарае, — утаила, и про то, как муж Ксении Алексей Александрович застал у Ксении среди ночи человека в кальсонах, — тоже утаила. И упрекнула мать Марию:

— Как же ты могла оставить Васю на чужбине?

— Я знаю, — отвечает Мария с печалью, — что виновата. Недосмотрела за ним.

— Но хоть Ксения, старшая моя дочь, своего добила, — говорит мать, — и то радостно... Ксению я родила еще когда хлеба вдоволь было и сала вдоволь, как сядем обедать — фунт сала съедали за раз... Была я молодая, сытая, и отец твой Коля был еще молодой, красивый, а Шуру и Колю я хоть и рожала еще при сытой жизни, растила их уже при голодной... Но тебя и Васю, и особенно Жорика я уже совсем от голода родила...

Тут в дверь стучат, и заходит в дверь мужчина пожилого возраста.

— Ты, — говорит, — гимнастерку мою залатала?

— Залатала, — отвечает мать, — а вот радость у меня, Савелий, неожиданная... Дочь моя приехала, Мария...

— И хорошо, — говорит Савелий, — дети возле матери должны находиться, пока малые...

Начала Мария при матери жить и привыкла к такой жизни, и привыкла к городу Керчи. Ох и красивый же город Керчь, вряд ли после него где-либо жить захочется. Хоть до смерти живи в таком городе, не затоскуешь. Народ вокруг хороший, жалели Марию. Дядька Савелий хорош, и Матвеевна хороша, и тетка Клавдия добрая, только тетка Ольга чуть неприятная. Мать Ольгу тоже не любила. Слышала как-то Мария, сказала мать Матвеевне:

— Ольга недовольная, что дочь ко мне приехала. Говорит, у нее тоже три сына в селе, так что ж, она их должна сюда брать... Тесно здесь...

— Ничего, — отвечает Матвеевна, — не Ольга здесь хозяин, а общество... Пусть поживет Мария... Только с осени будущей надо ее школьным образованием охватить, а то живет она как при старом режиме... Разве за это боролась большевистская революция и покойник Ленин?

— Да она у меня три класса окончила, — робко отвечает мать.

— Мало это, — говорит Матвеевна, — я вот, и ты вот малограмотные... Чего мы добились — землю копаем... А дети наши должны в доктора и инженеры выйти...

— Одна дочь у меня, Ксения, богато живет в Воронеже, — похвасталась мать. — Красавица, как я в молодые годы... Муж у нее железнодорожный техник. Мария у нее гостила, так она кормила ее сытно и платок подарила, и валенки, и ватник.

— Ватник мне не Ксения подарила, мне ватник

тетка Софья подарила, в городе Льгове, — сказала Мария.

— А ты не перебивай, когда старшие говорят, — сердито сказала мать, — она ведь у меня, Матвеевна, балованная... Поехала она вместе с братом Васей, сыночком моим младшим, так не усмотрела за ним, затерялся он в дороге.

— Младший не Вася, а Жорик, — говорит Мария, — которого чужая тетка забрала в городе Димитрове, когда ты нас оставила, чтоб на ярмарку пойти, платок продать и сушеных слив купить.

— Вот отправлю я тебя завтра в село, — говорит сердито мать, — поездила ты, вижу, баловства набралась...

И Матвеевна мать поддержала.

— Ты родительницу не серди, она ради тебя трудится.

Тут начала Мария перед матерью извиняться за грубости, и мать простила ее, и Матвеевна простила ее.

Был этот разговор где-то на третий месяц жизни Марии при матери, и впервые мать на нее сердилась. Чтоб упрекать Васей, то и раньше упрекала, но сердилась впервые. На следующее утро, как мать на Марию сердилась и после простила, отправилась Мария в город Еникале, который также рядом с Керчью, как Димитров рядом с селом Шагаро-Петровским. А надо заметить, что Мария к тому времени уже частенько похаживала в город Еникале просить, ибо хоть и при матери жила, но было голодно. В Керчи Мария боялась, вдруг Матвеевна увидит, в Еникале же Марию никто не знал. Выбирала дома побогаче, где евреи, греки или татары живут, и просила, и ей подавали. Шла она берегом по мокрому песочку, вдыхала морской ветер и радовалась, и силы в ней были, поскольку даже и у тифозного возле

моря лицо здоровое. К тому времени научилась Мария купаться в море не хуже, чем в реке. Было у нее место на дороге между Керчью и Еникале. Песок там, где море не достает, мягкий и теплый, а где достает море, твердый и прохладный, вода чистая, каждый камешек на дне видно, подалее — две скалы торчат, а еще дальше гора Митридат виднеется. Решила Мария искупаться в тот день, поскольку была уже весна, а весной здесь солнце печет, как на Харьковщине летом. Оглянулась Мария — никого, сняла с себя платье, а трусов она не носила, поскольку тепло, побежала в воду и вдруг заметила, что груди у нее хоть и не такие, как у Ксении, но уже не бугорки, и сосок торчит, а не лежит прыщиком. И ноги с животом покрепче соединились, красиво, так что самой ладонью погладить хочется, и не стыдно на это при свете смотреть... Но не видела Мария, что на нее действительно смотрел грек, бывший владелец кофейни в городе Еникале, а ныне работник общепита. Грек этот любил после завтрака ходить с морским биноклем вдоль берега, вдруг бесплатно увидит голую женщину. И увидел грек Марию и захотел ее. Как кончила Мария купаться, одела платье, свежая вся, чистая, пахнувшая морской водой, подошел к ней грек и спрашивает:

— Девочка, куда ты идешь?

— Я иду в Еникале, — говорит Мария, — просить хлеба.

— Как не стыдно, — говорит грек, — такая красивая девочка... Ай, не хорошо... Пойдем, я тебе дам жареного мяса, хочешь мяса?

Смотрит Мария, мужчина не русский, красивый и богатый и захотелось ей поесть у него жареного мяса. Приходит она к нему в дом в городе Еникале. Все в коврах и не по-русски приятно пахнет сладким. Внесла какая-то старуха блюдо горячего жарен-

ного мяса, красным порошком посыпанного. Укусила Мария кусок и ожгло ей горло, а грек смеется.

— Это греческий перец... Это сухой огонь...

Поела Мария много мяса и опьянела она так, что грек велел старухе унести бутылку сладкого вина, которое оказалось лишним. И легла Мария на мягкий ковер, и грек лег рядом. И добилась своего Мария, выпросила то, что имела Ксения, взяла от грека то, что брала Ксения от любовника и от мужа и что взял от Марии в темном сарае Гриша-проводник. И услышала Мария свой голос, поющий, изливающийся в радостных столах, вцепилась она в грека, мужчину сытого, красивого, не русского и пользовалась его силой в свое удовольствие весь день и весь вечер, и всю ночь.

— Как истомлено должно быть сердце твое, — говорит Господь через пророка Иезекииля, — когда ты все это делала, как необузданная блудница.

С младенчества испытала на себе Мария вторую казнь Господню — голод, но вкусно утоленный голод пьянит, возбуждает, разжигает тело, и вместо второй казни идет третья казнь Господня — дикий зверь — похоть, прелюбодеяние.

Не отпускала Мария от себя грека до утра, не отпустила бы и дольше, но грек сказал:

— У нас мужчина должен насиловать женщину, а не женщина насиловать мужчину... Ты глупая девочка, поела много моего мяса и хочешь насиловать меня, греческого мужчину...

И выгнал Марию грек, даже не покормив ее на прощание. Пошла Мария назад в город Керчь в тоске и голоде, поскольку сытость от жареного мяса она потратила на то, что делала с греком до утра. Приходит Мария в рабочую казарму — общежитие из красного кирпича, где жила она с матерью, и страшится встречи и думает случившееся утаить по-

ловче, как утаила она от матери и насилие над ней Гриши в сарае, и мужчину в кальсонах, которого у Ксении застал муж. Однако то утаить легче, что произошло, когда Марии было одиноко на чужбине, а сейчас она при матери. Приходит с такими мыслями Мария в казарму, поднимается по железной лестнице, и встречает ее в коридоре Матвеевна заплаканная, говорит:

— Где ты была? Мы тебя искали, поскольку мать твоя попала под поезд, и ты теперь сирота.

Сначала не поняла Мария, о чем говорит Матвеевна. Когда же поняла, села Мария на пол в коридоре возле своей двери и сидит. Мать ее лежала меж тем в сосновом гробе, который установлен был на обеденном казенном столе меж четырех казенных коек. И вокруг народа множество с ней прощалось, главным образом, женщины, но были и мужчины, друзья Савелия, который и сколотил сосновый гроб.

— Ты почему сидишь здесь? — сердито говорит Марии тетка Ольга и в платочек сморкается, глаза утирает. — Почему с матерью прощаться не идешь?

Но Мария без ответа сидела на полу в коридоре у двери, и не было у нее ответа ни для кого. Только приоткроет немного дверь из коридора, щелочку, и видит самый конец, макушку неподвижной головы матери в белом платочке Матвеевны. Посмотрит так минуту-другую и закроет. Долго прошло, может, час прошел, пока она щелочку расширила, чуть сильнее дверь приоткрыла и видит белый лоб матери под платком Матвеевны. Закрыла опять Мария и сидела так без ответа еще долго, потом приоткрыла дверь больше и видит: свеча у матери горит в сложенных на груди руках. Опять закрыла Мария, и как ее ни упрашивали тетка Матвеевна и дядька Савелий войти попрощаться с матерью, не пошла, оста-

лась в коридоре. И еще три-четыре раза открывала Мария дверь, все шире и шире с каждым разом, пока не увидела мать свою, лежащую во гробе в белом платочке Матвеевны со свечой в руках, в черном своем платье суконном, которое одевала по праздникам еще дома, на хуторе Луговой... Вспомнила Мария, что когда шли через заказ в деревню Поповку к бабушке и дедушке на Пасху, и отец еще когда живой был, и Вася дома был, но малый, как Жорик, а Жорик еще не родился, была одета мать в это черное суконное платье... Только увидела Мария мать всю целиком, привыкла она, распахнула дверь настежь и вошла в комнату прощаться. Ноги у матери во гробе были босые и белые, как лицо и руки. И пришло множество детей, которые жили в общезитии при родителях, даже из других корпусов, и всем им раздавала тетка Матвеевна яблоки, пряники и маленькие крымские орешки фундук.

Так не стало у Марии матери, и что с Марией делать дальше, никто не знал. Хоть и хороший вокруг народ, но чужой, и Мария им чужая.

— Надо ее к сестрам-братьям отправить, — говорит дядька Савелий, — хочешь к сестрам-братьям? — спрашивает он Марию.

— Нет, — говорит Мария, — Шуре и Коле, которые на хуторе, самим голодно, а у Ксении, которая в Воронеже, муж меня невлюбил, Алексей Александрович, железнодорожный техник.

— Тогда в детдом, — говорит Матвеевна, — здесь в Керчи хороший детдом.

Заплакала Мария.

— Я, — говорит, — детдом больше всего в своей жизни боюсь.

— А чего ж ты хочешь? — говорит Матвеевна, — возраст твой такой, что никак нельзя тебе без присмотра, поскольку ты на дурную дорожку собьешь-

ся и займешься либо воровством, либо проституцией, а может и тем и другим вместе.

Отвечает Мария:

— Я сроду у людей не воровала, а только лишь просила у людей. Васю, брата моего, я от воровства не уберегла и за это я, верно, виновата. Но что такое проституция, даже и не знаю.

Дядька Савелий смеется и говорит:

— Это когда женщина гулящая делает за деньги то, что женщина законная делает бесплатно.

— Фу, бесстыжий, — говорит Матвеевна. — При девочке такое говорить.

Однако Мария поняла, о чем речь, она теперь в таких вещах понятливая была и подумала: "Значит то, что Ксения с Алексеем Александровичем делала, это одно, а то, что я с греком делала, — это другое... То разрешено, а это к воровству приравнивается, это утаивать надо особенно сильно".

И вышла она из комнаты в страхе, что догадаются про грека из города Еникале, и вышла в тоске: как избежать ей детского дома в городе Керчи. Но жить решила в Керчи, поскольку Керчь — город хороший, теплый и при море, о котором перед приездом своим сюда, Мария представления не имела. Она до того, как в первый раз с матерью и Васей из города Димитрова выехала, даже и что такое поезд, не знала, хоть что такое паровоз, знала. И что такое пароход, она теперь знала, и что такое шаланда, и многое другое, поскольку ходила в порт просить. Несколько раз она делала с матросами то, что следовало утаивать особенно сильно и что приравнивалось к воровству, но потом ее побилла какая-то женщина гораздо сильнее, чем в Курске, и Мария перестала ходить в порт. Да и матросы все это делали впопыхах, на твердых скамейках или на полу, и Марии ни разу не удавалось больше использовать их

мужскую силу в свое удовольствие, как использовала она силу грека. Платили же ей не жареным мясом, а хлебом или сухой рыбой, которые можно было выпросить и без таких дел, что приравнялись к воровству. Когда же Марию в порту побилa женщина, то и вовсе заниматься таким делом расхотелось, но желание осталось хоть еще раз испытать и застонать от испытанного напевно, как стонала сестра Ксения от мужа и любовника, и как стонала она от грека, который почему-то под утро рассердился и остался ею недоволен.

В общежитие, где жила до смерти ее мать, Мария не ходила, боялась, что Матвеевна поймает и отведет в детдом. Ночевала Мария, где придется, поскольку весна в городе Керчи теплая, а при дожде всегда можно найти навес.

Раз в теплую ночь решила она заночевать на берегу моря под навесом, поскольку иногда со звездного неба брызгал ночной короткий дождь, минутую другую пошумит под навесом и перестанет, потом опять минут пять-десять пошумит. Луна над морем ничем и близко не напоминала харьковскую, постную, голодную и вялую, которая если и блестит, то как в тифозной лихорадке, и которая может нравиться только от отсутствия другой, и которая, если и играет, то лишь в сравнении с Курской, вовсе тощей и строгой. Морская луна по жирности не уступает полтавской, но размерами в несколько раз превосходит ее. И полтавская, как впрочем и харьковская, и курская луна то над полем, то над лесом-заказом прочно висит, а морская луна словно все время в падении находится. Вот-вот плеск услышишь от ее падения в море. Но не падает, и от этого ожидания, что вот-вот упадет, сердце волнуется.

В ту ночь пребывала Мария в таком сердечном волнении, может, оттого, что накануне плохо пода-

вали, и была она голодна, а может, оттого, что дождь шумел сегодня как-то по-особому, словно поговорит по навесу и замолчит, подумает, потом опять поговорит. И небо было все в больших южных звездах, луна же так неустойчиво находилась на небе и так велика была, что, казалось, приблизилась вплотную, и закрой глаза, услышишь плеск, а открой — не будет больше луны на небе. В таком состоянии находилась Мария, и спать ей не хотелось. Вдруг слышит она, идет кто-то вдоль самой кромки моря, и мокрые морские камушки у него под ногами шуршат. Посмотрела она — мужчина идет. Пойду, думает Мария, попрошу у него хлеба, а если так не даст, может лягу с ним под навесом, и за это он даст хлеба или сушеной рыбы. Подошла Мария к мужчине и узнала в нем чужака с ее родной Харьковщины, но здесь, в городе Керчи, где она была после смерти матери в полном одиночестве, он ей чужаком не показался. И сказала Мария, протянув руку для подаяния:

— Господи! Иисусе Христе! Сыне Божий!

И ответил ей Дан из колена Данова, Аспид, Антихрист:

— Не меня ты зовешь, но Брата моего из колена Иудина. Я же Дан из колена Данова, Антихрист, Сын Божий, посланный для проклятия, которое произнес впервые на горе Гевал. Для благословения же, впервые произнесенного на горе Геризим, еще не время, и потому не ответит тебе Брат Мой Иисус из колена Иудина...

Не поняла ничего Мария из сказанного, поскольку не имела разума, и не было в этих словах Дана, Антихриста того, что без разума можно понять. И заплакала Мария. Тогда спросил Дан, Аспид, Антихрист:

— Чего ты плачешь?

— Отец у меня умер давно, — сказала Мария, а мать недавно. И старшие братья и сестры отказались от меня, младшего же брата, Васю, я потеряла в городе Изюме, и некому теперь присматривать за мной и не за кем теперь мне присматривать... Одинокая я...

Ответил Дан:

— Жалей мать, плачь по ней, но не будет тебе от этого плача облегчения. Она умерла не от человеческого, ибо Господь и бедного судит и не потворствует в тяжбе бедному... И чудовища подают сосцы и кормят детеньшей своих, а дочь народа стала жестока подобно страусам в пустыне. Язык грудного младенца прилипает к гортани от жажды, и дети просят хлеба, и никто не подает им.

Так сказал Дан, Аспид, Антихрист через пророка Иеремию, и вынул он из пастушьей сумки нечистый хлеб изгнания, завещанный пророком Иезекиилем, протянул его Марии. Никто, наконец, не отнял у Марии этот хлеб, о котором сказал Господь:

— И ешь как ячменные лепешки, и пеки при глазах их на человеческом кале... — И сказал Господь: — Так сыны Израилевы будут есть нечистый хлеб свой среди тех народов, к которым Я изгоню их.

Но упросил пророк Иезекииль Господа печь нечистый хлеб изгнания не на человеческом кале, а на коровьем помете.

И приобщилась Мария, нищая девочка, через этот кусок нечистого хлеба изгнания к Божьему помыслу, и все, кто знали и развращали ее даже по Божьему велению, стали Господу отвратны, и все, кто ей помогали, даже и не от Бога, а от себя, стали Господу приятны. Через нечистый хлеб изгнания приобщилась Мария к народу чужому, как Фамарь к Иуде и Руфь Моавитянка к Воозу из Вифлеема, города иудейского. И не избирала Мария, но была избрана. А Дан, Аспид, Антихрист приобщился к

Марии через третью казнь Господню, единственную из четырех казней, от которых на земных путях он не был защищен.

И лежали они под навесом, во тьме шумело море и дождь иногда что-то пошепчет минуту-другую — и замолчит, а Мария на все звуки, с разных сторон к ней доходящие, отвечала лишь радостным, напевным стоном. Но вдруг услышала она плеск, точно тяжесть непосильная обрушилась в море. Смотрит Мария снизу, из-за костлявого плеча Дана, Антихриста, смотрит — нет на небе луны. Тихо сразу стало, море замолкло, и дождь замолчал, точно задумались оба, и Мария, свернувшись калачиком, как спит под утренний холодок все бездомное, уснула, заботливо согревая чуждое славянской утробе своей, свежее еще семя шестого сына Иакова. А Дан, Антихрист, встав от спящей девочки, пошел дальше вдоль берега моря.

Отсюда недалеко было до родных мест, и Дан чувствовал это, и сердце его стучало, как у блудного сына перед отцовским порогом. Он шел по Эллинской земле, Пантикапее, где еще до рождения Брата его, Иисуса, эллины построили у горы Митридат свои селения. А где Эллинское, там уже и свое чувствуется, ибо эллины были народу Данову соседи враждебные, но не чуждые, в то время как есть народы чуждые, но не враждебные, и есть народы и чуждые, и враждебные... Ибо как нет равных людей, но каждый для себя хорош, так и нет равных народов, и народы зависят от судеб своих, как и люди. И есть народы, которым приятно друг с другом, как и людям, а есть народы, которым друг с другом неприятно, хоть и сведены они друг с другом, как это и с людьми случается, судьбой...

Утро еще не наступило, но работа утренних сил шла в полной мере, когда Дан из колена Данова,

Аспид, Антихрист остановился передохнуть неподалеку от города Еникале. Это было то самое место, где купалась Мария, впервые любясь своим налитым женскими соками телом. Место действительно было превосходно, прозрачное утреннее море придавало блеск драгоценностей видневшимся подводным камням на отмелях, но застывшая сила скал, встающих из вод, напоминала тем, кто обманчиво залюбовался ласковым плеском утреннего штиля, что в морской красоте, как во всякой безграничной красоте, преобладает жестокость, а любоваться жестокостью можно лишь в моменты упадка души. Красота моря античеловечна, как и красота космоса. Духовное величие для человека не в море и скалах, не во вселенском мире, а в поле, траве, речушке, небе земном... Библия рождалась рядом с морем, но почти все ее действия происходят в стороне от моря, среди долин, рек, на пастбищах, в глубинных, а не приморских городах. И случайно ли, что уделы главных колен сыновей Иакова, разыгравших между собой основные библейские страсти, были в стороне от морского берега... Господь явился Аврааму на холме, и Моисею в терновом кустарнике, а беседовал Моисей с Господом на горе Синай в пустыне, и Иакову Ангел явился в терновом кустарнике... Рядом с морем человек живет, морем он живет, морем любит, а научить оно может лишь сильному, но жестокому, красивому, но злому, величественному, но лишенному сердца... Недаром из всех колен Израилевых колено Дана, которому суждено было родить Антихриста, имело удел свой у моря. От Хетлона, ведущего в Емаф, Гацар-Енон, от востока до моря удел Дана, созданного для проклятия людских дел. А через пять уделов — удел Иуды, из которого выйдет Христос, посланный для благословения. Лишь от беды пришел

к морю Иисус из колена Иудина, для чудес пришел, для хождения по воде, как по суху, но в пустыне была душа его, у реки Иордан была душа его, в Святом Городе была душа его...

И Брата Его Дана из колена Данова, Антихриста, удел которого был возле моря, море не успокоило. Ибо без разума можно лишь радоваться у моря, разум же берет от моря беду.

Посмотрел Дан, Антихрист на гору Митридат и видит из-за развалин средневековой гегуэзской крепости солнце поднимается узким острым лучом и рассекает этот луч тучи, словно меч, и тучи от этого кровью пропитаны, так что надави на них, и потекут они кровавым дождем в море, пока не истощатся и превратятся в невесомые облачка... И унесет эти облачка даже слабый ветер. Видит Дан: избыток крови с меча в море капает, и на волнах кровавые утренние полосы. И сказал Дан, Аспид, Антихрист в себе через пророка Иеремию:

— Утроба моя, утроба! Скорблю в глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани... — И опять произнес он через пророка Иеремию:

— Они солгали на господу и сказали: Нет Его и беда не придет на нас и мы не увидим ни меча, ни голода. — И сказал Дан, Антихрист, еврейский ребенок, возмужавший за земные пути свои и ставший юношей:

— Уже несколько лет казнит их вторая казнь Господня — голод, всегда беззащитны они перед третьей казнью — зверем-прелюбодеянием, мучает их четвертая казнь — болезнь, но вот опять возвращается к ним первая казнь Господа — меч, и она ведет за собой все казни вместе... Ибо так сказал Гос-

подь: вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю.

Сказав, отправился далее Дан, Антихрист исполнять предначертанное Господом проклятье. Путь ему был указан в город Ржев, в другой совершенно удел, к иным людским судьбам. И хоть предначертано было явиться в город Ржев спустя шесть лет, к 1940 году от Рождества Брата его Иисуса из колена Иуды, быстро исчез он из этих мест, и как ни искала его Мария, не могла найти.

Уже осужденная за проституцию и бродяжничество, родила Мария в тюремной больнице сыночка от Дана, Антихриста. Думали, что согласно медицине не выживет мальчик, поскольку мать была несовершеннолетней и истощенной, однако выжил, и нарекла его Мария Васей по потерянному брату своему. Был этот младенец Вася не в меру черноглаз, и антиславянский носик его почти касался верхней губки, когда мальчик улыбался матери. Когда же вкладывала ему Мария в жадный ротик сосок груди своей, отдавала все соки тела, с трудом полученные от скудной тюремной похлебки, то стояла она радостно, напевно, и тюремный врач говорил:

— Это что-то нездоровое... Уж не больна ли она скрытым сифилисом.

— А пацана своего она или от жида, или от грузина-армянина нагуляла, — говорила тюремная санитарка, которая невзлюбила Марию за еврейского младенца Васю...

Отняли у Марии черноглазого Васю и отдали его в приют. После этого не захотела больше жить Мария, умерла пятнадцати лет от роду в тюремной больнице 23 февраля 1936 года и похоронена была без гроба. В тот же день снята она была с тюремного довольствия, дело ее было закрыто и сдано в архив.

II



B.R.
85

Жизнь повторяет жизнь, судьба подражает судьбе, как день повторяет день, а ночь подражает ночи... Что есть бытие, как не повторение и подражание... День сменяет ночь, а ночь сменяет день. Весна подражает весне, осень — осени, и основой всякого подражания, а значит, бытия, есть рациональный порядок. Это Божий классицизм. Судьба Исаака подражает судьбе Авраама, а судьба Иакова — судьбе Исаака. Все самое высокое, живущее Божьим разумом, и все самое земное, живущее Божьим инстинктом, повторяет друг друга и живет подражанием. Классицизм есть подражание Господу через разум, либо миру Господнему — через инстинкт. Пророк подражает Господу, народ — миру Господнему. Но чем дальше развитие цивилизации, тем больше новаторства и меньше классицизма. Первоначально является догма. Классицизм умирает, замученный своими выродившимися почитателями. Новатор, которому не под силу бороться с живым классицизмом, бросается на труп и торжествует победу... И вот тогда, по предсказанию пророка Иеремии, сокрушив ярмо деревянное, заменяют его ярмом железным. Тогда является пророк-новатор, желающий жить инстинктом, и народ-новатор, желающий жить разумом. Пророк-новатор, желающий жить инстинктом, порождает идеалистический материализм, эклектичную социальную утопию и материалистический идеализм — мистицизм; народ-новатор, желающий жить разумом, порождает человека-божество и идолопоклонство, и в лучшие свои моменты человек становится атеистом, а в худшие — идоло-

поклонником... Каждый стремится создать свое и сказать неповторимое. Но патриархи начинали угодное не себе, а Богу, и пророки говорили не свое, а Божье... Маленький пастуший народ был также дурен, как и все иные большие и малые народы, близкие к нему в пространстве и времени и удаленные от него в пространстве и времени. Он отличался от всех иных лишь своими патриархами и своими пророками, и ради патриархов и пророков избрал его Господь. И сказал пророк Иеремия:

— Пути твои и деяния причинили тебе это. От несчастья твоего тебе так горько, что доходит до сердца.

И сказал пророк Исайя:

— Беззаконие наше как ветер уносит нас...

Однако люди слишком уповают на новаторство и надеются на несхожесть своих судеб. И тогда подражание, от которого они уклоняются в зависящем от них счастье, приходит к ним в независящей от них беде.

ПРИТЧА О МУКАХ НЕЧЕСТИВЦЕВ

В городе Ржеве Калининской области в 1940 году жила девочка по имени Аннушка. И мать у нее тоже была Аннушка. И фамилию свою эта девочка знала — Емельянова. Был у нее брат по имени Иван, которого все почему-то звали Митя, а почему — неизвестно. И был еще маленький братик Вова двух лет от роду. Но отца у Аннушки не было, его убили в финскую войну, поскольку Ржев — город северный, а с севера многих взяли на финскую войну. Родилась Аннушка в этой же области, но не в Ржевском, а в Зубцовском районе, деревня Нефедово. Аннушка помнит, как жила она в деревне Нефедово и раненько утром, когда летом деревенское солнце ласково грело, любила в одной рубашке, сонная, вылезти из постели, выйти под избой на землю и досыпать так. Однако теперь адрес у Аннушки был: город Ржев, третий участок, третий барак, комната номер девять. По такому адресу под избой не посидишь на утреннем солнышке. Барак был совсем не схож с избой. Пахло от него дурно, не крепкой древесиной, а штукатуркой и трухлявыми досками, земля перед баракom была не мягкая, сухая, колючая, лужи на ней долго не просыхали и в этих лужах мокли обрывки газет, битый кирпич и маслянистое

тряпье. А от аэродрома, где мать Аннушки, тоже Аннушка, работала на строительстве, все время гудело и шумело, будто сразу двигалось много тракторов. Но Аннушка знала уже давно, что это гудят самолеты, только воображала для себя иногда по-прежнему, как в первые дни думала, что это гудят трактора. Брата Аннушки Ивана-Митю мать уводила в детсад, а брата Вову оставляла под Аннушкин присмотр и от этого Аннушка Вову невзлюбила.

Изба в деревне Нефедово получше барака в городе Ржеве, но город Ржев повеселее деревни Нефедово. Летом цирк приезжает на базарную площадь, возле которого и без билета весело, а зимой Аннушка обычно носила красные фетровые валенки, купленные в городском магазине. Однако событие, после которого Аннушка стала мечена судьбой, случилось не зимой, когда Аннушка носила свои любимые фетровые валенки красного цвета, а летом, когда на базарную площадь приехал цирк. Дни были душные и жаркие, так что даже непросыхающие лужи перед бараками высохли, лишь кое-где осталось от них немного липкой грязи. И несмотря на то, что в бараке было много щелей, откуда зимой дуло, и которые зимой затыкали тряпьем, а ныне тряпье мать вытащила, несмотря на это в бараке было очень душно, и Вова все время плакал, кусал Аннушку и не хотел есть манную кашу, выплевывал ее изо рта себе на ножки. Аннушка, которая знала, что на базарную площадь приехал цирк и там играет музыка, злилась на Вову, из-за которого ей приходилось сидеть в душном бараке, и когда Вова укусил Аннушку особенно сильно, она его ущипнула. Он заплакал еще громче, так что в дверь их комнаты номер девять заглянула тетя Шура из комнаты номер двенадцать. Она принесла миску теплой воды, вымыла Вове личико, ручки и ножки, измазан-

ные кашей, он перестал плакать и уснул. Потом тетя Шура ушла, и Аннушка осталась опять одна в душном бараке со спящим Вовой. Тогда она решила, пока Вова спит, сбегать на базарную площадь, где был цирк. Здесь было очень красиво и весело, Аннушка всюду ходила, на все смотрела и смеялась, хоть ее никто не смешил, и в конце концов какая-то женщина в белой шляпке-панамке сказала ей:

— Девочка, чего ты смеешься? Смех без причины — признак дурачины.

Аннушка смеялась оттого, что здесь перед цирком в нарядной толпе, слушавшей музыку, было лучше, чем в душном бараке рядом с Вовой, однако она не стала объяснять причину смеха женщине, просто отошла и продолжала смеяться. Вдруг потемнело, начал накрапывать дождь. Все заторопились, говорят: "Гроза, гроза... Посмотрите, какая туча..." И верно, отсюда, с базарной площади, видно было, как ползет туча, и неподвижные деревья задрожали, захлопал тревожно парусиновый купол цирка-шапито, и перестала играть музыка. Тогда Аннушка побежала домой. Не успела она пробежать и несколько улиц, как начался сильный дождь, от неба к земле заблестали молнии, и вдоль неба грохнуло раз, и другой, и третий, но привыкнуть к этому нельзя было, и всякий раз Аннушка пугалась заново. В первую минуту Аннушка промокла так, что платье ее прилипло к телу, от бега дышать было тяжело, но она не могла вбежать в подъезд или стать под балкон, где толпилось много мокрых веселых людей, ей надо было бежать к себе в барак, на окраину города, где Вова был один, и поскольку он даже хлопанья двери пугался (мать запрещала поэтому Аннушке и Мите хлопать дверьми), то теперь и подавно перепугался.

У бараков, там, где еще недавно высохли от жары все лужи, теперь вода не стояла неподвижно, но текла быстро, как в реке, и была Аннушке выше щиколотки, а кое-где доходила и к коленям. Отсыревшую дверь скособочило, и когда Аннушка открыла ее с трудом ключом, вытащенным из-под половицы, то вода хлынула из Аннушкиной комнаты в коридор... Аннушка испугалась и закричала:

— Вова...

Но Вовы в кровати не было. Аннушка бегала по комнате, хлюпая по воде, плакала и звала Вову. Потом она увидела открытое окно и решила, что Вова вылез на улицу, крикнула в окно:

— Вова, Вова..., — так как боялась наказания матери за то, что Вова вылез в окно.

Потом она заглянула под кровать, и Вова лежал там личиком вниз. Аннушка поняла, что Вова упал с кровати на пол и закатился под кровать. Вова был мокрый, холодный, и личико у него было такое, будто он плакал, но без звуков, и как его Аннушка ни клала, он так и лежал. Тогда Аннушка поняла, что Вова мертвенький. Когда Аннушка поняла это, она очень испугалась. Ей не жаль было Вову, которого она не любила, однако ей было страшно, что мать вернется с работы и очень сильно накажет ее за Вову. От этих мыслей Аннушка просто впала в отчаяние, и ей тоже захотелось стать мертвенькой, как Вова, чтоб ее не наказала мать и не кричала на нее. Но как умереть, Аннушка не знала и потому просто сидела, охватив голову руками, и тихо плакала, чтоб никто из соседей не зашел в комнату и не узнал, что Вова умер из-за Аннушки.

Когда к вечеру вернулась с работы мать и привела с собой из детсада Митю, то первым делом она увидела Аннушку, сидевшую на полу с закрытыми

глазами и зажатыми ладошками ушами, чтоб ничего не видеть и не слышать.

— Что с тобой, доченька? — испуганно крикнула мать и тут же увидела мертвенького Вову на кровати.

Она крикнула, как никогда не кричала, и стала непохожа на себя ни голосом, ни видом. Мигом сбежались соседи, кто-то побежал к коменданту звонить в скорую помощь, кто-то пробовал делать Вове искусственное дыхание за ручки и за ножки, а кто-то сказал:

— Бесполезно, он уже мертвый.

Митя, брат Аннушки, смотрел на все это исподлобья и не плакал, поскольку он был мальчик спокойный и рассудительный... Но мать, которую Аннушка боялась и в обычной злости, теперь, когда она была непохожа на себя ни голосом, ни лицом, стала для Аннушки страшной любого лесного зверя. Она бросилась к Аннушке и страшно крикнула, ударила ее не ладонью, а кулаком, как никогда раньше не била... Когда мать или отец бьют даже в злости, они всегда думают о том, как ребенку больно, и удар их хоть и болезненный, но не безразличный телу ребенка. Теперь же мать ударила Аннушку безразлично к Аннушкиному телу, как бьют врага, и у Аннушки потемнело в глазах... Так бьют детей своих лишь в сильном горе и сильном злодействе, ибо горе и злодейство суть разные растения единого корня... Она хотела ударить еще, но ее удержали.

Тетя Шура увела Аннушку и Митю к себе, дала им по ириске и приложила ко лбу Аннушки примочку. Ночевала Аннушка у тети Шуры. На другой день Вову хоронили. Привезли откуда-то детский гробик, положили Вове на глаза пятаки. Аннушка хотела пойти на кладбище, но тетя Шура ее не пусти-

ла, и Аннушка из окна видела свою мать, которая уже не плакала, а в черном платке шла за гробиком Вовы, и Митя шел с ней рядом.

Аннушка пробыла у тети Шуры и следующий день и обедала у нее, ела вкусный грибной суп и картошку с топленным молоком. К вечеру мать зашла к ней, но плакала теперь не зло, а ласково и была похожа на себя. Она сильно целовала Аннушку и увела ее с собой, гладила и прижимала к груди так, что рассудительный Митя сказал:

— Осторожней, мама, задавишь Аньку.

С тех пор мать изменилась к Аннушке, ругала ее редко и не била вовсе. И Аннушка в душе радовалась, что Вова умер. В свободное время она теперь гуляла по улице, ходила на аэродром по месту работы матери и ее пропускали. Вообще она любила общаться со взрослыми, но детей не любила. Аннушке нравилось, когда ее жалеют, дети же никогда никого не жалеют, ибо они существа беспощадные. Дразнили ее соседские ребята, дразнили и в школе, пробовала ее мать перевести в другую школу — и там дразнили, пробовала отправить летом в пионерлагерь не от своего предприятия, а от Молкомбината, и оттуда Аннушка убежала, потому что она не умела проснуться, когда во сне хотела по малой нужде. С Митей, братом своим, она жила дружно, и он ее утешал, когда она терпела от других ребят, однако никогда за нее не вступался. Тихо подойдет, скажет:

— Пойдем, Аннушка, домой, — и руку ей протянет.

Так и шли домой брат и сестра, взявшись за руки. С сентября Митя тоже пошел в школу, но его не дразнили, хоть и знали, что он брат Аньки-пись-пись... Только вместо Иван, как он был записан в классном журнале согласно документам, все дети

звали его Митя, и дело дошло до того, что учительница вместо Ивана нет-нет да и назовет Митя...

Как бы там ни было, к дразнилке Аннушка не то чтоб привыкла, а примирилась — и с дразнилкой жить можно, тем более, город Ржев большой, здесь места хватит, чтоб подальше от злых насмешников держаться. А постепенно и дразнить ее стали меньше, ибо в классе у них появился мальчик, который шепелявил, и все начали дразнить его. Даже и Аннушка дразнила. Так после смерти Вовы неплохо шла Аннушкина жизнь, пока не случилась новая беда. Эта беда случилась не летом, когда на базарную площадь приезжал цирк, а зимой, когда Аннушка носила любимые красные валенки.

Однажды днем, когда Аннушка разогревала себе на примусе котлеты, поскольку училась она во вторую смену, Митька же был в школе, а мать на работе, дверь без стука открылась и вошли двое незнакомых мужчин.

— Ты одна, девочка? — спросил мужчина в белых фетровых сапогах, обшитых кожей.

— Одна, — сказала Аннушка.

— Ну, садись сюда на стул и сиди тихо, — сказал другой мужчина в черном полушубке.

Аннушка села на стул, и мужчины начали быстро вытаскивать все из шкафа и укладывать в чемоданы. Они выдвигали ящики, заглянули в тумбочку и ходили мимо Аннушки, будто ее не было. Потом они ушли и унесли кроме чемоданов, ручную швейную машину.

Аннушкина мать, если была возможность со стройки подъехать на попутной машине, приходила обедать домой. Приходит она и видит: все настезь, шкаф пустой, швейной машины нет, а Аннушка сидит на стуле. Мать опять начала кричать, и опять сбежались соседи, как тогда, когда умер Вова.

— Обворовали! — кричит мать. — Все взяли... Даже Колин костюм, который я берегла на память... Колин бостоновый костюм, который он два раза надевал, — и мать заплакала.

Сосед из одиннадцатой комнаты говорит:

— Я слышал, кто-то проходил, но слышу, Анка дома, с примусом возится, думал — родственники приезжие.

— А что ж ты не кричала? — спрашивает у Аннушки тетя Шура.

— Я боялась, что они меня бить будут, — говорит Аннушка.

— А чего ж ты не кричала, когда они ушли с чемоданами? — спрашивает сосед из одиннадцатой комнаты.

— Я боялась, — говорит Аннушка, — что они прячутся за дверьми, и как только я крикну, они меня начнут бить...

Тут мать впервые за долгий перерыв Аннушку опять ударила, но не кулаком, как тогда, когда умер Вова, а ладонью и с пощадой все же ударила, хоть и больно, но по-матерински. В этот момент как раз явился комендант и говорит:

— Битьем делу не поможешь, а вот ты, девочка, узнаешь этих ворюг в лицо?

— Узнаю, — говорит Аннушка, — один в черном полушубке, другой в белых сапогах.

— Выстроить, — говорит комендант, — всех мужчин из барачков... Это, может, вербованные, которых недавно нагнали... Там раскулаченных невпроворот...

Выстроили всех мужчин из барачков на заснеженном пустыре, вышла Аннушка, глянула, и стало ей страшно. Рядом с ней мать, комендант и двое милиционеров. Пошла так вдоль шеренги, и все на Аннушку смотрят с испугом, и она на всех смотрит с

испугом. Прошли раз — никого Аннушка не узнала. Есть лица знакомые, есть лица незнакомые, но тех, кто воровал, — нету.

— Ничего, — говорит комендант, — с первого раза не разглядишь.

Пошли по второму разу. Опять все на Аннушку смотрят с испугом, и Аннушка на всех — с еще большим испугом, а от испуга уж вовсе не разберешь ничего, все лица друг на друга похожи, и знакомые лица тоже незнакомыми кажутся.

— Ничего, — говорит комендант, — пойдем третий раз... Он тебя, может быть, запугивает взглядом.

И верно, дрожит Аннушка вся как в лихорадке, а на которого указать — не знает. И трико у нее от испуга давно мокрые, тяжело ей быть на морозе, а на которого указать, опять не знает... И указала она на третьего с левого конца.

— Этот, — говорит.

— Девочка, — кричит человек, на которого она указала, — я из Зубцова... Почивалин моя фамилия... У меня семеро детей...

— Ну и что, — говорит комендант, — если ты из Зубцова, так добро у вдовы героя финской войны можешь воровать, — и кулаком его в зубы.

Сразу кровь потекла, и от вида крови заплакала Аннушка.

— Ладно, — говорит комендант, — уведите девочку. Он второго сообщника и так выдаст.

Увела мать Аннушку в барак и больше не ругала ее и не била, была с ней ласковая, как после похорон Вовы. Через несколько дней заходит в комнату номер девять комендант и говорит:

— Вещи ваши, Анна Алексеевна, пока не нашли, но есть у меня чем вас порадовать... Воровал этот гад или не воровал, еще выяснят, а то, что он в тридцать четвертом году в Зубцове колхозный хлеб под-

жег, уже выяснили точно. И учитывая вашу помощь при разоблачении, а так же то, что вдова героя финской войны и имеете двух детей, при недавнем горе по смерти младшего сыночка и при ущербе от воровства, решили вам предоставить жилплощадь и работу поблизости. Можете идти на склад номер сорок оформляться.

Склад номер сорок располагался в городе и работа там была в тепле. Обрадовалась мать.

— Спасибо, — говорит, — товарищу Сталину за подобную заботу... Поскольку я с детьми... младший умер... а тут обворовали...

И сначала радость у нее перешла в слезы, потом опять сквозь слезы засмеялась, поскольку дожидаясь выезда из барака.

Квартиру дали на окраине с противоположного конца Ржева — не возле аэродрома, а возле кладбища. Раньше этот дом был кладбищенской церковью, но незадолго до вселения Аннушки церковь была упразднена, и адрес ее был теперь: улица Трудовая, номер шестьдесят один. Ремонт здесь сделали наспех, чтобы побыстрее предоставить квартиры нуждающемуся населению, и со стен, дурно побеленных, глядели лики святых, там же, где стояла тумбочка и висел радиорепродуктор, проглядывало намалеванное Христово распятие, и мать заклеила его газетами, а на газеты повесила портрет Сталина. Но толстые церковные стены были сырыми, газеты отклеились, сморщились и образовался поясной портрет православного Христа рядом с поясным портретом Сталина, так что могло показаться, что это соратники.

Церковь данную закрыли, а священника арестовали, поскольку, как установлено было, в первое воскресенье Великого поста под видом праздника православия, иконопочитания здесь был устроен

антисоветский митинг. Явилась якобы здесь нерукотворная икона Божьей матери Ржевской, к которой, по сообщениям горздрава, не только прикладывались, но и соскабливали с нее краску на пищу и платье, что способствовало росту инфекции. Немедленно ремконтора, которая испытывала трудности со сдачей жилья в эксплуатацию, составила смету по ремонту, и смета эта оказалась невелика — снос иконостаса, разрушение алтаря и прочие незначительные строительные работы... Уже через несколько месяцев первые стахановцы въехали в бывшую церковь, ныне новостройку по улице Трудовая, номер 61 около кладбища. Стены хоть и были здесь сыроватые, хоть и отдавали летом плесенью, хоть и покрывались зимой изморозью, хоть сооруженные наспех дымоходы сильно дымили, отчего стены "потели", однако все же они защищали людей от мороза и ветра лучше, чем отштукатуренные доски бараков.

Аннушке, матери Аннушки, здесь понравилось, и самой Аннушке здесь понравилось, а Иван-Митя не выказал своего отношения к бывшей церкви по сравнению с баракком, поскольку был скрытен.

Украденное добро обнаружить и вернуть так и не удалось, однако кое-как обходились, да и кой-чем новым обзавелись, ибо мать теперь была лицо материально-ответственное и зарабатывала на складе № 40 лучше, чем на стройке при аэродроме.

И вот, когда кое-чем обжились и купили даже Аннушке зимнее пальто на ватной подкладке, является вдруг опять какой-то человек и заявляет, что хочет осмотреть росписи на стенах и место, где стоял алтарь и иконостас. Опять Аннушка была одна и опять она испугалась, что ее будут бить, молча села в тоске на стул, хоть человек подобного ее не заставлял делать.

Человек этот был Дан, Аспид, Антихрист. Земные годы состарили его, и он научился разговаривать с людьми без внутреннего отвращения, что недоступно небесным ангелам, но лишь пророкам, да и то не всем и не всегда. Дан знал, что любить человека значит превозмочь к нему отвращение, однако даже великие пророки в момент слабости своей не могут скрыть отвращения к людям. Такое случилось у Моисея в промежутке между первыми и вторыми скрижалями Закона, когда он разбил первые скрижали в тоске от необходимости отдавать свое высокое сердце столь низменным существам, предпочитавшим мясные котлы в египетском рабстве манне небесной в свободном Синае, такое случилось и у брата Данова Иисуса из колена Иудина, постепенно испытывавшего отвращение к апостолам, к этой избранной им не по желанию, а по необходимости духовной черни, не способной проникнуть душой в дерзкий замысел Самозванца спасти народ свой, который так же нечестив, как и все иные народы, спасти и тем самым осуществить Замысел Божий... Такое случилось и с Елисеем, от обид людских решившим стать пророком и дерзко попросившим от пророка Ильи:

— Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне.

Ответил ему Илья:

— Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, то не будет...

То, что случилось далее, вдохновило русского поэта пушкинского времени Языкова, и величие этого библейского места и величие молодого вдохновения Языкова было отмечено Гоголем в "Выбранных местах из переписки с друзьями". Гоголь писал, что Языков здесь превзошел самого себя,

прикоснувшись к чему-то высшему. Да, здесь рука Языкова приобрела чисто пушкинскую мощь.

Когда, гремя и пламенея,
Пророк на небо улетал,
Огонь могучий проникал
В живую душу Елисея.
Так гений радостно трепещет,
Свое величье познает,
Когда пред ним гремит и блещет
Иного гения полет.

Вошел в Елисея дух Ильи, который "пламенея на небо улетел". Уже не попираемым людьми плешивым человеком пошел Елисей из Иерихона в Вефиль, а пророком. Люди зрелые боялись теперь смеяться и издеваться над ним, но дети, которые не имеют разума скрывать свою жестокость, не имеют разума и бояться своего зла. Поэтому в людском бунте, в людской стихии, в людском тоталитаризме — всегда детская игра, и детское общество — всегда тоталитарное общество. Господь не отдает предпочтения ни большим, ни малым, пред Господом все равны, и Господь наказывает детскую жестокость и детскую злобу, однако наказывает ее уже в зрелости, когда наказание это особенно сильно. Елисей, шедший по дороге в Вефиль, не осознал в себе пророчества и не преодолел отвращения к жестоким людям, пребывавшим еще в своем раннем детском возрасте. "Когда он шел дорогой, малые дети из города насмехались над ним и говорили ему: иди, плешивый, иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка".

Пророк Исайя говорит:

— Если нечестивец не понесет наказания, он не научится правде.

Мудрый царь Соломон отвечает ему:

— Правда, которая умирает, наказывает нечестивцев, которые живут...

Господь лишь изредка убивает нечестивца перед лицом правды, чаще он убивает правду перед лицом нечестивца, и тогда нечестивец вгрызается в горло нечестивца. Убив жестоких детей, Елисей дурно наказал нечестивцев, ибо они должны были быть наказаны в зрелости своей, когда бы аппетит их к жизни созрел. А всему виной моменты слабости души, когда невозможно даже пророку скрыть свое отвлечение к человеку и повременить с наказанием его грехов.

Такое случилось и с Даном, Аспидом, Антихристом здесь, на улицах Ржева. Много раз в земную свою жизнь и на Харьковщине, и в Керчи, и в Ржеве Дану, Антихристу приходилось слышать за спиной своей злобные слова, иногда произносимые шепотом, а иногда и погромче, когда в горле была хмельная свобода. Вначале он думал, что люди эти догадываются о нем, Антихристе, посланном для проклятия. Потом он предположил, что они ненавидят колено Даново, узнав из предсказаний пророка Иеремии об Антихристе, которому предназначено выйти из этого колена. Но затем он понял, что они одинаково ненавидят все двенадцать колен Израилевых. И Рувима, первенца Иакова, и Симеона, и Левия, из которого вышел великий пророк Моисей, а также все левиты-священники, и Иуду, зачинателя царя-псалмопевца Давида, и мудрого Соломона, и Иисуса из колена Иудина, которому они приписывают языческие изображения в своих церквах и молятся этим изображениям, и Ефрема, и Манассию, сыновей Иосифа Прекрасного, и Вениамина, из которого вышел пророк-мученик Иеремия, и Завулону, и Иссахара, и Гада, и Асира, и Неффалима... Все

двенадцать колен были ненавидимы одинаково. Тогда понял Дан, Антихрист, что полное наказание нечестивцы понесут лишь в зрелости, когда постигнут цену Божьему миру, а если не постигнут вовсе до могилы, то наказание Божье после могилы ждет их... Однако и Христос, и Антихрист в моменты слабости действуют иногда вопреки замыслу Господа, их полагавшего и исполняют Божье преждевременно...

Идя как-то по улице в Ржеве, Дан обогнал некоего в пальто ржавого цвета, которое было незастегнуто и висело мешком... Все, что имело пуговицы, было расстегнуто: пиджак, какой-то вязанный жилет, рубашка, а на синей майке пуговиц не было, отчего расстегнуть ее было невозможно, и потому была она разорвана. Этот некто имел лицо и голову распространенную, но каждая из распространенных черт становилась индивидуальной за счет доведения этой черты до грани и символа. Волосы были русые с сединой, но всклокочены торчком, худоба щек подчеркивалась двумя продольными морщинами и седой щетиной, северные глаза выщвели до водянистости, типовой славянский нос был со множеством красных прожилок, а ничем не примечательные по форме губы так запеклись высушенной слюной и слизью, что невольно можно было с содроганием подумать о женщине, которой их случалось целовать. Когда Дан обогнал этого некоего, тот вдруг заглянул Дану в лицо и словно бы узнал. Мука ненависти довела это нечистое лицо уже до полной крайности, разлепила слепленные слизью и слюной бескровные губы его, и вместе со смрадом неухоженной утробы своей он выдохнул сквозь желтые зубы, как сквозь гнилое решето, в спину Дану:

— Ух, жид, ненавижу... Жид...

Не всегда так произносит это слово простой русский человек, а только на пределе. Чаше же простой

русский человек слово "жид" произносит, точно сочным яблоком закусывает, вкусно произносит, с хрустом. Словом "еврей" тоже неплохо горло поплоскать и от гнева осипшее, и от радости вспотевшее. И все же слово "еврей" со словом "жид" не идет в сравнение... Нет в слове "еврей" той краткой творческой остроты, которой стакан водки отличается от кружки кваса. Хорош квасок в жаркий день, но только как подспорье, а не как основа... Русский же мыслитель-интеллигент чаще слово "жид" в прилагательное переводит, в характеристику явлений и событий. В традиции интеллигента чаще не "жид", а "жидовский", причем полнозвучно, в три мелодичные ноты. Произнесет "жидовская идея" — точно стопку рябиновой водки рябчиком закусил и пунцовые спелые губы хрустящей крахмальной салфеткой отер.

Но некто, встретивший Дана, давно уже утирал сивушные костяные губы грязным, засаленным рукавом, ибо был на пределе. И в безрассудстве своем произнес он:

— Ух, жид, ненавижу... Жид...

И тогда Дан вопреки замыслу Божьему не выдержал сердцем, как не выдержал сердцем пророк Елисей, преждевременно, а значит слабо покаравший жестоких нечестивых детей по дороге из Иерихона в Вефиль. Как предсказал Иеремия, поставил Дан перед неким преткновением. Дурные ржевские тротуары и хорошая хлебная водка образца 1941 года помогли в том. Упал некто не лицом вперед, чтоб разбить в кровь лоб и нос, не на бок, чтоб сломать руку, а навзничь, чтоб удариться затылком о булыжник и умереть, не намного уменьшив многочисленное и разветвленное славянское племя. Больше не сказал некто ни единого слова, и "жид" было у него последним, и со словом этим во рту мигом

предстал он перед Господом, который, ни о чем не спрашивая, отправил тут же в котел с горячей смолой, где с ним обращались непочтительно и били крючьями по исхудалым за революцию и пятилетки ребрам. Здесь же, на земле, соплеменники сокрушенно сгрудились вокруг "сердешного", пытаясь до прибытия социалистической бесплатной врачебной помощи омыть пострадавшему окровавленный затылок водицей, принесенной в пустом молочном бидоне идущей с рынка крестьянки. Может, и слышал кто из соплеменников, как пьяненький этот кричал "жид" какому-то прохожему еврею, экая невидаль, но как же отличишь Рабиновича из галантерейного ларька от Антихриста, посланного Господом для проклятия. Все они дети одного отца хоть и от разных матерей, и потому каждый из них имеет общее начало, но не имеет общего конца.

Через два дня некоего хоронили, и Антихрист пришел посмотреть на похороны. И Аннушка пришла посмотреть, поскольку жила возле кладбища и каждый день дожидалась музыки. Некоего на этом свете звали Павлик, как апостола из колена Вениаминова, первого на земле выкреста. Правда, в начале, когда апостол Павлик был гонителем христиан, его звали Савлик, а уж потом стали звать Павлик, чем он крайне гордился, как и своим римским гражданством, и был самым ярым христианином, хоть никогда не видел живого Христа. Но некоего звали Павлик с его рождения. Был момент, когда по настоянию крестного отца его чуть не называли Вася, но все же в конце концов он был назван Павликом.

Несостоявшегося Васю и завершившегося Павлика сопровождал оркестр клуба железнодорожников, поскольку Павлик работал на этом свете в ржевских железнодорожных мастерских, имея зва-

ние потомственного пролетария, а позднее — неизлечимого алкоголика. И как только приобрел он звание "неизлечимого алкоголика", так сразу публично начал петь знаменитую русскую частушку "Бей жидов, спасай Россию", которую лучше всего исполнять тенором. А у Павлика как раз и был тенор.

Частушка эта хоть и считается по сей день народной, тем не менее, как многие народные популярные песни, имела некогда автора. А именно Маркова Второго, депутата Государственной думы от города Курска. Но подобно многим популярным песням, которые запел народ, она давно уже утратила конкретное авторство и выдержала испытание временем. Так вот, частушку эту тенором пел и Павлик.

Вызывали Павлика в завком, песочили за старорежимные пережитки. Тем более прогуливать он стал. Жена плакала.

— Помрешь под забором, никто к тебе на помощь не придет...

— Э, — махнет рукой Павлик, — умру, хоть меня на колбасу...

Но как умер Павлик от несчастного случая, пришел народ, не малочисленные были похороны. С венками. В дальний конец кладбища несли гроб, где поменьше было крестов, а побольше могил со звездочками. И Павлику на могилу поставили не крест, а звездочку, чтоб он и на том свете был при советской власти.

Не знал пролетарский люд из железнодорожных мастерских то, что знал Дан, Аспид, Антихрист. Попал Павлик на том свете в аполитичный смоляной котел и последнее его слово "жид" прикипело горячей смолой к его губам и режет рот его своими острыми краями. И другие грешники этого котла, которые также терпят вечные муки, возненавидели

Павлика за его мучительный, поросячий тенором крик — ”жид”. Ни на секунду не затихает эта боль, и ни на секунду не умолкает мучительный крик Павлика. Но здесь, внизу, где небо как глаза северного славянина, тело Павлика тихо лежало в красном гробу.

Было начало весны 1941 года от рождества брата Данова Иисуса из колена Иудина. На Харьковщине или даже в Курске днем в солнечную погоду на солнце уже таяло, но в Ржеве зима не шелохнулась еще. Прочно, неподвижно покоился на могилах снег, мертвы были ветви кладбищенских деревьев, и у плачущих изо рта клубился пар. Огляделся Дан, Антихрист, посмотрел на лицо умершего и на лица живых, и вспомнилась ему одна из ранних заповедей Моисея.

— Если кто застанет вора подкапывающего и ударит его так, что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взойшло над ним солнце, то вменится ему кровь...

Эта была одна из многочисленных библейских заповедей, составленных умышленно не совсем ясно. Библейский стиль избегает чрезмерной ясности, ибо чрезмерно ясное есть лозунг. Есть заповеди, требующие значительного труда, есть заповеди, требующие незначительного труда, как эта. Однако нет заповеди, которую можно было бы проглотить без всякого усилия. Вот толкование. Вор, говорится в заповеди, застигнутый днем, имеет право на снисхождение, но союз вора и ночи не имеет права на жалость.

И глянул Дан и видит: солнце светит, а у людей вокруг лица ночные. И понял он: им самим вменяется кровь их...

Тут же, в кладбищенской толпе, Антихрист увидел востроглазую девчонку, совершенно не похо-

жую на Марию, которую он встречал на Харьковщине и с которой под Керчью подвергся третьей казни Господней, зверю-прелюбодеянию... Хотя она и была не похожа на Марию, но напомнила ему Марию, и Антихрист стал наблюдать за ней. Следом за Аннушкой пошел он в кладбищенскую церковь и увидел, что церковь обращена в жилье... Тогда попросил он посмотреть место, где раньше был алтарь и росписи на стенах...

Росписи эти вызывали в нем отвращение, ибо они нарушали святую святых — вторую заповедь пророка Моисея. Как иудей он знал, что в символе Бога заложено отрицание Бога. Что отрицание это началось еще при гонениях на христиан, в катакомбах, на стенах которых изображали тощего александрийского монаха под именем Иисуса Христа из колена Иудина, предсказанного пророком Исайей. Впрочем и имя Иуда у них было проклято, поскольку они были не только враждебны, но и чужды, а непонятное имеет всегда однозначный механически заученный смысл и произносится устами, но не разумом, как произносят человеческие слова говорящие птицы... Иуда был проклят, но и Иисус Христос был под сомнением, если не видеть постоянно его изображения, ими же самими созданного.

— Ищите изображение Христа в его словах, записанных в Евангелии, — советовали сомневающимся наиболее разумные отцы церкви. Но чуждые национального мироощущения создатели религии, они могли верить сердцем в чужое, лишь видя глазом свое. Дан, Аспид, Антихрист знал к чему ведет такая вера глазами.

Так же, как и здесь, в ржевской кладбищенской церкви можно было повсюду газетами заклеить старые иконы, старых идолов и повесить новые иконы, новых идолов. Ибо что перед глазами, в то и верят,

а что не видят, в то не верят, согласно народной поговорке: "Дальше очи, дальше сердце". И чем больше перед глазами одно и то же, тем больше в это верят. Недаром всюду перед глазами этих людей висели изображения толстого усатого ассирийского банщика, который пришел на смену истощенному александрийскому монаху. Вот и здесь, рядом с заклеенным изображением александрийского грека, висело изображение усатого ассирийца... Но духовную веру в Сущего газетами не заклеишь и ассирийским банщиком не подменишь, как не удалось подменить ее некогда золотым тельцом в Синайской пустыне.

Так думал Дан, Аспид, Антихрист, и Аннушка сидела в страхе, ожидая, когда он раскроет шифоньер и начнет забирать вновь накопленное добро и заберет при этом новенькое Аннушкино пальто на вате. Однако как ни страшно Аннушке было, она все же исподтишка смотрела на этого человека, ибо, думает она, когда выстроят всех после воровства и поведут ее по ряду, она сможет без ошибки узнать вора. Смотрит Аннушка, смотрит и видит вдруг в окошко: идет ее мать мимо кладбища по тропинке к дому и ведет за руку брата Митю. Лицо у матери скорбное, наверное, ходила на могилку к Вове, поскольку жили они теперь с этой Вовиной могилкой рядом и Вовину могилку каждый день посещать можно было. Увидела Аннушка мать, обрадовалась, преодолела страх, вскочила со стула и выбежала матери навстречу с криком:

— Вор, вор у нас...

Начала кричать и мать, наученная горьким опытом прошлого воровства. К счастью, народ в церкви был гораздо более сознательный, чем в бараке, поскольку селили здесь лучших, согласно трудовым привилегиям. Вовремя собрались они помочь

чужой беде. Вооруженного милиционера поблизости не оказалось, но зато одного из стахановцев за доблестный труд премировали охотничьим ружьем, которое он и захватил с собой. Не успел Дан опомниться, как густая толпа закрыла ему выход из части церкви, которая деревянными перегородками обращена была в комнату. Народ смотрел на Дана с веселой ненавистью, как смотрят обычно на слабых врагов. Этот взгляд с веселой ненавистью как раз и есть взгляд антисемита в лучшие его моменты, когда слово "жид" он произносит словно спелое яблоко ест.

— Недавно обворовали, и опять, — причитала мать, — спасибо дочери, не растерялась...

— Говорят, они только в торговле воруют, а так честные, — сказал кто-то.

— Надо бы его в конверт и марки на задницу, — сказал стахановец, премированный охотничьим ружьем, которое держал наперевес.

И они хотели подступить к Дану, Антихристу, как некогда подступили к брату его Иисусу из колена Иудина. Ибо это были те же, и Дан, Антихрист, знал это о них, они же это сами о себе не знали. Но не для Благословения был послан Дан, а для Проклятия, не ради них, а против них, и потому не наложить было на него руку. Внезапно в две стороны раздалась толпа, друг-сосед разлучен был с другом-соседом, сосед-муж с соседкой-женой, Аннушка разлучена была с матерью своей... Когда же они все вновь соединились, Антихриста в комнате уже не было, и был он далеко от улицы Трудовой хоть и в пределах города Ржева. Потом многое говорили. Одни говорили, что в руках у бандита был нож, другие — маузер, а третьи — даже кулацкий обрез. Однако поскольку ничего из вещей не пропало, то случай этот был как-то быстро забыт, тем более, что

всем было друг перед другом неловко за происшедшее при задержании. А Дан, Аспид, Антихрист, покинул церковь, опозоренную прошлыми и нынешними языческими изображениями, очутился на противоположной окраине Ржева возле барачков, где недавно жила Аннушка, неподалеку от аэродрома.

Вечерело, но не было здесь вечерней тишины, какая случается зимой в поле при заходе солнца. В шуме и реве авиамоторов опускалось оно, в дрожании морозного воздуха. И увидел Дан опять меч, который видел впервые под Керчью, и который тогда рассек над окровавленным морем кровавые тучи. На сей раз меч упирался рукоятью в вечернее солнце, острие же его пропадало за снежными крышами западной окраины города Ржева, и снег на крышах был цвета алой артериальной крови. И услышал Дан, Аспид, Антихрист слово, сказанное Господом через пророка изгнания Иезекииля.

— Горе городу кровей! Горе котлу, в котором есть накипь и с которого накипь его не сходит! Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию. Ибо кровь его среди него. Он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, я оставил кровь его на голой скале, чтоб она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, и Я разложу большой костер!

После слов этих зашло солнце, и исчезло видение меча и крови. По освещенной редкими фонарями окраинной улице города Ржева, мимо покойного вечернего света в окнах домов, скрипя морозным сухим снегом прошел Дан, Аспид, Антихрист и скрылся он там, где начинался забор недавно построенного молочного комбината. Редки в такое время на окраинах города Ржева прохожие, и долго минуло,

пока не показался новый прохожий в телогрейке и стеганых ватных валенках, на которые натянуты были глубокие галоши.

Однако сбылось Даново видение не сразу, а когда Аннушка давно уже сняла свои любимые красные фетровые валенки и ожидала скорого приезда цирка. Вдруг слышит Аннушка, все взрослые говорят:

— Война, война... Немцы, немцы...

Но для Аннушки от этого вначале ничего не менялось, и мать тоже сказала соседке:

— Со мной больших перемен быть не может, у меня Колю в Финскую убили.

Весь июнь никаких перемен не было. Разве что цирк так и не приехал. А в июле начались перемены. Раз приходит мать, очень озабоченная, со склада № 40 и говорит:

— Давайте, дети, паковать вещи. Мы как беженцы пойдем отсюда за семь километров в деревню Клешнево.

Собрали кое-как вещи, упаковали притом и красные фетровые валенки, и пальто на вате, вдруг зимовать придется в Клешневе. А комнату на замок закрыли. В Клешнево шли весь день по жаре. Раз два только присели, чтоб отдохнуть и перекусить.

— Надо, дети, спешить, — говорит мать, — чтоб лучше устроиться, пока другие не подойдут.

Пришли они в Клешнево к вечеру, разместили их в школе, но видит Аннушка — людей много кроме них, и никто ни матери, ни Аннушке, ни Мите не рад...

Жили они в Клешневе, как в поезде, стерегли свои узлы, а когда запасы еды кончились, сразу голодно стало. Потому обрадовалась Аннушка и Митя обрадовался словам матери:

— Пойдем назад к себе в город Ржев. Скоро сентябрь, и вам в школу пора.

В город Ржев пришли быстрее, чем из него уходили, устали меньше и, когда нашли в доме все в целости, обрадовались и решили: теперь уж легче будет.

И действительно, дома лучше, чем в деревне Клешнево, хоть и война. Пошла мать опять на склад № 40 работать, сытнее стало. Конечно, не так, как до войны, но сытнее.

В один из вечеров, был последний день августа, мать говорит:

— Завтра вам в школу, дети, давайте соберем книжки в портфель, чтоб утром не искать и не опоздать на первый урок.

Только начали собирать книжки, загремело где-то. Последний раз так гремело, когда была сильная гроза, при которой погиб маленький Вова. Испугалась Аннушка, и мать перепугалась, схватила Митьку за руку.

— Побежали в огород, — говорит, — среди грядок ляжем.

А поскольку у кладбища был пустырь, власти разрешили стахановцам, жителям бывшей кладбищенской церкви, содержать маленькие подсобные огороды. Смотрит Аннушка, кое-кто из стахановцев, которые эвакуироваться не успели, тоже в огороде лежат, в грядки уткнулись. Тут как грохнет совсем рядом на кладбище. И второй раз. Дым белый пополз, подгорелой яичницей запахло. Заплакала Аннушка, но стахановец, которого охотничьим ружьем премировали, успокоил:

— Ничего, — говорит, — девочка, не бойся... Советская власть еще жива.

Вернулась Аннушка с матерью и Митькой в дом после бомбежки кладбища, и всю ночь не было сна. Ехали машины, повозки, слышны были разговоры, и до самого утра существовала советская власть. Утром же настала власть немецкая.

— Дети, — говорит мать, — сидите дома, на улицу не выходите.

Однако немецкая власть не стала дожидаться, пока Аннушка и Митька выйдут на улицу, она сама пришла в их дом, не по-русски топая по коридору и за дощатой перегородкой сразу завозилась, сразу начала преодолевать чье-то сопротивление и легко его преодолела, поскольку на ее стороне была сила. Страшно было Аннушке, так страшно, что даже любопытно, и выглянула Аннушка в коридор. Недолго прожила Аннушка, но не раз она видела, как бьют, поскольку жила в стране, где бьют часто. Правда, чаще она видела как бьют не до крови, до крови же видела раза два... Комендант барака ударил до крови человека, на которого Аннушка указала как на вора, и на ее глазах мальчишки до крови подрались. Знала Аннушка и как больно, когда бьют даже ладонью, удар же кулаком, который нанесла ей мать, когда Аннушка не уследила за Вовой и он умер, Аннушка помнит по сей день... Однако никогда не могла Аннушка предположить, что можно так бить человека, как били немцы стахановца, которого когда-то советская власть наградила охотничьим тульским ружьем за доблестный труд. Про то, чтоб не до крови, и речи быть не могло. Точно кто-то нес по коридору полную миску крови, как носили хозяйки после стирки миски мыльной воды, и споткнулся в темноте, разлил кровь по полу. С каждым разом немцы били все безразличнее, а значит, без прежнего азарта, поскольку сапоги их пачкались кровью. И ходили они по коридору вокруг распростертого тела, как ходят осенью или весной по грязи, перескакивая с кочки на кочку. Тогда немец, одетый не по-русски, сказал что-то человеку, одетому в хлопчатобумажный куцый пиджак из ржевского универмага. Тот без стука рванул

дверь, за которой стояла Аннушка, и крикнул матери:

— Эй ты, сталинская проститутка, а ну выходи...

Аннушка сразу заплакала и вцепилась в мать, и Митька вцепился, тогда полицай, в котором явилась вдруг исконная славянская доброта, сказал матери:

— Не бойся, тебя не тронут. Тут надо комиссара вынести, поскольку он весь в крови, и господа немцы брезгают.

Мать и еще одна женщина-соседка подняли и понесли стахановца, жена которого и дети были эвакуированы, он же задержался, отправляя заводское оборудование... Сначала немцы велели нести его к телеге, но на полдороге передумали и велели нести к кладбищу. Руководил переносом искалеченного немецкими сапогами стахановца полицай в хлопчатобумажном ширпотребе.

— Чем дальше, женщины, отнесете, — говорил полицай, — тем для вас же лучше... Чтоб не смердел перед домом.

Мать и женщина-соседка пронесли стахановца мимо дореволюционных оград, мимо бедных крестов, миновали они и могилку, где был похоронен Вовочка и стояло каменное надгробье. Они отнесли стахановца к советским могилам со звездами, и неподалеку от свежей еще звездной могилы, в которой лежал убитый Антихристом Павлик, умерший со словом "жид" на устах, неподалеку от этой могилы они остановились.

— Кидай, — сказал полицай в пиджаке из ржевского универмага и вооруженный русской трехлинейкой с примкнутым, воспетым в песнях, русским трехгранным штыком.

Но мать Аннушки и соседка не бросили стахановца, а бережно его положили на кладбищенскую тра-

ву, головой прислонив к могилке Павлика, словно на подушку.

— Теперь идите, — сказал полицейай.

Едва мать и соседка повернулись, чтоб идти, как услышали за своей спиной короткое "хы", с которым обычно мужики рубят дрова, и что-то всхлипуло... Мать и соседка, глядя в землю, ускорили шаг, однако полицейай очень быстро их догнал, вытирая окровавленный штык пучком травы.

— Патронов дают мало, — простодушно пожаловался он, — оружие русское, трофейное и патроны трофейные, не разживешься, — и видя, что женщины не отвечают ему, добавил сердито, — чтоб сегодня все вымыто было, подметено. Немцы у вас на постое будут, ясно?

И началась жизнь при немецкой власти. Одни немцы сменяли других без конца. Одни были жестоки, другие более жалостливы. Обычно немцы приходили под вечер, на ночевку. Те, которые были жестоки, выгоняли мать и Аннушку, и Митю пинками, а которые были жалостливы, выгоняли без пинков. Первое время мать и Аннушка, и Митя ночевали на улице, хоть сентябрьские ночи в Ржеве холодные. Спасибо, еще дождей не было, а как дожди пойдут? Пробовала мать стучаться в соседние дома, просила, чтоб пустили, однако все боялись, потому что думали, что они евреи, которых ищут немцы. Когда же мать поднимала к окну Митю, показывая, что они русские, то их не пускали все равно — может, они семья коммуниста или партизана... Однако нашлась добрая старушка и пустила их, и с тех пор каждую ночь, как придут немцы на постой, как выгонят, они шли к старушке ночевать и даже перенесли туда постель и подушки. Утром немцы уходили, мать и Аннушка, и Митя возвращались к себе в дом и не узнавали его... Все побито, перевернуто,

нагажено, намочено... И вонь немецкая, неповторимая, гороховая... Даже когда морозы ударили, приходилось открывать окна настежь... Целый день мать мыла, убирала, и Аннушка помогала ей, а Митя носил воду от колодца и выносил помой... Только уберутся к вечеру, опять являются немцы на постой... Надо заметить, что помимо прочего мать опасалась, как бы не узнали про портрет Сталина, который она бережно закутала в старую рубашу покойного мужа Коли и закопала на кладбище среди дальних советских могил. Однако никто не знал, никто не интересовался этим, и мать успокоилась. Газеты со стен она посдирала и обнажила старые церковные росписи, поскольку слышала, что немцы уважают Бога. Правда, однажды во время особенно сильного разгрома под шнапс-водку немцы разрисовали лица святых углем, а на лбу распятого Христа нарисовали шестиконечную звезду и написали — юдише швейн — еврейская свинья... И мать боялась это вытирать и не велела прикасаться Аннушке и Мите...

Жили они очень голодно и неизвестно чем. Иногда мать принесет откуда-то свеклы, или моркови, или картошки. Однажды Митя подружился на улице с каким-то мальчиком, и тот сказал ему:

— Знаешь, где были военные казармы? Там теперь много наших за колючей проволокой. Пойдем, попросим у них хлеба.

· Аннушка говорит:

— Не ходи, Митя, опасно, немцы бить будут и убить могут.

Митя пошел и вернулся живой, но без хлеба.

— Мы у них хлеба просим, — говорит, — а они у нас хлеба просят.

Как раз и мать в тот день ничего не принесла.

”Что есть будем”, — думает Аннушка.

Тут немцы являются, как обычно, на постой, поскольку уже вечер. Одеда мать Митю, сама оделась, и Аннушка ватное пальто начала застегивать, а один немец говорит:

— Найн, Найн... Нет, нет, — оставайтесь, мол, здесь. Мать растерялась, а немец улыбается и достает фотографию.

— Киндер, — говорит, — мой ребеночек... Цвай... Тоже два... Я немножко говорю по-русски.

И достает после этого два сухаря и дает один Аннушке, а другой — Мите. И достает третий сухарь, дает его матери. Немцу этому особенно понравилась Аннушка.

— Гут, гут, — говорил он, — тебя надо учить немецкий язык... Я есть учитель...

Немец этот на следующее утро не уехал, и мать была рада этому. Прожил он у матери с Аннушкой и Митей почти неделю, и мать привязалась к нему, и Аннушка привязалась, только Митя держался настороженно. Немца этого звали Ганс, и от него впервые за многие месяцы перепало то кусочек хлеба, то сала, то немного горохового концентрата. Немец этот никогда не плевал и не сморкался на пол, ел аккуратно. Как поест, достает из кармана катушку ниток, оторвет нитку и этой ниткой начинает зубы чистить от остатка мяса и гороха. Почистит, рыгнет раз, другой и зовет Аннушку — учить немецкому языку. Аннушка быстро усвоила многие слова и научилась считать — айн, цвай, драй.

— Брот, — говорит немец, — хлеб... Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Анна с дедушкой идут гулять. Он заметил шестиконечную звезду, намазанную на лбу Христа и надпись "юдише швейн". — Юдише швейн, — сказал он и засмеялся, — еврейская свинья.

— Юдише швейн, — бойко повторила Аннушка, — Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Айн, цвай, драй...

Однако к концу недели стал Ганс печален и однажды утром застегнул шинель, взял автомат, одел каску и стал обыкновенным немцем, так что Аннушка даже его испугалась.

— Война, война, — говорит он печально матери, — Ржев плохо, Кельн хорошо, — и он вздохнул. Тут он заметил, что Аннушка смотрит на него с испугом, точно это не добрый, веселый дядя Ганс, который кормил ее салом и учил говорить по-немецки, а обычный немец, который ее гнал и пинал. Тогда Ганс улыбнулся, подмигнул ей, показал пальцем на шестиконечную звезду, намалеванную у Христа среди лба и надпись углем поперек Христова лица. —

Юдише швайн, — сказал он.

— Юдише швайн, — повторила Аннушка, — еврейская свинья. Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Хаус — дом, фогель — птица, каце — кошка, хунд — собака.

— Гут, гут, — засмеялся Ганс, еще раз погладил Аннушку по голове, поклонился матери и ушел, поскольку с улицы его уже звали и над ним подшучивали.

К вечеру на постой пришли немцы, и среди них был один, похожий на Ганса. Мать шепнула Аннушке, чтоб та поговорила с немцем на их языке, которому ее обучил Ганс, поскольку прошлую неделю, куда жил Ганс, они чувствовали себя под защитой, и кое-что из немецкой еды им перепадало.

— Юдише швайн, — сказала Аннушка. — Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Хаус — дом, фогель — птица...

Немец засмеялся и так же, как и Ганс, сказал:

— Гут, гут...

Сразу же мать, чтоб еще больше завоевать его расположение, принесла ему в миске теплой воды умыться и чистое полотенце утереться. Немец умылся, потом утерся, потом посмотрел на мать и вдруг схватил ее за юбку ниже живота. Мать испуганно взвизгнула раз, затем еще раз, поскольку Митя ударил немца головой в бок так, что тот покачулся. И Аннушка сильно испугалась, поскольку она знала, как бьют немцы. Однако прежде чем немец ударил Митю, мать сама ударила Митю, правда, не в голову, куда целился немец, а по заднице. Она била Митю и при этом отгораживала его спиной от разозлившегося немца. И потому немец не ударил Митю, лишь выгнал всех на улицу, как делали до дяди Ганса другие немцы.

Пошли они опять к доброй старушке, но не спали, боялись, что придут за Митей. Утром мать говорит:

— Дети, будьте здесь, а я пойду к нашему дому, подожду пока немцы уйдут и возьму что можно из вещей... Пойдем в деревню Агарково, там у меня двоюродная сестра, может, пристроимся.

Пошла мать к дому, помолилась Богу, чтоб немцы ушли, поскольку, как не стало советской власти, не к кому стало обращаться с просьбами о помощи, кроме как к Богу. И исполнилась просьба, вышли немцы, сели в грузовик, поехали. Мать сразу в комнату. Там, конечно, побито все, нахламлено, намочено, но среди койки чистое полотенце, которое мать немцу подала, так и лежит. Схватила мать это чистое полотенце, а оно тяжелое. Куча крепкого здорового арийского дерьма в нем, по которому, наряду с измерениями черепа, вполне можно арийскую расу определить. Со славянским, а тем более с еврейским, не спутаешь. Однако сейчас немец свое немецкое дерьмо завернул в русское поло-

тенце не ради анализа на чистоту расы, а ради немецкого свиномясного юмора, полнокровного юмора, который отличается, по его мнению, от еврейской курино-туберкулезной иронии. Только самые способные из славян могут ощутить немецкий дух. Мать Аннушки, тоже Аннушка, не принадлежала к лучшим элементам своей расы, не чувствовала себя арийкой, и в отличие от одного известного русского литератора XIX века не стремилась к арийскому единству от Урала до Рейна. Она жила своими низменными интересами и сейчас схватила из вещей что под руку попало...

Вскоре она с Аннушкой и Митей уже тащилась заснеженным полем в деревню Агарково. Не шли, а тащились, поскольку несли вещи. Но сперва они пришли не в деревню Агарково, а опять в деревню Клешнево, и опять им никто здесь рад не был. Пустили переночевать, а накормить не накормили, у самих ничего нет. Утром пошли дальше и пришли в деревню Григорьевку. Здесь выпросила мать немного мерзлой отварной картошки. В избу не пустили, поскольку боялись тифозных, а картошку вынесли во двор в газете. К вечеру только следующего дня пришли в деревню Агарково. Деревня Агарково маленькая, домов десять, не более, зато тихо здесь, немцы лишь раз были и то проездом.

Двоюродная сестра матери хоть и не очень рада была, но пустила и накормила. Начала Аннушка с матерью и Митей жить в деревне Агарково. Прожили зиму, прожили весну, а летом, уже август был, освободили деревню Агарково советские войска. То-то радости было. Деревня Агарково маленькая, и в каждую избу битком набилось советских солдат на постой и ночлег.

Свой солдат тоже воняет, но вонь от него привычная, не враждебная. К тому ж надо помнить, что

русские и прочие жители России едят мало мяса, а больше злаки и квасное. Поэтому вонь хоть и густая, но не едкая. У немца же в основе горох с салом, и вонь у немца калорийная, устойчивая...

Но вот беда, едва освободили советские войска деревню Агарково, как Митька заболел чем-то... Посадила его мать на мимо проезжавшую телегу, повезла к военным в санчасть, рассказала, что она вдова погибшего в финскую войну солдата, и сжалились над ней, оставили Митьку лечиться. Несколько дней прошло, начал Митька поправляться и даже сам выходить к матери и Аннушке на крыльцо, хлеб выносил, которым его вдоволь кормили.

— Ешьте, — говорит, — а то подохнете...

Опять вроде бы радость и опять эта радость — с бедой пополам. Вдруг ночью налетело на деревню Агарково много немецких самолетов, и к утру от деревни Агарково ничего не осталось. Народ, кто мог, спасся, и что мог, с собой в лес унес. В трех километрах лес этот был, и там теперь советские войска располагались. Но жили в лесу отдельно от военных, своей деревней, а Аннушка с матерью и Митей жили отдельно от деревни, поскольку их в деревне своими так и не считали.

Жила Аннушка с матерью и Митей в блиндаже у маленькой речушки, на горке. Митя лежал в этом блиндаже, подстилка у него была мягкая, все, что было с собой из вещей, мать под него подложила, лишь бы выздоровел. И висела в этом блиндаже клетка с птичкой, которую Аннушка нашла на улице, когда бомбили. Какая бы стрельба вокруг ни была, крики, дети плачут, а птичка поет, только солнышко покажется. Полюбила Аннушка эту птичку, и мать птичку полюбила, а Митя в ней души не чаял. Травки ей подложить старается, семечек от подсолнухов, свежую водичку поставит... Однажды Ан-

нушка и мать жали рожь неподалеку, а Митя лежал в блиндаже и слушал, как поет птичка. Вдруг прилетел снаряд, тут же второй и прямо около блиндажа. Дым пошел, но мать не стала ждать, пока дым ветром унесет, и в этот дым побежала к блиндажу, где Митя лежал. И Аннушка следом побежала. Смотрят — Митя целый вылезает. А по блиндажу словно плугом проехали, и деревья вокруг обгорели. Смотрят еще — клетка на земле и птичка в ней убитая... Жалко, если вспомнить как она пела, а что сделаешь? Митя говорит:

— Чувствую, ко мне летит, и влез в блиндаж, уткнулся в угол, думаю все, сейчас обвалится...

Вскоре приехала военная повозка и повезла Аннушку с матерью и Митей дальше в лес. Здесь в лесу Митя совсем поправился. Но сразу заболели Аннушка и мать... Жили в шалаше из еловых веток, только плохой был шалаш, строить некому было. Мать в первый день заболела, еще пробовала, пока на ногах, побольше веток натаскать вместе с Митей, чтоб сухо было, когда дожди пойдут. Однако Аннушка ничем помочь им не могла, голова у нее стала горячая, тяжелая — не поднять, и руки-ноги стали горячие и тяжелые... Так лежали мать и Аннушка несколько дней. Митя, чем мог, поддерживал их: воды принесет, колосков ржаных натрет, семечек подсолнечных налузгает, подаст...

Как-то утром слышат, едет повозка с красным крестом от санчасти. Начали среди мирных жителей ходить две военные женщины и делать всем прививки, а больных санитары уносили и укладывали на повозку. Взяли и мать с Аннушкой, а брата Митю не взяли.

— Он здоров, — говорят.

Мать, как взяли ее санитары нести, говорит Мите:

— Сынок, никуда не уходи, будь с людьми. Я скоро приду домой, сюда в шалаш...

Эти слова матери еще слышала Аннушка, но больше ничего не слышала и не помнила. Когда опомнилась Аннушка, видит, лежит она в большой палатке на носилках. И только опомнилась, сразу начала кричать и звать мать. Кто-то говорит:

— Не кричи, вот мать твоя рядом с тобой лежит.

— Поверните меня на бок, я видеть мать хочу.

И эти свои слова слышала Аннушка, а больше уже не слышала, пока не увидела себя на полу, застеленном соломой, где рядом с ней тесно лежали незнакомые мужчины и женщины, и мужчина, в нее твердо упирившийся, был синий, с открытым ртом... Аннушка закричала, но без слов, просто криком. Кто-то сказал:

— Санитар, вынесите, которые умерли, ведь просим давно...

И опять забылась Аннушка. Как начала себя в следующий раз узнавать, лежали по-прежнему в этой же комнате, но не на полу, а на кроватях. Сразу заплакала Аннушка и плакала, пока не увидела свою мать, лежавшую у противоположной стены... И так всякий раз, очнется Аннушка — пока не увидит свою мать — плачет, увидит — успокоится. Но раз видит Аннушка — укладывают ее мать на носилки и куда-то несут. Заплакала Аннушка, а ей объясняют:

— Твою мать в соседнюю палату переводят... Здесь только тифозные лежат, а с дизентерией здесь лежать не полагается...

— Где я? — спрашивает Аннушка.

— Это больница, — поясняют ей.

— А деревня какая?

— Это не деревня, а город, — поясняют ей, — Погорелое Городище называется.

Услышала Аннушка название и с этим названием уснула или забылась, понять ей трудно было. Пришла она в себя оттого, что ее на носилки укладывают.

— Куда меня? — спрашивает Аннушка.

— В другую больницу тебя переводят, — говорит санитар, — неподалеку, восемнадцать километров.

И понесли Аннушку через палату, где мать лежала. Увидела Аннушка мать, заплакала и просить начала:

— Положите меня вместе с мамой...

Мать отвечает:

— Не бойся, доченька, я скоро приду за тобой.

Унесли Аннушку.

Болела Аннушка в той, другой больнице долго и как болела, помнит плохо. Помнит только, как выписали ее. Уже осень была, и в тени иней. Одета была Аннушка в зимнее пальто на вате, но босиком. Чтоб босые ноги согрелись, идти быстро надо, а быстро идти сил нет. Пошла Аннушка по улице и пришла к какому-то мальчику.

— Ты куда идешь?

— В Погорелое Городище, — отвечает. — Я оттуда родом.

Обрадовалась Аннушка.

— Я с тобой хочу, мне туда надо...

— Пойдем, — говорит мальчик, — я дорогу знаю... До лесу шесть километров, а от леса еще двенадцать километров.

Целый день шли и дошли к лесу, который в шести километрах. Через лес дорога проложена, на дороге этой бревнышки, поверх бревнышек — грязная, холодная жижа... Ступила Аннушка босыми ногами в эту холодную жижу поверх бревнышек и думает — не дойду. Однако все же идет. "До того разбитого дерева дойду, а дальше уж не смогу", — ду-

мает Аннушка. Доходит она до разбитого дерева и дальше идет. Идет и все ж понимает: "Еще немного пройду и задубеет тело окончательно, хоть и в зимнем пальто, а ноги уже все равно чужие, как несут, непонятно".

И тут слышит Аннушка — подвода идет. Увидел дяденька с подводы, что Аннушка босая, остановил лошадей, сам слез, а Аннушку посадил. И мальчика, Аннушкиного спутника, хоть и не посадил, поскольку вся подвода в ящиках была, однако помог ему идти. И так к ночи добрались они в Погорелое Городище.

В Погорелом Городище подошла Аннушка к военным патрулям, и указали они ей больницу. Пришла Аннушка в больницу, спрашивает у людей, что там были:

— Мне Емельянова нужна... Я дочь ей...

Говорит одна женщина другой:

— Плоха очень Емельянова...

Однако Аннушка как-то не поняла, что мать плоха, а что жива поняла. Приходит Аннушка в палату и видит: мать ее лежит все там же и так же, в пальто и платке... Подошла Аннушка ближе и не узнала она мать. Издали узнала, а вблизи — нет. Вроде бы она и не она. А мать Аннушку сразу узнала и говорит:

— Не смогла я к тебе придти, доченька, как обещала, но скоро приду...

Медсестра говорит:

— Иди, девочка, до утра в Дом крестьянина, там переночуешь.

Военные патрули показали Аннушке Дом крестьянина, пришла она туда и ее пустили ночевать. Так устала Аннушка, что уснула она сразу, на полу возле печки. Проснулась уже утром. Стоит над ней солдат какой-то и спрашивает:

— Ты откуда, девочка?

— Из деревни Агарково, — отвечает Аннушка.

— Сходи тогда к коменданту, — говорит солдат, — он даст бумажку на любую попутную машину.

Дал этот солдат Аннушке хлеба. Поела Аннушка хлеба и пошла, куда ей патрули указали. Вошла в дом к военным. Военных Аннушка не боялась, поскольку живя в Ржеве возле аэродрома, она привыкла, что там всегда военные. Пошла Аннушка к военным, какой-то начальник дал ей бумажку на любую попутную машину. Потом пришла Аннушка в больницу, и люди говорят:

— Получше Емельяновой.

Показала Аннушка матери бумажку, та говорит:

— Умница доченька... Езжай домой, в лес, ведь Митька там один... Скоро я поправлюсь, тоже схожу к коменданту за бумажкой на попутную машину и приеду...

Пошла Аннушка на дорогу, однако, долго не брали ее в машину, пока не нашла она регулировщиков, показала им бумажку, и они Аннушку посадили. Приехала Аннушка, разыскала место в лесу, где живут деревенские... Видит, шалаш их еловый совсем осыпался, вещи лежат мокрые, и никто к ним не подходит.

— Вещи ваши тифозные, — пояснили ей, — их и караулить не надо, их вошь караулит.

— А брат мой где? — спрашивает Аннушка.

— Брат твой, — говорят, — плакал три дня, потом пошел к военным.

Так и не нашла Аннушка брата.

Меж тем весь народ на зиму опять к блиндажам своим перебрался, которые при разрушенной деревне Агарково располагались. И пошла Аннушка жить в блиндаж к двоюродной сестре матери. Та хоть и без охоты, но приняла. Думает Аннушка: "Приедет мать, скорей меня здесь найдет". Одна-

ко двоюродная сестра говорит вдруг как-то Аннушке:

— Твоя мать умерла...

’Почему она такое говорит, — думает Аннушка, — ведь ни почты, ни телефона здесь нет.’ Но все же пошла Аннушка, нашла, где дорога в город, и поехала в Погорелое Городище.

В больницу еще не пускали — рано. Села Аннушка на крыльцо, калачиком свернулась от утреннего холода, дождалась. Медсестра Аннушку обнадежила.

— Емельянова, — говорит, — такая должна быть, — и роется в ящике, где бумаги. Находит медсестра бумагу и говорит, — твоя мать умерла седьмого октября 1942 года.

А было уже тринадцатое октября... Ни с чем вернулась Аннушка домой в лес... В лесу уже снега навалило, и из мирных жителей — никого. С горя забыла Аннушка, что деревня из лесу в блиндажи перебралась. Долго блуждала она по лесу, но не кричала и не звала на помощь, шла тихо без слов. Какой-то солдат сам нашел ее и привел к блиндажам. Поместилась Аннушка в блиндаже кое-как, поскольку тесно было, по две-три семьи в каждом и заснула от сильной усталости и горя. Утром от разговоров проснулась. Вышла из блиндажа. Холод, снег, ветер. Однако на Аннушке теперь ботинки были, которые от матери остались. Хоть и великоваты, но греют, если тряпок намотать. Смотрит Аннушка — неподалеку повозка военная стоит и всех жителей подбирает. Кто-то говорит:

— Это в Погорелое Городище на поезд, в эвакуацию, поскольку немец опять наступает.

Подобрали и Аннушку. Привезли в Погорелое Городище и посадили на поезд. Далеко ли, долго ли ехала, она не знает, в забытьи находилась, так умер-

шую мать ей было жалко. Вдруг, как во сне, началась бомбежка. Вокруг все горело и стреляло. Народ куда-то бежал. И Аннушка бежала... Ночью от пожаров было светло как днем, и легко было находить дорогу, если б здесь были родные места. Однако места были чужие, и всюду Аннушка находила только чужое. Она вбежала в какой-то дом, который был совсем целый, но без потолка. В доме этом была целая печь, а в ней икона. Потом Аннушка выбежала и шла по дороге и пришла в большую комнату, где было много женщин. Хорошо ходить самостоятельно в родных местах, а в чужих местах лучше, когда тебя ведут. Одна женщина повела Аннушку и привела ее куда-то. Было уже утро и тихо, только снег падал. Из дома вышел какой-то мужчина, который испугал Аннушку, потому что у него правая рука была все время зажата в кулак. Она лишь потом узнала, что это был директор детдома Кузьмин, инвалид войны, пальцы правой руки у которого были скрючены взрывом и навек зажаты в кулак. Кузьмин взял Аннушку за руку левой своей рукой, привел ее в комнату, где было тепло и толпилось много мальчиков и девочек, одетых по-детдомовски одинаково. Причем многие мальчики, особенно поменьше, одеты были как и девочки, в платица, поскольку костюмчиков не хватало. Только увидела их Аннушка, сразу поняла, что здесь будут дразнить, ибо все дети смотрели на нее весело, как в Ржеве до войны.

В каждом детдоме, подобно каждой семье, свои порядки. Здесь уж так заведено было издавна, что дразнили и старались быть веселыми. Аннушке быстро придумали дразнилку — "нюня", потому что Аннушка иногда плакала, забившись в угол, по матери и брату Мите... Однако за ней подследила однажды черненькая девочка по имени Суламифь и

придумала ей дразнилку "нюня", после которой Аннушке не стало жизни.

Девочка эта так старалась придумать дразнилку Аннушке, поскольку до Аннушки девочку эту и взрослые, и дети дразнили "еврейкой". Сначала ее дразнили "москвичка, в попе спичка", поскольку она была из Москвы, потом начали дразнить "еврейкой", потому что она картавила. Девочка эта Мифа, или Суламифь, сначала, как потерялась от родителей, попала в другой детдом, и там ее никто не дразнил "еврейкой", а здесь сразу дразнить начали. Конечно, Кузьмин не дразнил, но Кузьмин вообще был недавно, считался чужим, и дети его не уважали, а любили бывшую заведующую, ныне воспитательницу тетю Катечку, тоже увечную, горбатенькую... Дети ее матерью своей считали за то, что она веселая. Когда Суламифь, разозленная от дразнилок, плакала и кричала, что убежит отсюда и найдет свою маму, тетя Катечка с улыбкой отвечала ей:

— Куда ты побежишь? Если б твои родители были живы, они б тебя нашли. Евреи своих детей не бросают...

И Суламифь понимала, что ей деться некуда. Не любили дети Суламифь еще и потому, что она вечно ходила, искала что-то на земле и часто находила. То яблочко найдет, то денежку и за эту денежку ей на кухне дадут съестное, то солдатика оловянного нашла.

— Счастливая эта еврейка, — говорили про нее, — вечно ей везет, что-нибудь да находит.

Была, правда, девочка беленькая такая, Глашенька, которая хотела с Суламифью дружить. Девочку эту, Глашеньку, мать сама привела в детдом. Глашенька очень не хотела оставаться, хоть ей и дали большое яблоко. Она плакала и порвала матери платье. Тогда ее завели в зал, начали играть на пиан-

нино, Глашенька заслушалась, а ее мать в это время ушла.

Так вот эта девочка, Глашенька, хотела дружить с Суламифью, но Суламифь с ней дружить не хотела. Глашенька обнимала Суламифь, целовала и говорила:

— Я хочу быть твоя сестра... Почему ты не хочешь со мной играть, ведь мы обе сироты...

Суламифь отвечала:

— Моя мама никогда б меня не бросила. Она очень добрая, кудрявая и носила соломенные шляпки и другие шляпки. В Москве она в детском саду раздавала всем детям конфеты поровну. И я ее очень люблю, хоть ее дразнили "мадам", потому что она была кудрявая, красила губы и носила шляпки...

— У меня мама злая, — соглашалась Глашенька и плакала.

Только Глашенька и Кузьмин не дразнили Суламифь еврейкой. Но Суламифь Глашеньку не любила, а Кузьмина боялась, как боялись и не любили его все. Потому обрадовалась Суламифь, когда в детдом привели Аннушку. И подследила Суламифь за Аннушкой, назвала ее "нюня". С тех пор начали Суламифь реже дразнить "еврейкой", а больше смеялись над Аннушкой. Но однажды пошли наиболее влиятельные, веселые и злые дети дразнить по обыкновению соседку Феклу.

Фекла эта, сухая и сердитая старушка, одиноко жила в маленьком домике неподалеку от детдома и испокон веков, может, даже еще до войны, все наиболее влиятельные дети ходили ее дразнить.

— Свекла! — кричали они. — Бабушка Свекла...

В ответ сердито лаяла рыжая собачонка "бабушки Свеклы", и сама Свекла выскакивала с руганью и угрозами, отчего особенно весело становилось.

В этот раз, чтоб угодить влиятельным детям, Суламифь тоже захотела пойти дразнить Феклу.

— Не ходи, — просила ее Глашенька.

Но Суламифь пошла. И Аннушка пошла. Чтоб угодить влиятельным детям, подбежала Суламифь вплотную к забору, где рыжая собачка от полного ненависти лая чуть не трясется. Подбежала и как крикнет:

— Бабушка Свекла...

Тут злая старушка выскочила, вплотную Суламифь увидела и говорит:

— А ты еврейская жидовка...

И все влиятельные дети перестали смеяться над Феклой и опять начали смеяться над Суламифью. А Аннушка, за которой Суламифь подследила, сказала:

— Юдише швейн это по-немецки "еврейская свинья".

— Ты, значит, по-немецки умеешь? — спрашивает у Аннушки Костя, которому каждый от своей порции отдавал хлеб, чтоб не бил.

— Могу, — говорит Аннушка, желая угодить, — Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Анна и бабушка идут гулять...

— Фашистка, фашистка! — закричал Костя. — Немка, немка...

И все влиятельные дети закричали:

— Немка, немка... Фашистка, фашистка...

С тех пор особенно сильно стали Суламифь дразнить "еврейкой", а Аннушку "немкой, фашисткой" и оттого, что их обеих дразнили, они друг друга очень возненавидели.

Меж тем Кузьмин куда-то уехал и вернулся озабоченный.

— Немцы близко, — говорит он, — я договорился насчет машин, пора готовиться к эвакуации.

Однако прошел день, другой, машин нет, и стала ясно слышна бомбежка. До сих пор бомбили только станцию, здесь же спокойно было. Вызвал тетю Катечку Кузьмин и говорит:

— Больше оставаться нельзя, будем пешком уходить... Списки детей принесите мне для уничтожения, поскольку немцы ищут еврейских детей...

Тетя Катечка говорит:

— Что ж из-за одной еврейки все будут страдать... Списки уничтожить, потом детей не разыщешь...

Кузьмин говорит:

— Я вам приказываю.

Тетя Катечка говорит:

— Здесь не армия и не фронт, чтоб приказывать.

Тут Кузьмин кулаком, который никогда у него не разжимался, ударил по столу, и тетя Катечка принесла списки.

Велел Кузьмин построить детей в пары и взять друг друга за руки. Аннушка попала в пару с Суламифью, поскольку так получилось и обе они боялись послушаться Кузьмина. Пошли дети по направлению к станции. Но вдруг вдали машины идут от станции.

— Это немецкие машины, — говорит Кузьмин, — я их по фронту помню... Давайте менять маршрут, идти будем в глухие села.

Долго шли. Детей поменьше Кузьмин и тетя Катечка несли на руках. Понесут сначала одного, потом другого и так дошли к селу Брусяны.

В село Брусяны обычно съезжались из окрестных сел на базар. И сегодня как раз был базарный день. Обрадовался Кузьмин, выяснил, что немцев здесь нет, выстроил детей в одну шеренгу на базарной площади среди телег и говорит:

— Товарищи крестьяне... Тут перед вами братья и сестры по детдому. Просьба к вам, разберите де-

тей, какой ребенок кому по нраву, иначе они погибнут.

И подошли крестьяне и начали детей осматривать и разбирать. Сперва самых крепких и бойких, поскольку по дому подсобление, в работе использовать можно. Потом, как мелочь одна осталась или хилые, уж просто кто кому понравится. Когда забирала Глашеньку, она очень просила хозяйку, чтоб Суламифь тоже взяла. Однако хозяйка видела, что Суламифь еврейка, и не взяла ее. Заплакала Глашенька, обняла Суламифь и сказала, что никогда ее не забудет. А Суламифь не о Глашеньке сейчас думала, беспокоилась она, кто же ее возьмет. Уж почти всех детей разобрали. Осталась только Суламифь, осталась Аннушка и остался маленький слабенький мальчик, и при них остался Кузьмин, поскольку тетя Катечка, всех своих любимых влиятельных детей раздавшая в хорошие руки и успокоившись, сама нанялась в работницы к какому-то старику-крестьянину. Да и хороших рук оставалось все меньше, одна рвань уже вокруг вертелась, может, сама бездомная и из одного любопытства. Вдруг видит Аннушка, идет к ней приемная мать, о которой любой сирота мечтать может. Одета чисто, глаза добрые, крестьянский платок аккуратно повязан. Иная родная мать хуже. Думает Аннушка: "Это ко мне. Мальчика не возьмут, он хилый и невзрачный, а Суламифь — еврейка". Подходит приемная мать вплотную, смотрит на детей, потом вдруг снимает с себя медный нательный крестик и надевает его Суламифи на шею. Обняла Суламифь добрую мать свою, которая ее выбрала.

— Мамочка, — говорит, — спасибо, что вы меня взяли в дети...

И защемило сердце у Аннушки от ревности и тоски. Материнскую любовь родной матери отняла

у Аннушки болезнь, а материнскую любовь приемной матери отняла у Аннушки еврейка, которая подследила за Аннушкой в детдоме во время слез по умершей матери и придумала ей обидную дразнилку. Сильно щемило у Аннушки сердце, тот же, кто в своих горестях сохраняет практичный рассудок детства, способен на большие злодеяния. И пожелала Аннушка смерти Суламифи, чтоб ей, Аннушке, досталась добрая приемная мать.

Но трудного ли она пожелала? Трудно ли добиться смерти еврейской девочки в 1942 году при немецкой власти? Стоило лишь только Аннушке от души пожелать, мигом явилась на базарной площади села Брусяны немецкая власть. И узнала в одном властелине Аннушка дядю Ганса, который давал ей хлеб и гороховый концентрат, поскольку славяне не подлежали пока полностью искоренению.

— Дядя Ганс, — радостно крикнула она, — Анна мит гроссфатер гейен шпацирен... Фогель — птица, хунд — собака...

Дядя Ганс тоже узнал в Аннушке девочку, у которой жил в Ржеве и узнал в Суламифи еврейку, которой, согласно последним немецким правилам жизни на данной планете, не следовало жить нигде. Немецкая национальная машина работала четко и дифференцированно. Кузьмина увели в лагерь для пленных, крестьянку ударили прикладом и разбили ей в кровь лицо, Суламифь вывели из зоны, отведенной для славянской расы села Брусяны, отняли у нее жизнь и бросили тело в канаву, а Аннушку погрузили в товарный вагон, чтоб она в Германии научилась немецкой культуре и немецкому труду.

Все это видел Дан, Аспид, Антихрист, который много ходил по земле кровей, попираемой земле, и в тот день оказался на базарной площади села Брусяны. Видел Дан, Антихрист и свежую кровь, видел

и прошлогодние сухие кости. И за два года поседел Антихрист, еврейский юноша из колена Данова. Не как исполнитель он был послан, но лишь как свидетель Господен...

Он шел среди безропотных и среди возмущенных, среди в плаче скучающих заранее по жизни, из которой их гнали, и тех, кому еще до смерти посчастливилось забыть жизнь. Но раз под Минском он шел рядом с неким из колена Ефремова, ибо он знал, кто из какого колена, хоть они сами не знали. И сказал некто, человек ученый и философ, идущий к могиле со стыдом и торопливо:

— Надо бы давно уйти нашему народу, ибо мы подобны наглому гостю, засидевшемуся в доме у иных народов, гостю, которого теперь силой и с позором выставляют за дверь... Дурной мы народ, евреи, и я сам себе мерзок...

Огляделся Дан, Аспид, Антихрист вокруг и верно, не много увидел он праведных лиц среди народа своего, идущего вон отсюда к могиле... Эта прелюбодействовала, этот обижал сироту, этот был скуп и ел поедом близких, этот грязно философствовал, этот лживо молился, эта предала, этот отрекся... И сказал Дан, Аспид, Антихрист:

— Кто же изгоняет нас и откуда изгоняет? Может, Господь изгоняет нас из Эдема? Может, святые ангелы изгоняют нас с неба? Нет, нас грешных изгоняют падшие грешники из падшего мира... Оглянитесь вокруг. Прелюбодеяние ли грех в этом падшем мире? Предательство грех ли? Грязная философия? Лживая молитва? В междоусобицах убивали мы своих пророков от Иеремии до Иисуса, но это ли редкость для падшего мира? Сколько кровавых наветов, сколько злобных легенд можно сочинить о иных нациях, избивавших в междоусобицах своих праведников. Какая же особая вина нам вменяется?

Почему гонят нас всем народом за дверь из этого падшего, но обжитого мира, обобрав и оставив все лучшее наше себе? А в мире ином пойдя, обжившись, обзаведись там сызнова исторической судьбой и прочим имуществом.

Отвечал Господь посланцу своему Антихристу осенним днем возле города Минска, на краю противотанкового рва, залитого кровью всех двенадцати колен Израилевых:

— Есть особая вина ваша, которая вам вменяется, и это вина единственно подлинная в падшем, но обжитом мире, и только этой виной вы отличны от иных народов и за эту вину терпите наказание, а иной вины, отличной от других народов, нет на вас... Только одна подлинная вина... Имя этой вины — Беззащитность... Только этим вы виновны перед другими народами и только в этом ваш грех передо Мной. Но пока есть на вас эта особая вина перед миром и грех передо Мной, прощу Я вам все грехи ваши. Когда же искупите эту страшную вину, тогда взыщу с вас и за другие грехи. С гонителей же ваших, через которых наказываю вас, взыщу всемерно, до конца взыщу, ибо никогда Господня кара не совершается через праведников, а всегда через страшных нечестивцев.

И сказал Дан, Аспид, Антихрист через пророка Иеремию народу своему:

— Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь. Я тебя не истреблю, а только накажу. Не наказанным же не оставлю тебя.

После этого вернулся опять Антихрист в город Ржев, куда был послан ранее к нечестивой мученице Аннушке от малолетней доброй блудницы Марии, потерявшей брата и родившей в тюремной больнице Антихриста в честь этого брата, первенца Антихристовя Васю... Не застав Аннушку в городе

Ржеве, отправился Антихрист в село Брюсяны, где Аннушка погубила Суламифь из колена Манассии, Суламифь, которой не суждено было войти в Остаток и дать Отрасль...

Сказано у пророка Исайи: "Ибо, хотя бы народа у тебя, Израиль, было столько, сколько песку морского, только остаток его обратится, истребление определено избыливающей правдою".

Изобилие правды было в этом истреблении, и совершалось оно за страшную вину народа перед миром — Беззащитность. Истребляющие же, семикратно повторяя ассирийскую надменность, говорили:

— Силой руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен. Переставляю пределы народов и расхищаю сокровища их.

Ответил Антихрист в себе, через пророка Исайю:

— Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ею, — и сказал Дан, Антихрист, — за страшное нечестие ваше избрал вас Господь орудием кары для народа своего за вину его. Есть нечестивые народы, а есть нечестивая земля. Нечестивые народы, уходя, уносят свое проклятие, и очищается земля. Но проклятая земля неподвижна, и все, что исходит из нее, проклято во век. Не останется от народа проклятой земли ни остатка, ни отрасли, как не осталось отрасли от Вавилона, который был всемерно менее грешен. Сказано в книге пророка Иеремии: "Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были придти на Вавилон, все сии речи написаны на Вавилон".

Господь посылает Христа среди грешных народов для благословения и Антихриста для проклятия, и великих пророков для толкования дел Господних, но ни Христу, ни Антихристу, ни избранным из пророков не дано вступить на нечистую землю. Потому и Иеремия не сам понес книгу проклятия в Вави-

лон, а передал ее угоняемым в рабство. ”И сказал Иеремия Сераии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи и скажи: Господи! Ты изрек о месте сем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечною пустынею. И когда окончишь чтение сей книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое Я наведу на него и они совершенно изнемогут”.

Дан, Аспид, Антихрист знал, что ему надлежит проклясть, а как и когда совершится проклятие, о том знает лишь Господь. Но чтобы совершить обряд проклятия, Антихристу нужен грешник, которого в муках угоняют в рабство, ибо Антихристу, посланцу Господа, как и Христу, не дано вступить на нечистую землю. Знал Дан, Аспид, Антихрист, что среди народа его много нечестивцев и грешников, однако властелины из нечистой земли, взявшиеся распределять вместо Господа земные блага, рабство считали слишком лакомым куском для еврея, ибо в рабстве можно спать в хлеву и есть отбросы, тем добывая для себя свою жизнь. А это противоречило указанию любимца арийской расы Мартина Бормана, одного из высших богов немецко-нацистского язычества: ”Славяне будут в этом мире рабами арийцев, а евреи — это животные, не имеющие права на существование”. Потому Антихрист должен был искать страдающих нечестивцев среди других наций, для которых блага немецкого рабства были доступны.

Вышел Дан, Аспид, Антихрист из села Брусяны и пошел он к станции, где в товарных вагонах отправляли славян в Германию, для приобщения к немецкой культуре и к немецкому труду.

День был истинно северный, пушкинский ”мороз и солнце”, богатый день, сверкающий. Всякий, кто

сомневается еще в бездуховности природы, мог в тот день убедиться, что природа красивая, но неверная жена для человека. В радости и удаче она готова расточать ему свои красоты и ласки, но в беде она тут же покидает его, к убицам у кровавых могил льнет она, равнодушно взирая на остывающие трупы тех, кого еще недавно ублажала зеленью своей травы, пряным запахом осенней листвы и хвойным снежным воздухом... Убицам достаются красота, щедрость, ласки и наслаждения природой, как добыча от погубленных, но Господь не может достаться убицам. Потому Авраам Зачинатель поклонялся лишь Господу, но не звездам, уводящим в трясину фатализма, не солнцу, пробуждающему красоту материальную, не луне, пробуждающей красоту мистическую, не временной молодости растений, не вечной старости камней, не бесконечному небу, не равнодушной воде. Ночью в видении сказал Господь Аврааму:

— Не бойся, Авраам, Я твой щит, награда твоя будет весьма велика...

С тех пор верил Авраам Господу, но не поверил он Господней природе подобно тому, как верили ей язычники, ибо известно, что Господь — в природе, но Господь не есть природа. Как и человека, обурекает природу гордыня, как человек, восстает она временами против Отца своего и бывает нечестива в уродстве ли своем, в красоте ли своей...

Так нечестива была сейчас природа вблизи села Брусяны над попираемым трупом еврейской девочки Суламифи из колена Манассии, которой не суждено было принять семя в неостывшее еще лоно, через лоно свое войти в Остаток и дать Отрасль... Вдали над заснеженным сверкающим лесом в непередаваемом великолепии покоилось на свежем северном небе чистое морозное солнце, и если лучи

летнего, особенно южного солнца имеют телесность от жара, в них заключенного, а значит, не совсем чисты, то северные лучи предельно невесомы и чисты до призрачности. Не от этой ли морозной чистоты ледяная тихая кошмарность в нордических страстях?.. И вот среди этого ледяного сияния, среди сверкающей солнечной невесомости лежала в канаве Суламифь из колена Манассии, вмерзшая в собственную кровь, в кровь, переданную в ее жилы через много поколений от самого Авраама, заключившего союз с Господом. Не надолго задержался над попираемым трупом Суламифи из колена Манассии Антихрист, ибо Суламифь еще не остыла, еще память о ней свежа была, еще ясно помнила о ней добрая крестьянка, лежа теперь с разбитым немецким прикладом лицом на своей печи, плакала она, причитала, и Аннушка, от детских противоречий своих пожелавшая смерти Суламифи, тоже помнила о ней в товарном вагоне, но не с тоской, как избитая крестьянка, а со страхом, как помнила она первое время и брата Вовочку, умершего в городе Ржеве от грозы.

Знал великую заповедь библейскую Дан, Антихрист — пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Пока свежая еще, не остывшая еще, телесная еще память о мертвых, пока не похоронят пристойно эту память другие мертвецы, можно лишь вспоминать умершего, но нельзя говорить о нем, ибо он еще людской, а не Божий.

Прошел мимо убитой Суламифи Антихрист со спокойной печалью, как проходят мимо чужого, не родного тебе гроба. Вышел он далеко за село Брусяны, где так же нечестив был и бунтовал против чувств Господних этот солнечный морозный день русского севера. Видит Антихрист — много человеческих костей. Это были те, кого убили здесь в прошлом году в гранитных карьерах и кого успели уже

захоронить другие мертвецы. Но и в поле немало костей, ибо собрали здесь со многих мест: и из города Ржева, и из Погорелого Городища, и из Зубцова — и привезли на платформах по узкой колее, проложенной до войны, от станции к гранитным карьерам. Чтобы много расстрелять здесь, по крохам отовсюду собирали, и все ж это не были обильные южные расстрелы... Но в северном этом расстреле, где по крохам собрали, была своя окончательная, добросовестная неумолимость. К тому времени уже был издан секретный немецкий циркуляр о неудовлетворительной работе айнзацгрупп. "Сами по себе многочисленные расстрелы евреев не вызывали бы возражений, если бы при их подготовке и осуществлении не допускались технические недосмотры. Некоторые, например, оставляют непогребенные трупы прямо на месте расстрела". Циркуляр этот имел № 25 и дату 25 июля 1941 года. Ныне же была зима 1942 года, однако нарушения и технический брак в работе не были еще искоренены. Именно такой немецкий технический брак и предстал в поле у села Брусяны перед Даном, Антихристом.

Огляделся Антихрист, и вдруг чувствует он у себя на плече руку Господа, и случилось с ним то же, что и с пророком изгнания Иезекиилем, и беседовал он, как и Иезекииль, с Господом.

"Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно полно костей. И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! Оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: "Кости сухие! Слушайте слово Господне". Так говорит Господь Бог костям сим: "Вот Я введу дух в вас и оживете. И обложу

вас жилами и выращу на вас плоть и покрою вас кожей и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь”.

Видит Антихрист, как в заснеженном поле стали сближаться кости друг к другу, и каждая кость, хоть и была далеко отброшена, нашла свою, и шум начался, и вот жилы на них и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, и приняло все это облик толпы недавно захороненных мертвецов, стоявших под веселым северным солнцем, точно печальные истуканы. Ибо известно, что когда живому является злой мертвец и желает надсмеяться над живым, то первым делом он пускается в пляс, поскольку пляска мертвецов особенно страшна живым. Тут же было другое, и эти мертвецы-мученики были печальны и стояли неподвижно, как лежала неподвижно неподалеку в канаве, вмерзнув в собственную кровь, еврейская девочка Суламифь, попираемый труп, непогребенный в нарушение немецкой санитарной инструкции.

Тогда сказал Дану, Аспиду, Антихристу Господь через пророка Иезекииля:

— Изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут.

И подобно пророку Иезекиилю изрек пророчество Дан, Аспид, Антихрист, и ожили мертвые, весьма и весьма великое полчище. Сказал Господь Дану, Антихристу через пророка Иезекииля:

— Кости сии — весь дом Израилев. Вот они говорят: ”Иссохли кости наши, и погибла надежда наша: мы оторваны от корня”. Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и введу вас в землю Израилеву. И

узнаете, что Я — Господь, когда открою гробы и выведу вас...”

После этого снял с плеча Дана, Аспида, Антихриста руку Господь, ожившие мученики-мертвецы опять рассыпались костями по снежному полю, и стало вечереть, потемнел лес, померкло снежное сияние поля, померкла сатанинская нездоровая красота северного дня. Понял Антихрист, что это знамение ему. Надо спешить к станции, пока не увезли еще в рабство в нечистую землю нечестивую мученицу Аннушку, через руки которой надлежало ему предать проклятию нечестивую землю. Затем и послан был Господом Антихрист в город Ржев после города Керчи к нечестивой девочке — мученице Аннушке после доброй девочки — блудницы Марии...

Когда пришел на станцию Антихрист, был уже вечер, тьма, и фонари, согласно условиям военного времени, горели тускло. По плачу нашел Антихрист среди множества эшелонов, эшелон рабства, хоть плач этот и звучал глухо, поскольку двери товарных вагонов уже были заперты — вот-вот тронется поезд... Неслышно пошел Антихрист мимо эшелона, где перед вагонами стояли немцы, угонявшие в рабство славян. Не потому он шел неслышно, что боялся быть убитым немцами, ибо это для Антихриста недоступно, а потому он шел неслышно, что уже давно мучила его жажда убить немца. Он хотел убить всех, чтобы насладиться, однако это было для него слишком большим счастьем, а Антихрист знал, что слишком большого счастья на этом свете не бывает. Поэтому он мечтал о малом счастье — убить хотя бы одного. Но не может посланец Господа опередить помыслы Господни. Знал Антихрист, что не одобрил Господь пророка Елисея, покаравшего смертью нечестивых злых детей. Посланцу Господа надлежит исполнить лишь свое. Потому не-

слышно шел Антихрист мимо тех, чьей смерти жаждал.

Видит Антихрист, в одном из вагонов немцы по своей какой-то надобности открыли двери, и битком там людей, главным образом, женщины, но есть и подростки, молодежь... Когда немцы открыли двери, все протиснулось поближе к воздуху, и Аннушка стояла, зажата со всех сторон чужими телами. Вынул Антихрист из своей пастушьей сумки нечистый хлеб изгнания, завещанный пророком Иезекиилем, и начал раздавать его славянам-рабам. Аннушке он дал хлеба, завернутого в бумажный сверток, и сказал:

— Хлеб этот съешь, а бумагу спрячь у себя в одежде. И когда приедешь ты в землю нечистую, прочти, что в бумаге написано, потом привяжи к бумаге камень и брось в реку этой нечистой земли...

Аннушка глянула на подавшего ей хлеб и вдруг узнала в нем того, кто приходил до войны в Ржеве в их жилище, в бывшую церковь с целью воровства. Испугалась Аннушка и хотела позвать немца, отошедшего куда-то по своей надобности, ибо кроме немца не было здесь власти. Однако не успела, поскольку женщина, стоявшая с ней рядом с ребенком на руках, вдруг сказала Антихристу:

— Добрый человек, возьми моего ребенка, поскольку я с голоду пропадаю, и хлеба твоего не надолго хватит... Умрет моя девочка на моих глазах...

Протянула женщина Антихристу ребенка, завернутого в красное ватное одеяльце, и, очутившись в чужих руках, заплакал ребенок громко, надрывно. Тут не порядок, который до сего времени происходил незаметно, стал явным. Да что там не порядок, увиденное немцами было нордическому уму непостижимо. Освещенный фонарями немецких патрулей, в самом центре немецкого военного располо-

жения стоял и дышал морозным воздухом неубитый еврей с ребенком на руках, с ребенком, который, если вырастет да залезет в щель, прикроется личиной другой нации, пойдй найди его, чтоб уничтожить... Ибо по доктрине своей, а немецкий упорядоченный мозг верит всегда в идеалистический материализм, по доктрине о разделении рас не могли они предположить, что у еврея на руках славянский ребенок. Азарт охотников соединился в немцах с негодованием чистоплотных хозяев. Наступила взаимная радость. Радостно побежали немцы, чтоб убить еврея, со всех сторон бежали: и от водокачки, и от вокзала, и от соседних эшелонов. С радостью воспринял Дан, Аспид, Антихрист сложившуюся ситуацию. И подумал: "У меня на руках ребенок, который смертен и взять которого мне Господь не воспрепятствовал. Потому простит мне Господь, что я отчасти предвосхищу его замыслы, как простил мне Господь, когда я поставил преткновение перед Павликом, ржевским пролетарием".

И начали немцы падать, хватаясь за животы, прижимая холодеющие ладони к искусанным от внезапной боли губам, исходя кровавыми нечистотами с обеих концов. Вся рота охраны легла на заснеженном перроне, словно под пулеметным огнем, в собственный кровавый понос. И после решения еврейского вопроса в противотанковых рвах Минска, после сухих, занесенных снегом костей под селом Брусяны, глядя на синюшные, искаженные удущьем истинно национальные немецкие лица, понял Дан, Аспид, Антихрист, что такое земное счастье...

Позднее немецкая власть определила отравление роты недоброкачественными консервами, и в дополнение был убит немец, военный интендант. Таким образом, общее количество долихоцефалов еще уменьшилось.

Как известно, долихоцефалия, удлинение черепа, составляет, по немецкой доктрине, признак германца. Аннушка же была типичная брахицефалка, с черепом круглым, славянским, и потому она ухаживала за свиньями в районе Рейнско-Вестфальского сланцевого плоскогорья... Хозяин ее был типичный долихоцефал с германским черепом, что, по его мнению, даже и среди немцев явление не частое и составляет привилегию сельской местности, поскольку в городах сильна примесь темноцветных: западнославянского, романского и, если говорить честно, то и еврейского элемента, что составляет пикантную проблему, поскольку и у самого фюрера — тсс — черные волосы.

Уже гораздо позднее, в послевоенный период, Аннушкин хозяин-долихоцефал утверждал, что он всегда был антинацистом и антигитлеровцем, поскольку в верхушке нацистской партии преобладали круглоголовые брахицефалы, а у Гитлера был не чистогерманский череп, плюс черные волосы. Однако в те времена, когда Аннушка работала у этого хозяина, он прятал свой внутренний бунт далеко от гестапо и старался обеспечить немецкий национальный стол разнообразными свиными блюдами, в том числе и свиными ножками с кислой капустой... Выращивание свиней и выращивание капусты — занятие трудоемкое, и Аннушка, не привыкшая к немецкому труду, о котором ей рассказывал добрый дядя Ганс, сильно уставала, тем более, что капуста еще иногда доставалась к обеду, но свинина — никогда. И остальные брахицефалы тоже уставали от немецкого труда, а восстановить свои силы немецким обедом не могли.

Тем не менее, местность, в которой они пребывали в рабстве, была красивая. Мягко поднимающиеся холмы чередовались в ней с долинами, и реки об-

разовывали ряд грациозных изгибов среди этих долин. Во многих местах поверхность земли, которую предстояло проклясть, почти сплошь покрыта была лиственными лесами, в которых пели птицы, плодовыми садами, где висели румяные яблоки, груши и сливы, покрыта была виноградными, пшеничными и ячменными полями. За всем этим требовался уход, но не хватало умелых долихоцефалов, взявшихся по велению темноволосого фюрера наводить на Божьей земле немецкий порядок. Поэтому в период созревания плодов сюда и направляли ленивых, запуганных брахицефалов. Люди это были большей частью молодые, встретившие в рабстве свой расцвет, и даже при скудной пище их одолевали желания, особенно среди пахучих, плодоносящих деревьев.

Однажды Аннушка таскала тяжелую плетеную корзину в паре с брахицефалом из Курска. Паренек этот Аннушке нравился. Курносенький такой, сероглазенький и веселые немецкие песенки насвистывал. Аннушка намекнула ему смехом своим по поводу его песенок, что он ей нравится. Когда шли они с пустой корзиной садом от склада, где разгрузили яблоки, курский сероглазый брахицефал позвал Аннушку в кустарник и там вдруг схватил ее крепко, тяжело дыша, точно опять нес полную корзину яблок, повалил на траву и своими коленями разжал Аннушкины колени и губами своими заткнул Аннушке рот. Этим Аннушка повторила судьбу Марии, изнасилованной неподалеку от города Изюма Харьковской области в 1933 году. Однако далее все было иным и для Аннушки, и для ее насильника. Аннушка была изнасилована днем, к вечеру же она пожаловалась о том хозяину, долихоцефалу. Хозяин, долихоцефал, который иногда почитывал Гете, не любил, как он выражался "мистифи-

каций со стороны молодых людей”, тем более, что сам он был полупарализован и питал отвращение к подобным занятиям. Поэтому он велел примерно наказать курского брахицефала, и того избили в полицейском участке. Но поскольку у одного полицейского на ногах были чрезмерно тяжелые сапоги свиной кожи с железными подковами, избили несколько более, чем требовалось для справедливости, и курский брахицефал умер. Тогда хозяина, долихоцефала, который, как известно, почитывал Гете, начали одолевать сомнения, тем более, что с рабочей силой было тяжело, и вообще 1944-й год был для немецкого сельского хозяйства нелегким. Хозяину жалко стало хорошего работника, каким был курский брахицефал, и, разозлившись на Аннушку, которая сумела подбить его, хозяина, на несправедливость по отношению к хорошему работнику, начал Аннушку наказывать, послал ее на самые трудные работы в свинарник, велел бить за всякие провинности, дурно кормил по сравнению даже с голодным пайком остальных брахицефалов, обвинил в разврате, и поскольку Аннушка была в полной его власти, то к осени 44-го года, месяц спустя, она уже имела тот вид, какой имели русские военнопленные на торфяных разработках, где их хоронили в болотистой почве, куда, кстати, отвозили хоронить всех умерших или погибших брахицефалов. Аннушка знала, что туда отвезли и курносого сероглазого парня, изнасиловавшего ее в кустарнике.

Как-то лежала Аннушка на своем тряпье после особенно тяжелого дня, поскольку была у нее лихорадка, а в лихорадке трудно нести в одиночку, прижав к животу, тяжелый чан со свиным кормом, и она надорвалась. Уже уснули, лишь изредка похрюкивая за перегородкой, свиньи, а Аннушка все не могла согреться, чтоб заснуть. Обхватила она рука-

ми своими костлявые колени, прижала их к ноющему животу, чтоб было теплее, и в подобном виде ощутила она вдруг лоно свое и вспомнила курского парня, изнасиловавшего ее.

Так, после первой казни Господней — меча, после второй казни — голода, после четвертой казни — болезни пришла к ней и третья казнь — зверь-похоть — прелюбодеяние, единственная, которая ее пока щадила. И пришла в неожиданное и неподобающее время. Вспомнила Аннушка курского парня или приснился он ей, но приснился в ином виде, при жизни матери и в присутствии Митьки-Ивана. Вроде бы всюду этот курский сероглазый парень с ней. И в деревне Нефедово рядом сидит с ней на сонном, ласковом утреннем солнце перед избой... Аннушка при том дремлет в одной рубашечке и приятно ей... И по адресу: город Ржев, третий участок, третий барак, комната № 9 этот паренек тоже рядом и играет в бабки с братом Аннушки Иваном, прозванным Митей... И по адресу: улица Трудовая 61, в бывшей церкви, отданной под жилье стахановцам, этот курский парень тоже живет и ходит с Аннушкой гулять на кладбище, где похоронен братик Вовочка. Только на кладбище деревья побольше и ухожены они получше, как в немецком саду ухожены. Много пахучих деревьев и винограда, но есть и ягоды, которые под деревней Нефедово растут в лесу... Пошла Аннушка с курским паренюком ягоды собирать, зашли они в кусты, и вдруг схватил он Аннушку, повалил без особого труда, поскольку Аннушка сама поддалась, сильно охватила Аннушка руками свои колени, прижала их к животу, и стало ей тепло и приятно... Однако вдруг говорят Аннушке: мать твоя по фамилии Емельянова умерла 7 октября 1942 года... Тут же дождь начался, гроза. Забыла Аннушка о пережитом с курским парнем счастье,

побежала из последних сил, чтоб без нее мать похоронить не успели. Прибегает к баракам, а там воды полно, не пройдешь, и гроб с телом матери во дворе под дождем стоит. Видит Аннушка, соседи по бараку, которых она всех помнит, подходят к гробу, чтоб поднять его и унести на кладбище. Кричит Аннушка:

— Вот я... Емельянова я... Дочь...

Но голоса ее издали не слышат, перейти же через воду Аннушка не может. Наклонились соседи к гробу, чтоб унести его, вдруг Аннушкина мать поднимается, садится и говорит:

— Подождите, я кое-что сказать хочу...

Эти слова матери Аннушка ясно слышит, а что далее она говорит, самую суть Аннушка не слышит, поскольку вода мешает ей близко подойти, шумит вода... Чужие люди, соседи, слышат, родная же дочь не слышит. Тогда прямо по воде побежала Аннушка, по пояс была вода, потом к горлу подступила, а помощи нет ни от кого... И все ж выбралась Аннушка, подбегает она к гробу, но мать уже говорить кончила и опять намертво улеглась, как ранее лежала. Подняли соседи гроб, понесли его... Заплакала Аннушка, и с плачем этим проснулась она в немецком хлеву у дощатой перегородки, где похрюкивали свиньи...

Дождь шумел по черепичной крыше, однако нигде не дуло, поскольку немецкий свинарник отличается от русского свинарника большей чистотой и хорошей утепленностью... Не от внешнего, а от внутреннего холода дрожала Аннушка, не от ветра, а от лихорадки. Во сне громко плакала Аннушка, поскольку во сне была она дома, и плакать ей никто запретить не мог, но наяву плакала Аннушка тихо, поскольку наяву была она в немецком рабстве. Это был тот самый Божий плач от сердца, ко-

торым Господь изредка награждает неразумных и которым в поле у станции Андреевка в 1933 году плакала Мария, малолетняя блудница. Через этот Божий плач возвысилась тогда Мария, без слов прочла она наставление Господа и без разума поняла то, что дано было через разум пророку Исайе.

— Как утешает кого-либо мать его, так утешу я вас... И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут как молодая зелень.

Когда услышала Аннушка без слов это наставление Господа и поняла его без разума, вышла она из утепленного немецкого свинарника под дождь и пошла тропкой по нечестивой земле, которую ей надлежало проклясть. Пока шла Аннушка, дождь кончился, и нечестивая земля, убежденная в своей вечности, наслаждалась германской луной, при виде которой жестокие немецкие сердца пролили столько нежных слез...

Невысокие, однообразные немецкие горы поднимаются кое-где с присохшей к ним вулканической магмой, среди гор этих холодные влажные пастбища... На северо-востоке от реки сплошной лес... Сама река в живописной долине течет среди скалистых берегов, спят по берегам чистые, крытые черепицей средневековые селения... И все это будет проклято Господом через посланца своего Дана, Аспида, Антихриста, и исполнить проклятие суждено Аннушке Емельяновой из города Ржева, нечестивой мученице, угнанной в рабство. Подошла Аннушка к самому берегу, уселась на поросший мхом камень и вытащила из подкладки бумаги, которые дал ей Антихрист и о которых только этой ночью, проснувшись с Божьим плачем, она вспомнила. Бумаги эти исписаны были на двух языках: на неведомом и непонятном, точно следы на снегу или на песке от птичьих лап, и на привычном, которому ее обучили в

школе. Как ни старалась укрыться в тучи германская луна, а все ж принудили ее небесные силы светить Аннушке, и в добротном немецком свете прочла Аннушка по складам, поскольку уж начала разучиваться в рабстве грамоте, прочла Аннушка проклятие библейских пророков, ныне обращенное против нечестивой земли и нечестивого народа. Проклятиями этими пророки предостерегали свой народ от греха. Но семижды проклят тот, чьей злобой этот грех карается. Ибо для исполнения гнева своего Господь всегда избирает отчаянных злодеев:

”Обращу лицо мое на вас и падете пред врагами вашими и побежите, когда никто не гонится за вами. И небо ваше сделаю как железо, а землю вашу как медь. И уменьшу вас так, что опустеют дороги ваши. И напрасно будет истощаться сила ваша, и земля ваша не даст произрастаний своих, и деревья земли вашей не дадут плодов своих. Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас, десять женщин будут печь хлеб ваш в одной печи, вы будете есть и не будете сыты. Оставшимся из вас пошлю в сердца робость, и шум колеблющейся листвы погонит их”. Вот проклятие из пророка изгнания Иезекииля: ”Я Господь, Я говорю: это придет, и Я сделаю. Не отменю, не пощажу и не помилю. По путям твоим, по делам твоим буду судить тебя. Ужасом сделаю тебя и не будет тебя и будут искать тебя, но уже не найдут тебя вовеки”. Вот проклятие из пророка Исаяи, повторенное потом в Апокалипсисе от Иоанна: ”Небо твое точно свиток книжный свернется над тобой”. И в гневе первый пророк библейский, пастух фекойский Амос, глядя на нечестивую землю, воскликнул и записал в рукописи проклятия, завещанной пророком Иеремией: ”Ненавижу, отвергаю праздники ваши... удали от меня шум песен твоих, — в самом же конце

пророк Амос приписал, — пусть как вода течет суд и правда — как сильный поток...”

На этом окончила чтение рукописи проклятия Аннушка Емельянова. Царский постельничий Сераия окончил перед рассветом чтение рукописи проклятия на Вавилон, и Аннушка окончила чтение рукописи проклятия перед рассветом, когда пора уже было назад, в немецкий свинарник, таскать тяжелые чаны со свиным кормом, дабы не быть побитой за опоздание и нерадивость. Потому торопливо нашла Аннушка на берегу камень, оторвала от платья своего лоскут и, привязав этот камень к рукописи проклятия, бросила рукопись в воду национальной немецкой реки.

Ненависть как постоянное чувство слишком иссушает душу, но постоянная неприязнь к немцу, к немецкому отныне должна была стать национальной чертой Господнего народа, в предостережение иным историческим врагам, менее умелым. И если нынешние и близлежащие поколения уйдя унесут с собой эту неприязнь, то уж недоверие должно остаться навек; то разумное национальное недоверие, которое, по мере возможности, делает ненависть как постоянное чувство ненужной, неповоротливой и грубой формой национальной самозащиты. Национально-мистический гуманизм нацистов обожествлял нордического человека и использовал его как меру всех вещей. Расовая и иерархическая лестница вела от нордического человека вниз, и на нижней ступеньке стоял обезчеловеченный, отлученный от гуманизма еврей. И это естественно. Евреи как люди так же дурны, как все иное человечество. Но как историческое образование, как библейское явление, это народ близкий Богу, а человек по сути своей ненавидит Бога, поэтому он ненавидит и евреев и поэтому многие евреи как люди ненавидят себя и

свою библейскую судьбу. Это так важно, что хочется повторить это еще раз несколькими иными словами. Конечно, еврей как человек так же дурачлив, как и все люди, но еврей как еврей есть, согласно Библии, часть народа Божия, а поскольку человек — враг Бога и чтоб верить в Бога, ему надо преодолеть свою, проклятую Богом, человеческую природу, и лишь немногим это удастся, то его ненависть к еврею вполне естественна. И чем далее на нынешнем своем историческом развитии тот или иной народ от Бога, тем сильнее ненависть, тем естественнее антисемитизм как национальный признак. Да и сама многовековая судьба еврейского народа показывает человеку, что он, человек, не есть на земле хозяин, а лишь Божий работник и скиталец. И от этого народы, особенно большие, сильные, воображающие Божий виноградник своим собственным и отвергающие евангельскую притчу о виноградарях, ненавидят еврейский народ, своей судьбой постоянно, хоть часто и бессознательно, надсмеающийся над людскими притязаниями быть хозяевами Божьего виноградника. И так же, как в евангельской притче нерадивые работники постоянно убивали посланцев Господа, напоминавших им об обязанностях перед подлинным Хозяином Виноградника, так же на протяжении веков часто пытались решить и еврейский вопрос. Но немец сделал это дело основой своей государственной идеи в переломный момент своей исторической судьбы и во имя исполнения своего исторического долга перед человечеством. Ибо как сказано уже, большинство людей ненавидят Бога тайно ли, явно ли. Они ненавидят его за то, что тот силен, а человек слаб, за то, что тот бессмертен, а человек недолговечен. И в молитвах своих они больше кланчат, чем славят, и в мифах своих они прославляют таких титанов, как

Прометей, Божий враг и людской мученик, страдалец за людей. Только немногие люди любят Бога, и потому немец в окончательном научном решении еврейского вопроса, выступал от имени большинства, которое согласно евангельской притче стремится стать хозяевами Божьего Виноградника, а не его работниками...

Как только узнал Господь, что свершила Аннушка Емельянова из Ржева проклятие за три дня до своей смерти от лихорадки, позвал Он посланца Божьего Антихриста и говорит:

— Иди в город Бор на Волгу и живи там, пока не понадобится...

— Господи, — отвечает Антихрист, — не один я теперь... Славянское дитя при мне, девочка, которую попросила меня мать спасти... Матери уж нет в живых, умерла она в товарном вагоне по дороге в немецкое рабство...

— Иди с дитем, — говорит Господь.

Так пошел Дан, Аспид, Антихрист со славянской девочкой в город Бор на Волге. Девочке этой, приемной дочери своей Антихрист дал имя Руфь, по имени моавитянки, приставшей к народу его у Вифлеема, не зная, что деревенское имя у нее иное, и названа она была в деревне по-гречески — Пелагея... Ибо и Антихристу не все дано знать. Даже то, что Антихристу предстояло на сей раз, не знал он. Скрыл это от него Господь... Знал он только, что в городе Бор на Волге живет Вера Копосова с двумя дочерьми, старшей Тасей и младшей Устей. Муж Веры Андрей ныне на фронте, однако скоро должен был возвратиться к семье, поскольку кончилась первая казнь Господня от меча. Хоть и достоин падший мир казни, однако понимал Господь — не выдержать первой казни слишком долго человеку... Зато вторую казнь — голод человек дольше терпит,

к четвертой казни — болезни — еще умелее приспособляется, а с третьей казнью — зверем-прелюбодеянием — человек и вовсе сжился...

Зная это, послал Господь Аннушке, нечестивой мученице перед смертью награду, удовольствие за совершенное ею проклятие — счастливый сон, и из этого счастливого сна не вернулась уже Аннушка к злему, не Божьему, бытию своему. Опять в том счастливом сне схватил Аннушку курский парень, повалил на теплую землю возле избы в деревне Нефедово, где Аннушка когда-то родилась, и добром сотворил он с ней то, что от испуга сотворил он с Аннушкой насилием в немецком рабстве.

Когда на рассвете другие работники-брахицефалы услышали предсмертные Аннушкины стоны и подошли поближе, то увидели на лице Аннушки счастливую неразумную страсть, какая возможна лишь в разгар брачной ночи. Такие случаи известны, описаны в медицине, и так иногда умирают от лихорадки в юные годы, когда измученное тело уносит с собой нерастраченные страсти.

III



Для того, чтобы принудить человека совершать необходимое, нужна чрезмерность. Чтобы существовало обычное, нужно стремление к великому. Но чтобы человек понял великое, нужно это великое унижить... В городе Бор Горьковской области, бывшей Нижегородской губернии свершилась эта чрезмерность, меченая Господом и униженная через третью казнь Господа — дикого зверя-прелюбодеяние... Жила в городе Бор семья Копосовых: отец — Андрей Копосов, мать — Вера Копосова и дочери их Тася и Устя... И вот в какую притчу сложилась их жизнь...

ПРИТЧА О ПРЕЛЮБОДЕЯНИИ

Был 1948 год, время, когда все уже миновало. Миновали тяжелые военные страдания, миновали и светлые послевоенные радости. Это представление, что все уже позади, придавало тогда что-то старческое, степенное и чувствам и облику. Даже надежды на будущее были какие-то старческие, все тогда стремилось достичь довоенного, ибо военные разрушения вынудили мечтать о небогатом довоенном прошлом, как о богатом послевоенном будущем. Если в государственных планах о том было прямо указано, то в человеческих душах это стремление в своем будущем достичь прошлого, конечно, не было ясно спланировано, однако оно существовало и угнетало, ибо душа человеческая — не разрушенный завод и не пониженное, по сравнению с довоенным, производство тракторов.

Впрочем, в войну город Бор был тылом, хоть и тылом недалеким, однако разрушений в нем не было и гибели мирных жителей не было, в остальном он полной мерой хлебнул ото всех четырех казней Господних. Немало было похоронных вестей, немало голода, немало болезней, немало и прелюбодеяний у оставленных женщин и подросшей молодежи. Славянская лихость тоже тут свое сказала. Махнет

иная рукой на чужие упреки или на собственную совесть, как на надоедливую собачонку.

— А, война все спишет...

Однако Вера Копосова дождалась мужа и была верна ему. Трудилась на швейной фабрике, шила солдатские телогрейки, солдатские ватные штаны и на свои заработки и на денежный аттестат мужа растила дочерей — Тасю и Устю... Бывали случаи, приставали к Вере. Пристал к ней как-то даже сам Павлов, на которого и верные мужьям жены невольно поглядывали, что уж о тех говорить, которые решились вкусить наслаждений и не хотели себе более отказать. "Что раз, что десять... Война все спишет... Они-то там не теряются..."

Павлов этот был инвалид войны, но без внешнего увечья, с руками и ногами и со скрытыми под одеждой ранами. Лицом же был красив, глазами голубыми завораживал, усиками тоненькими возбуждал... Видела Вера, торопливо шли с ним всегда по улице женщины, быстрее хотели к себе затащить... А Павлов по матросской привычке ничем не брезговал: ни несмышленной девочкой, которую соблазнил, ни сорокалетней вдовой, которая его соблазнила... Но к Вере Павлов пристал не от того, что всякой женщиной готов был попользоваться, а оттого, что Вера была красивая, и даже война не сумела ее сильно состарить... Не сам по себе пристал к Вере Павлов, как приставал он обычно к женщинам, а с гостинцами — платочком шелковым и свиной тушенкой в количестве двух банок, полученных, кстати, от сорокалетней вдовы, работника общепита.

— Вот, — говорит, — тебе... В часы досуга вспомни друга...

Случилось это вечером на улице Державина, неподалеку от дома № 2, где Вера проживала. И до войны фонари там не густо светили, а в войну вовсе

темно. Тьма, как известно, мужчину возбуждает, и захотел Павлов воспользоваться этой тьмой сполна, тем более, что лето было и неподалеку располагался заросший травой пустырь, где пригородные козы днем паслись.

Тогда, в войну, не в моде было давать настойчивому насильнику пощечину, и потому ударила Павлова Вера кулаком в нос, не по-женски это получилось, и может, это отсутствие женского отбило у Павлова охоту повторить попытку. Только обругал он Веру матерно курвой, прижал к носу платок и ушел, растратив мужские накопления, к вдове сорока лет, что в его 23 года было даже интереснее. И Вера пошла к себе в дом № 2, и радостная Тася подала ей долгожданный солдатский треугольник — конверт от Андрея... Так в радости и забылось это происшествие... Тася тогда подрастала и становилась все более на мать похожа, Вера начала уже ей и волосы, как себе, в одну косу заплетать. Устя же была еще маленькая. Но к осени 1945 года, когда вернулся с войны Андрей Копосов в орденах и медалях, Устя его уже самостоятельно встретила, не на руках у матери или сестры.

Все в целости застал Андрей Копосов. Жену в целости и без изменений, дочерей в целости и с приятными изменениями и даже деревянный верстак в углу большой комнаты застал в сохранности — и довоенная стружка под ним, умышленно не убранная Верой, как напоминание о муже и отце дочерей. Помнил Андрей, что Тася любила играть этими стружками, теперь видит — и Устя, незнакомая дочь его, тоже играет стружками. И прослезился Андрей от радости. Каких еще удовольствий может пожелать себе солдат, провоевавший четыре года. Так в радостях минул остаток 45 года, в 46-м радость продолжалась, но уже начали замечать голод, в 47-м го-

лод усилился, и начали мечтать о предвоенной сытости, которая тогда сменила голодные годы коллективизации... Чем более уходило времени, тем более мечтали о прошлом предвоенном... В 48-м голод несколько минул, но одновременно минули и последние послевоенные радости и установилось то старческое в чувствах и облике, о котором уже говорилось... Спокойней и скучнее стало жить. На танцплощадке в городском саду заиграли отечественные лирические вальсы, и трофейные немецкие аккордеоны больше не надрывались в низкопоклонстве перед фокстротами запада. Молодежь по-довоенному играла в фанты, но без поцелуев. И даже пьянство, которое испокон веков по славянской традиции было свободным, уличным, ныне в большой степени стало квартирным.

Тася Копосова к тому времени почти в невесты выросла, полностью обрела материнскую довоенную красоту и тяжестью русой косы уже матери не уступала, хоть и мать ей тоже косой своей, из пахучих золотистых волос сплетенной, не уступала. И мать, и дочь были в расцвете. Мать в женском, дочь — в девичьем. Глядя на жену, еще более любил Андрей Копосов дочь, а глядя на дочь еще более тянуло его к жене, к сбереженному для него в войну телу ее.

Однако тут и начинается притча, ради которой, по велению Господа, явился в город Бор Горьковской области Антихрист. Всюду присутствует третья казнь Господня, ибо даже сам Господь не волен отменить ее, как может он отменить самую страшную первую казнь свою — меч, или вторую — голод, или четвертую — болезнь... Третья казнь Господа — прелюбодеяние — тенью следует за человеком, и лишь убрав предмет, можно убрать тень его... Но если везде присутствует третья казнь Господа, то в этой притче она поставлена во главе угла...

Всю войну берегла себя ради мужа Вера, а прожила с ним послевоенный год и невзлюбила... Может, и общее старчество сказалось, общее невысказанное чувство, что все позади — дурное и хорошее. Даже великий человек — раб своего времени, а Вера Копосова тем более была простая женщина, в прошлом очень красивая, сейчас тоже красивая, однако посторонний прохожий на нее б не обязательно оглянулся, как прежде. Оглянулся бы на нее обязательно один лишь Андрей Копосов, если б он был посторонний прохожий. А Вера его невзлюбила. Причем была у Веры к Андрею, мужу своему, чисто женская неприязнь, которой даже не поделишься, и стыдно порядочной женщине рассказать кому-либо...

Андрей, как и до войны, работал в горкомхозе плотником, а вечерами и в выходной день у верстака строгал, делал из дерева квашонки, лагушки для масла растительного, маслобойки, ложки, солонки... В доме хорошо свежей стружкой пахнет. И обе дочери возле отца стружкой играют — младшая Устя и старшая Тася, хоть Тася уже в невесты годилась. Любили дочери отца и звали они его "тятя", как он их обучил... Ибо он был из тех мест, где на отца "тятя" говорят... Наделает во множестве деревянных изделий Андрей и понесет их на местный рынок продавать или даже в Горький ездил... Оттуда муку привозит и прочие продукты. Вера его всегда проводит и встретит, и вкусно накормит, и в квартире приберет, и стирает... А как вечером спать с ним ложится, чувствует, хоть убей, не может... Когда начинается промеж них ночное дело мужа с женой, как будто насилуют ее... Про женское удовольствие, уж шут с ним, но хоть бы не так противно было... Хоть бы полежать в безразличии, пока Андрей мужское свое удовлетворит и уснет... Как

уснет Андрей, всегда старалась Вера на лежанку перебраться к дочерям. Лежанка дочерей была широкой, на троих хватит... И почувствовал Андрей ее женское отвращение к себе, хоть она ему ни разу даже словом не намекала. Но в таком деле слова лишние... Начал Андрей сперва грубить, а потом и бить жену. Первый раз побил, когда вернулся из Горького без муки и других продуктов, однако сильно выпивший.

— Мне, — кричит, — добрые люди рассказали... Ты, курва, здесь в войну с Павловым...

И сказал при дочерях откровенно матерно, что она тут с Павловым в войну делала... И забушевал после этого, как в городе или пригородной слободе выходцы из деревни бушуют.

В деревне, особенно в прежние времена, крестьянин по-иному бушевал, он живое смертным боем бил, а имущество берег, поскольку живое само себя возродить может, а имущество рожать не умеет... Но Андрей по-слободскому бушевал, по пригородному. И Веру за косу потащит, и по посуде пройдет, и лежанку плотницким топором ударит... Был случай, Устю до смерти напугал — гонялся за ней.

— Это от Павлова, — кричит, — я ее убью...

С тех пор, как забушует Андрей, Вера сразу дочерей хватает — и из дома, к соседям ночевать. Была семья хохлов Морозенко по Державина восемь, к которым чаще всего Вера с дочерьми уходила. Правда, верстак свой, которым хлеб и водку зарабатывал, Андрей не трогал, не бил, перед верстаком помнил себя. И перед старшей дочкой Тасей помнил себя. Потому Тася перестала уходить с матерью, когда отец бушевал, а оставалась с ним и успокаивала.

— Прилягте, — говорит, — тятя, выпейте рассольчику, легче станет.

Буян в России всегда горазд плакать, когда дело свое закончит, покалечит кого-либо или убьет. Тогда сердце его сразу распускается от напряжения, ребятеночком становится — пожалейте меня, люди добрые... И жалели. Один знаменитый русский литератор увидел в этом вообще ценнейшее национальное качество. Однако Андрей в присутствии старшей дочери мог и не выполнив дела впасть в умиление подобного рода.

— Ты, — говорит, — моя кровушка, ради тебя я с войны вернулся, а не ради подлой матери твоей. Ради тебя не на смерть убил меня снаряд под городом Корсунь. Ради тебя в Польше мне мина только небольшое ранение причинила, — начинает он Тасе косу расплетать и сплестать. Плачет и целует ей косу. — Такая, — говорит, — коса у твоей матери была, когда мы поженились...

Но в присутствии Веры Тасе никогда пьяного отца успокоить не удавалось. Видит Веру — звереет. И Устенку не любил.

— Это не моя кровь, — кричит. — Это на стороне прижитое...

”О, Господи, — думает Вера, — хотя бы сам на стороне он себе бабу завел... Я б уж как-нибудь ради детей рядом мучилась, только б не трогал меня”. Прислушивалась с надеждой Вера, что соседи говорят. Но хоть неодобрительно они об Андрее отзывались, ни разу не слышала Вера, что кто-либо сказал о его распутстве. И это несмотря на то, что уж давно он с Верой как с женой не жил. Про ее, Веры, распутство были слухи, что она, мол, с Павловым, а про Андрея говорили только, что он пьет и бьет жену, измывается над детьми...

Так и шло время, и привыкли все к такому положению. Андрей привык к тому, что жена у него распутная, Вера — что муж ее пьяница и буян, а сосе-

ди — что семья Копосовых несчастная и непутевая. До того привыкли, что Вера даже приметы знала, когда Андрей сильно забушует, а когда успокоится. Перед новолунием сильно бушует, а в новолуние передышка. Потому молила она Бога, ибо как началась у нее эта адская жизнь, начала она вспоминать Бога, хотя в церковь не ходила, молила Бога, чтоб выходные дни перед новолунием выпадали. Тогда отвозил в Горький Андрей деревянные изделия и выручку там со знакомыми пропивал, на день-другой задерживался. Возвращался он оттуда угрюмый, тихий. Если через какое-то время и начинал буянить, то буянил не беспредельно. Веру пробовал бить, но Устеньку не пугал и имущества не трогал. Одно было у Веры теперь удовольствие, кроме дочерей, конечно. В хороших местах она жила и любила свою родину, город Бор... Место рыбное, грибное, ягодное... Даже и при женской ее беде возможен здесь повод для радости... Замечала она, что Тася последнее время с осуждением на нее поглядывает и к отцу привязывается, зато Устенька, которую отец не любил и не разрешал теперь играть возле верстака стружками, тесней к матери липла. Вера по-прежнему на швейной фабрике работала, шила не солдатские ватники, а хлопчатобумажные, безликие тужурки синего и серого цвета для всеобщего пользования. А как выходной, Вера с Устенькой в лес... Сколько там удовольствий разных. И на вкус можно попробовать удовольствия, и послушать, и посмотреть... Лесным воздухом Вера была вспоена, лесным воздухом Устеньку, свою любимицу, думала вспоить. Недаром же город назывался "Бор", что по-славянски значит — лес... "Тася меня осуждает, — думает Вера, — она отцова дочка, а Устенька — мой единственный родственник теперь..." Однако боялась

она, чтоб Андрей в буйном пьянстве с Устенкой чего не сотворил, как грозил он...

Однажды в воскресенье — начало было зимы, и в лесу особенно пахуче — решила Вера Устенку с собой забрать на лесной воздух, а ее нету... Звала, звала — нету... Кинулась в дом. Андрей у верстака работает, угрюмый, но не пьяный. Тася с ним рядом сидит, стружку подбирает.

— Устю не видели? — с волнением спрашивает Вера.

— Не видели твоей Усти, — угрюмо отвечает Андрей, — не нанялся я за твоими грехами бегать, стелю их.

А Тася говорит:

— Она к старухе Чесноковой пошла.

— Какой еще Чесноковой? — продолжает волноваться Вера.

— Той, у которой евреи живут, — нехорошо улыбается Андрей, — так что может ты не от Павлова, а от еврея ее прижила...

Тут вспомнила Вера, что действительно в тридцатых номерах живет старуха Чеснокова, про которую говорят, что у нее евреи на квартире, отец и дочь...

В городе Бор как при нахождении его в составе Горьковской области, так и при нахождении его в составе Нижегородской губернии по улице Державина и по другим улицам и по иным городам иных областей, прежних губерний, сидели и сидят на завалянках, на скамеечках у маленьких домиков или у подъездов многоэтажных домов часовые нации, корявые корни народа, широкоплечие, крытые до лба пуховыми платками старухи, бывшие роженицы ширококостных сыновей. Крепки их азиатские скулы, кверху подняты ноздри коротких носов, давно уж нет материнской ласки в бесцветных глазах, да и

сентиментальное ли дело — караулить... ”Мы, — говорят они безмолвно одним лишь видом своим скуластым, коротконосым, — мы русские... А вы откель будете?”

Таким образом и стало известно всей улице имени Державина, великого российского поэта, некогда благословившего Пушкина, что у старухи Чесноковой, староверки, проживают евреи, отец лет тридцати и дочь лет восьми. Причем дочь не сразу определишь, приглядеться надо, а по отцу с первого взгляда видно — еврей... Вера тоже о том слышала, однако не придавала тому значения и забыла в горестях. Теперь же подумала об Усте: ”Я ей дам шляться без спросу куда попало, мало что ли и так о нашей семье дурного говорят”.

Старуха Чеснокова жила в маленьком домике одиноко, после двух убитых на фронте сыновей и умершего старика. Про нее сообщалось, то ли она староверка, то ли субботница. Вера ее изредка видела, но не кланялись они друг другу. Приходит Вера к дому номер тридцать по улице Державина, стучит. Отпирает старуха.

— Устя моя у вас? — сердито спрашивает Вера, точно старуха перед ней в чем-то виновата.

А старуха Чеснокова отвечает не в тон ей, наоборот, ласково:

— У нас, милая, у нас... Патефон слушает. Ты проходи...

— Чего мне проходить, — говорит Вера, — позовите Устю, домой пора, — и не выдержала, невольно вырвалось, — нашла себе подружку. Точно среди русских мало подружек...

— Чем же плохая? — говорит Чеснокова, — Руфа девочка с воспитанием, старших почитает, отец у нее не пьющий...

И вдруг, сама почему не знает, захотелось Вере взглянуть на евреев, к которым ее Устенка повадилась. Отряхнула она снег с полушубка.

— Ладно, — говорит и полушубок в передней сняла.

Заходит Вера в комнату, где патефон играет и видит, сидит за столом ее Устя рядом с белесой девочкой, на которую никогда не подумаешь, что еврейка, если б не сказали. А отец девочки уж точно еврей, однако что-то в нем непривычное... В городе Бор евреев нечасто встретишь, хотя в городе Горьком их достаточно. Устя увидела мать, вскакивает и говорит:

— Это мать моя... А это Руфина, подружка моя... А это ее тятя...

Глянула Вера еще раз на "тятю Руфины" и опять понять не может, что ж в этом еврее непривычного... Чем Вера чаще смотрит, тем почему-то страшней ей становится, а чем страшней ей становится, тем сердцу все более сладко...

И верно, Дан, Аспид, Антихрист к тому времени приобрел облик зрелый, и библейские черты его полностью определились. Хоть волосы его тронуты были преждевременной сединой после того, что пришлось ему повидать и исполнить, но на нынешнем земном пути своем он достиг наиболее мужского. Что же такое мужское в Антихристе, не дай Бог знать какой-либо женщине. Нет, не разврат это явный и не разврат это тайный — затворничество, ущемленность. Не сатана в нем соблазняет. Это когда в мужском сила Божия, как в природных явлениях — вот что увидела и почувствовала, но не поняла разумом Вера... А сила, непонятая разумом, всегда особенно страшна. И от женского своего страха стала Вера нехорошо суетлива.

— Что это за музыка у вас такая, — говорит, — мне непонятная.

— Это еврейская пластинка, — отвечает Дан, Аспид, Антихрист.

— Вот как, — говорит Вера и смеется торопливо как-то, как пьяная баба на ярмарке, — а нельзя ли русскую пластинку поставить, поскольку я еврейскому не обучена.

— Можно и русскую, — отвечает Дан, Аспид, Антихрист и поворачивается к дочери, — Руфь, принеси из комода частушки.

Вдруг Руфина, она же Пелагея, хоть это ни ей, ни Антихристу не известно, меняется в лице, и добродушно деревенский облик ее, уроженки села Брусяны под городом Ржевом, приобретает страсть истинно южную, сухую, доступную лишь девочкам рано созревшим.

— Пусть, — говорит Руфина, — Устя ваша убирается, не буду я больше с ней водиться.

Тут старуха Чеснокова всполошилась, начала Руфину ругать:

— Бесстыжая, да чего ж ты перед людьми отца своего позоришь.

И отец, Антихрист, тоже спрашивает, но без крику, тихо и дочери в глаза смотрит:

— Что с тобой, Руфь? — поскольку знал он ее как девочку ласковую, мягкую, добрую. Словно подменили ему ребенка.

Но Руфь вместо ответа повернулась спиной и в соседнюю комнату вышла.

— Ладно, — говорит Устя, — подумаешь, зануда... Я с ней тоже играть не буду больше. Пойдем, ма-маня...

В полной растерянности вышла от старухи Чесноковой Вера следом за дочерью... Чувствует, мало ей было старой беды, новую на дороге подобрала.

И у Антихриста в семье после незваной гостыи тоже многое переменялось. Надо заметить, любил Антихрист приемную дочь свою, как может любить детей своих только тот, кто обучен вековечной любви к Творцу своему Господу. Потому так любят у евреев детей, хоть и не осознают часто причины, поскольку любовь к Творцу у народа Авраама не столько религия, сколько прежде всего национальный инстинкт. С собственными же инстинктами у человека отношения не простые, часто основанные на непонимании, случается, и научно-философском, или на отрицании, конечно, бессильном. Потому среди многочисленных отрицателей Господа евреи выглядят особенно фальшиво, и среди талантливых атеистов евреев мало, а все больше остроумной, ветреной французской сатиры. Еврей-атеист, как правило, или бездарен, или непоследователен. Однако даже те из евреев, что отрицают Господа, в бытовом своем живут Господним, и великий национальный инстинкт любви, которой они обучены через Господа, проявляется в еврейских матерях и отцах, в их религиозной любви к детям своим. Что ж говорить о посланце Господнем, Антихристе, человеке к тому же одиноком? Он полюбил бы всякого ребенка, растратив до конца то немного, что оставалось у него от любви к Господу. Однако дочь он любил несколько более, потратив даже толику от своей любви к Господу, ибо разумный отец всегда чуть-чуть более любит дочь, чем сына. Руфь-Пелагея, конечно, тоже любила такого отца, и дочерняя любовь ее после посещения незваной женщины несколько не уменьшилась, хоть стала более нервной и задумчивой. И менялась теперь Руфь быстро в чувствах своих.

Как-то приходит Руфь из школы веселая, возбужденная.

— Отец, — говорит она Антихристу, — хорошо на улице сегодня, снег такой.

И верно, большие хлопья падали в безветрии тяжело и мягко. Схватила Руфь глубокую тарелку и выскочила во двор снежинки ловить. Потом возвращается, поставила мокрую холодную тарелку на стол и вдруг говорит:

— Отец, где вы меня взяли?

За всю их совместную жизнь никогда Руфь такой вопрос не задавала, а тут задала. Ну, всякий родитель может услышать такой вопрос от своего ребенка, хоть не для всякого ребенка, особенно девочки в подобном возрасте, это остается вопросом.

— Однажды, — отвечает Дан, Аспид, Антихрист дочери своей, — был на улице сильный, сильный мороз, дул сильный ветер. И слышу я, кто-то плачет. Вышел на улицу — никого. А потом опять плачет. Посмотрел вверх — ты на дереве сидишь...

Улыбнулась Руфь, но как-то печально, села к отцу поближе, прижалась к нему и говорит шепотом:

— Эта женщина, которая приходила, это была моя мама...

— Да что ты, Руфь, — говорит Антихрист, — твоя мама в немецком эшелоне умерла... А это Устина мама.

— Нет, — отвечает Руфь, — я пригляделась. У нее глаза как у меня и волосы... Но ты, отец, не бойся... я только тебя люблю, а ее я ненавижу...

— Это тоже нехорошо, — говорит Антихрист, — за что ж ты ее ненавидишь?

— Она на тебя плохо смотрела, — говорит Руфь, — а раньше она добрая была... Помню, как она сбивала масло, стучала бутылкой с молоком в подушку...

С тех пор начал Антихрист тревожно посматривать на дочь и старался ее далеко от себя не отпу-

скасть. Да и она его старалась держаться... Отводил теперь Антихрист дочь в школу и забирал из школы и всюду они ходили вместе к своей взаимной радости.

А у Веры с того дня радости вовсе не стало, даже самой малой. Раньше все ее помыслы и силы уходили на то, чтобы избежать в ночное время мужа, ибо днем она научилась его избегать. Нынче обратилась ее страсть разом и до конца на то, чтоб отдать себя еврею, с ним исторгнуть все залежавшиеся женские силы, ибо она знала, что еще крепка в женском, и даже после двух родов по-прежнему по-девичьи упруг ее живот, по-прежнему сладко в ней то, по чему сохнет и звереет от недоступности муж ее Андрей Копосов. Бил теперь Андрей Веру реже, надоело ему, видать, и чем более он от жены отдалялся, тем больше привязывался к старшей дочери Тасе, привозил с ярмарки гостиницы и любил вечерами в углу своем у верстака, когда не работал, расплетать и заплетать ей косы. Менее буйной стала жизнь Копосовых, но не менее дикой и мучительной... Когда не работала Вера, то ходила сама не зная куда, ибо неподвижной быть ей стало трудно и более всего боялась она телесного покоя, поскольку в покое начиналось главное терзание. Стелила она себе на полу у печи и маялась до трех, до четырех, пока не засыпала коротким предутренним сном.

Раз, в особенно тяжкую ночь ранней весной и перед новолунием решила Вера пойти самой к старухе Чесноковой, однако не могла она без предлога. Утром, собирая Устю в школу, говорит Вера:

— Доченька, ты сходи после уроков к Руфине, а я тебя оттуда приду забрать.

— Еще чего, — говорит Устя, — я больше с Руфиной не вожусь. Сергеевна говорит, что они евреи и что у них денег много.

Сергеевна была скуластая коротконосная старуха, которая караулила по улице Державина возле дома номер семнадцать и оттуда предупреждала всякого своим внешним видом: "Мы русские, а вы откель?"

— Ты чего Сергеевну слушаешь, — говорит сердито Вера, — она старая, Сергеевна. Ты лучше слушай, чему тебя в школе учат.

— А в школе на Руфку тоже такое говорят, — отвечает Устя, — что у нее денег много и что отец у нее космополит.

Тут и Тася слово вставляет.

— Тятя не велит туда ходить.

— Ах вы такие-сякие, — разозлилась Вера, — все тятя да тятя... Мать для вас ничего... Кто вас в войну воспитал, выкормил...

— А тятя нас защищал, — говорит Тася, — у него три ранения и правительственные награды.

— Хоть бы и десять ранений, — в злобе говорит Вера, — кто ж ему право дал так издеваться и бить, и пьянствовать...

— Он от тоски пьянствует, — говорит Тася, — поскольку любит тебя. Вообще, это не при Усте разговор... Иди, Устя, в школу... И нам с тобой, маманя, пора.

Тасю Вера тоже устроила на фабрику ученицей в швейный цех. Как ушла Устя в школу, Вера говорит Тасе:

— Ты чего ж меня перед дитем позоришь? Тебя у меня отец отнял, так и Устю у меня отнять хотите. Теперь хорошая Устя, а раньше — чужая кровь... На стороне прижила... От Павлова...

— Я уже говорила, — отвечает Тася, — это тятя от тоски так. Любит он тебя, маманя.

— Вот что, — все более сердится Вера, — соплива ты еще об этом рассуждать, ты еще пока дочь мне и обязана слушать меня. Разве это по-людски — так к

соседям относиться? Разве ты Сергеевна, старуха?.. Тебя в школе чему учили?.. Тебя дружбе наций учили... Разве ж соседи наши виноваты, что они евреи, разве по доброй воле, сами от себя они евреи?.. Совесть иметь надо. Если вы с отцом Устю туда не пускаете, так сама пойдешь, навестишь... Попросишь у Чесноковой узор для вышивания... Хороший у Чесноковой узор на подушечках для дивана, как я заметила...

— Хорошо, — говорит Тася, — ежели вы, маманя, так хотите, я зайду. А Устю туда посылать не надо, Устя еще дите.

После работы мать и дочь приходят к дому номер тридцать по улице Державина, где Чеснокова живет. Вера стучит в калитку, а Тася, дочь ее, стоит в сторонке. Так и далее Тася все время в сторонке держится и видом своим и действительным поведением. Вера, мать ее, от лихорадочной страсти, от мысли, что увидит того, к кому стремится и днем и ночью, шумная стала, суетливая. А Тася все в сторонке, молчаливая. Увидела Вера квартиранта Чесноковой, еврея, чуть не помутнело у нее в голове, еле на ногах удержалась, пересилила себя и вместо того, чтобы у Чесноковой узор для вышивания подушечек попросить, говорит развязно, точно гулящая она, точно не сберегла себя в войну, когда молодой была, и не жила лишь вестями с фронта от мужа, да дочерьми, иных радостей не признавая, говорит:

— Здрасьте вам... А мы пришли с дочерью патефон послушать, не прогоните? — и смеется без повода, как смеются гулящие.

— Садитесь, — говорит Антихрист, — сейчас Руфь вам русские частушки из комода принесет.

Идет Руфь к комоду и приносит молча русские частушки, только бледная вдруг стала. И старуха

Чеснокова, которая через щелку дверную из своей комнаты подсматривала, вздохнула тяжело.

— Ох, что будет, Господи, пронеси и спаси, — и перекрестилась не шепотью, которой только соль из солонки брать, а двумя перстами, по-людски.

Вера меж тем платочек батистовый из кармашка достает, стул отряхивает и говорит Тасе, стоящей в сторонке:

— Садись, Тася, я тебе от пыли стул отряхнула, а то на тебе платье новое, — и опять сама себя развеселила, засмеялась.

Тася ни в чем матери не перечит, опасаясь новых неловкостей с ее стороны, и садится на стул, покраснев лишь от глупого поведения своей матери. А когда покраснела, красота ее, нежная еще, не измученная жизнью, как у матери, вся в полной мере обнаружилась. Увидел эту нежную красоту ее Дан, Аспид, Антихрист, и странно забилося его сердце, так что он даже удивился своему состоянию. Ибо, будучи посланцем Господа, он знал лишь Божью любовь, любил дочь свою Руфь Божьей любовью, какой отец любит дочь или брат сестру. Но что такое людская любовь, Дан, Аспид, Антихрист на себе не испытал еще, хоть обучен был, конечно, истине — все доброе у людей есть Божье, униженное для людского постижения... Поскольку лишь грехи человеку по мерке его. Значит, и любовь людская есть унижение Божьей любви. Причем, если Божья любовь от вечности — широка, покойна, крепка и неизменна, — то людская любовь от мгновения: то ролива, нервна, удивительна и красочна.

Посмотрела на Дана, Аспида, Антихриста Тася, увидела его библейский облик и тоже ощутила биение своего сердца и не удивилась этому, хоть подобное с ней тоже случалось впервые... Девичьей наивности всегда свойственна в любви ясность. Так и си-

дят они: Антихрист встревожен и удивлен своим состоянием, Тася встревожена и не удивлена своим состоянием, Руфь не по-детски бледна, старуха Чеснокова у себя в комнате возле дверной щелки вздыхает на табурете, крестится по-староверски, патефон смеется и визжит воронежские частушки, и Вера тоже в такт ему смеется и визжит да еще и в ладоши хлопает. Вдруг вскакивает Вера со стула, лицо как у Таси пунцовое, но не от смущения, а от женского возбуждения, по-русски, по-свадебному каблуками по полу посыпала, посыпала, точно горох из мешка, руки разбросала, вот, мол, как широки просторы наши... Степи, да леса, да реки... Вы в Сибири еще не бывали? Там вообще без конца, без края... И все это заселила русская женщина. А чтоб такие широкие пространства заселить народом, хорошо свое дело надо знать. В двух случаях женщине хорошо свое дело надо знать — когда народ постоянно истребляется и нуждается в пополнении и когда народ живет на слишком больших пространствах, нуждающихся в заселении... В таких случаях от женщины требуется хорошее мастерство... Сладкое мастерство, ягодное, медовое, молочное, ибо в женской удали спасение народа...

Конечно, ничего этого не говорилось, и даже не все это думалось, однако все это было в удалом женском танце, на который способна русская женщина. Со страстным бесстыдным визгом, напоминающим женские стоны в момент наивысшего телесного наслаждения, широко раскинув руки, как от излишнего жара на лежанке, несласть Вера под воронежские лихие частушки и неожиданно прильнула она к Дану, Аспиду, Антихристу, схватила и литой, хоть вскормившей двух дочерей, ноющей, щекочущей собственную плоть грудью своей, вонзилась в тело его.

— Составьте мне компанию на танец, Дан Яковлевич.

Вдруг Руфь, она же Пелагея, девочка, приемная дочь Антихриста, вовсе последней кровинки в лице лишилась, крикнула по-деревенски, по-кликушески и упала без чувств. Сразу старушка Чеснокова из своей комнаты выбежала, патефон остановила, кружку с водой Антихристу подает, который в испуге над дочерью склоняется.

— Пойдемте домой, маманя, — тихо говорит Тася.

Вера, смущенная происшедшим и горячая от танца, стоит, тяжело дыша, и говорит сквозь это тяжелое дыхание истинно по-русски:

— Может, я чего не так сделала? Может, повиниться надо?..

— Не надо ничего, — говорит Тася, — не до нас здесь теперь, пойдемте, маманя.

Вышли, не попрощавшись, из возбужденного ими дома Вера и Тася, пошли, каждая о своем думая. А ранней весной вечером перед новолунием думается особенно широко, как и дышится. Снегом талым пахнет и деревья по сторонам, точно роженицы... Зелена улица Державина, когда листвой ветви разрешатся, недаром лес рядом, и в тени деревьев уж в иной тогда униформе располагаются старухи-караульщицы: в белых платочках, в байковых халатах. Ныне же, ранней весной, они еще зимнюю форму не сменили, кто победней — в ватнике, кто побогаче — в пальто-салопе с лисьим воротником. Чуть слышат часовые нации шаги во тьме, вглядываются, шепчутся, безмолвно произносят видом своим пароль: "Русские мы, а вы откель?"... Уж не Копосовы ли идут? Семья непутевая... Сам пьет и буйнит, она падшая, а дети чему могут научиться? Вот Вера с дочерью идет так поздно. Откель? Уж не из тридцатого ли номера, где у Чесноковой евреи живут?

Так, окликаемые безмолвными патрулями старух, дошли мать и дочь к дому своему номер два, в самом конце улицы. Андрей не пьян, но выпивши, и хотел было раза два ударить Веру за позднее возвращение, однако, увидев с ней Тасю, бить не стал, лишь глянул волком.

Собрала Вера поужинать. Сама же ужинать не стала, прямо спать легла у печи, так что Устю Тася спать уложила вопреки обычному, ибо всегда Вера свою любимицу спать укладывала. Так устала Вера, такое безразличие к окружающей жизни почувствовала, что уснула мгновенно вопреки убеждению, что промучается с бессонницей...

С тех пор заметила она в Тасе, дочери своей, перемену, которую матери и женщине понять нетрудно. Сперва точно нож острый ударило это понятие ей в сердце, а после, поразмыслив, нашла Вера эту перемену даже весьма кстати. Ибо в безмерном женском безумии женщина всегда хитра и расчетлива. Еще со времен Эдема женщина неуправима в безумии своем. Недаром первенцем Евы был Каин. И недаром Ева пошла неуправимо к соблазнам змея, и недаром Господь сказал ей:

— Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою...

Адаму же сказал:

— За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором Я заповедовал тебе, сказав: "не ешь от него", проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься...

Так женское безумие и женская неудержимость легли в основу самой жизни человеческой, когда изгнан был грешный человек из рая и проклят на труд... Когда же пошел человек от Божьего на собственный хлеб, то вместе с ним была и жена его Ева, что означает в переводе с библейского "жизнь"... Таким образом, если в основе человеческой истории, начавшейся изгнанием из рая-Эдема, женское безумие и само имя "жизни" равноценно имени женщины, то может ли что-либо остановить женщину в ее безоглядном женском желании? Вот еще почему так сильна, неудержима третья казнь Господня — прелюбодеяние... Женщина в казни этой — паляч, даже если сама она в этой казни гибнет...

Поняла Вера Копосова, что только через любовь дочери своей, перед которой еврей бессилен, ибо он тоже любит, можно достичь своего... Поняла и хитрое это свое неудержимое женское безумие до поры до времени затаила...

Меж тем пахучая приволжская весна кончилась, наступило молодое лето, расцвел лес, начался ягодный сезон. Замечает хитрая женщина, что дочь ее Тася последнее время, хоть по-прежнему позволяет угрюмому отцу своему ласкать себя, расплетать и заплетать косу, как в молодости расплетал и заплетал он Верину, материнскую косу, однако ласки отца воспринимает уже более замкнуто. "Самое теперь время", — думает.

— Тасенька, — говорит, — сходи в воскресенье на вершинку, — так здесь называли верхушку оврага, поросшего лесом, — сходи, Тася, на вершинку, малина поспела, отцу отвар свежей малины для его раненой груди необходим. Я б сама сходила, но занята в цеху, подменяю за весенние отгулы, когда Устенка болела. Сходи, иного дня не выберешь, и общипают свежую малинку, не достанется нам.

— Ладно, — говорит Тася, — пойду.

Несмотря на возраст невесты, была она послушна в обычном, хоть в чрезвычайности могла и возразить отцу с матерью, если чувствовала их неправоту. Однако здесь какая неправота — посылает маманя в лес за малинкой для раненого на фронте тяти. Наоборот, обрадовалась даже Тася — может, у мамани с тятей наладится любовь.

— Ладно, — говорит, — пойду.

”Теперь в дальнейшем не прогадать бы”, — думает хитрая в безумии своем мать. И направляется она, позабыв стыд, к дому номер тридцать по улице Державина, где ранее натворила делов позорных... Неласково встречает ее на этот раз старуха Чеснокова.

— Чего надобно? — спрашивает и на пороге оставив, в дом не пускает.

Однако замечает Вера, что предмет ее страсти, еврей неподалеку на крыльце вместе с дочерью ягоды перебирает.

— Бабушка Чеснокова, — говорит Вера, — вижу я, вы уже в лесу побывали за ягодой... Не на вершинке ли? Мне ягода позарез нужна, поскольку муж у меня раненый, и ему молодая ягода необходима в виде отвара.

— Что ж, сходи, — отвечает Чеснокова, — на вершинке ягоды видимо-невидимо... Урожайный, ягодный этот год.

— В том-то и беда, — отвечает Вера, — что занята я, работаю в воскресенье и потому должна дочь свою Тасю одну на вершинку послать. Место отдаленное, а девушка молодая. Страшно ей одной, и мне за нее страшно. От вас никто к вершинке не идет?

— Нет, — отвечает Чеснокова. — Мы уже были, вон, ягоду перебираем. Да и чего бояться? Послед-

него медведя года три назад видели. Постреляли шибко медведей, и они в чащу ушли, подальше от людского.

— Медведей-то постреляли, — отвечает Вера, — но лихой человек, он целый. Лихой человек девушке пуще медведя страшен. Пристанет кто. Не дай Бог, Павлов пристанет.

А Павлов был по-прежнему в городе Бор фигура заметная, и им как чертом пугали матери молодых девушек, которые погулять рвались подальше.

— Ужо поди, Павлов тебя поймает.

В одном Павлов изменился, если в войну он никакой женщиной не брезговал, то ныне только на девушек молоденьких поглядывал и говорили даже — на девочек малых девяти-десяти лет, которые в этом возрасте попышней, покрупней и поярче, ибо самому Павлову было под тридцать... Однако все ему сходило с рук, поскольку друзья-фронтовики, занимавшие в городе ответственные посты, его выручали. Таков был слух. Но ропот на безобразника тоже был. Как-то разнеслось — попался Павлов с личным на насилие — сидит... Два-три дня прошло, смотрят — опять ходит по главной улице возле кино и в парке, возле танцплощадки, Павлов в матросском бушлате, пьяный, крепкий, красивый, хоть и несколько обрюзгший, и к девушкам пристаёт, драки затевает... Роптали отцы и матери молодых девушек, и написали они в местную газету "Борская правда" письмо. Задумались в газете. С одной стороны, надо отвечать на пожелания трудящихся, а с другой, как бы не обидеть покровителей Павлова. И тогда прибегла газета "Борская правда" к испытанному приему, вспомнила о существовании художественной литературы, с которой взятки гладки, поскольку занимается она не конкретными фактами, а общими, всесоюзными, или иногда всемирными

ми явлениями. Лучшая же форма подобных обобщений есть стихи. Кстати и стихотворец нашелся, согласно утверждению Маркса, что "спрос порождает Рафаэлей". Конечно, стихотворец этот Рафаэлем не был, но зато местный он, родился и вырос в семье простого рабочего газифицированной котельной центральной борской больницы. Мать по профессии — бухгалтер. Стихотворец этот с фамилией Сомов, русский по национальности, мечтал об учебе в московском институте литературы, пока же самостоятельно развивался в двух направлениях — лирики и сатиры. Сатирой, между прочим, больше увлекался. Так, вышучивал он свою рыбную фамилию и заодно остальные рыбные фамилии. Сомов, мол, в наличии, Ершов, Пискарев, Карпов, Окунев, Щукин, а Стерлядев, Севрюгов — такого не встретишь, слишком дорогие фамилии... С подобной биографией и с подобным направлением способностей в самый раз пришелся Сомов "Борской правде". И удовлетворил он ее спрос... Во-первых, изменил место действия — из города Бор перенес в город Москву, куда и сам давно стремился. Во-вторых, фамилию Павлов заменил фамилией Прохоров, а имя Степан именем Иван. Идя по проторенному пути греческого баснописца Эзопа, Сомов написал нечто вроде сатирической басни, которая начиналась так:

Среди московских инвалидов
Был некий Прохоров Иван,
Был этот Ваня индивидум,
Который недостоин ран,
Полученных в бою суровом за власть Советов.
Но о том мы речи поведем потом,
А ныне слушайте...

И далее перечислялись в стихотворной форме все безобразия, совершенные Павловым.

Первый удар Сомову нанес Павлов, который не был обманут эзоповым языком. От второго удара Сомов убежал, перескочив через забор парка у танцплощадки. Однако третий удар от местного отдела агитпропа был неотразим, тем более, что Сомов рассчитывал взять в агитпропе характеристику для преодоления конкурса в московский литературный... Сомов слышал, что конкурс в литературный институт в основном создают евреи, а если ты русский и у тебя характеристика, то все права в твою пользу...

Агитпроп вынес обвинение ни больше ни меньше как в низкопоклонстве и попытке оболгать героических защитников родины, проливавших кровь... В газете "Борская правда" захлопали тревожно двери, создавая сквозняки. Кто отделался испугом с занесением в личное дело, кто вовсе лишился возможности участвовать в дальнейшем культурном строительстве. Газета "Борская правда" опубликовала письмо группы фронтовиков "Против стихотворного пасквиля некоего Сомова", которое написал работник агитпропа Владимиров (Вильнер). Таким образом, Павлов, столь крепко защищенный, вовсе обнаглел, и страшно стало в городе Бор выпустить погулять молоденькую дочь.

А гулять хотелось, поскольку вечера в городе Бор летом такие, что молодому сердцу без них тоскливо. Улицы зелены, лесной воздух с речным смешиваясь, создает напиток неповторимый, с танцплощадки вальсы доносятся в исполнении духового оркестра рыбкомбината, а над всем безбожное астрономическое небо сияет, под которым даже спокойнее, поскольку оно всех радует, но ни к чему не обязывает... Дыши только полной грудью в свои семнадцать лет, мечтай о любви да на луну и звезды поглядывай... Вот если б не Павлов... Страшно с Павловым девушке поздним вечером встретиться...

Встретилась с ним раз Тася неподалеку от того места, где в войну молодой Павлов хотел молодую мать Тасину, Веру, изнасиловать. И примерно в то же вечернее время. Конечно, все это по совпадению. Без слов, молча схватил ее Павлов, и чудом Тася от него вырвалась и в разорванной кофте, вся дрожа домой прибежала, кинулась матери на грудь. Андрей тогда в отъезде был, в город Горький деревянные изделия повез продавать. Возвращается Андрей через день сравнительно спокойный, по счастью, в новолуние. Вера ему говорит:

— Вот ты с Павловым выпиваешь, фронтовик это, мол, друг, а Павлов дочь твою позавчера хотел изнасиловать.

Потемнел лицом Андрей и говорит:

— Наверно подумал, что дочь в мать уродилась, так же на передок слаба, — и ушел куда-то, хоть ночь уже была. Через полчаса возвращается, говорит Тасе, — не бойся, дочка, ходи смело, он тебя больше не тронет. Я ж стихи писать не умею, я ему глаза выдавлю.

И верно, более Павлов к Тасе не приближался, только издали поглядывал. Однако полной гарантии за безопасность дочери у Веры не было, ибо знала, каков Павлов, когда выпьет и подопрет его мужское... Говорили, и в лес он погуливал с ружьишком, вроде бы на охоту... Да и одного ли Павлова молодой девушке стеречься надо?.. Издавна любила и берегла дочь Вера. Каково же должно было быть женское безумие, ею овладевшее, чтоб пользоваться родной дочерью в своих целях. Хитер был умысел у этой женщины, когда пошла она к Чесноковой объявить, что дочь ее одна идет за малиной к вершине, где ручей из оврага течет. Часам к семи, пораньше, чтоб меньше было промышляющих и больше малины.

Как поднялась чуть свет дочь, поела наспех, взяла корзины — и в лес, мать за ней следом. Выдумала она про воскресную занятость в цеху. Пробирается осторожно Вера в кустарнике и думает в тяжелой тревоге: "Придет или не придет Дан Яковлевич?" Многие она о нем разузнала. Узнала, что он приехал сюда откуда-то из-под города Ржева, вдов, жена в войну погибла, а здесь работает ночным сторожем на рыбкомбинате, профессия у еврея редкая, и самый, наверно, он глупый из ихнего брата, который всегда удачно устроится. Не знала Вера, что с тех пор, как явилась у Антихриста приемная дочь, и не мог он более питаться одним лишь хлебом изгнания, завещанным пророком Иезекиилем, среди прочих современных профессий, дающих пропитание, профессия ночного сторожа была Дану, Аспиду, Антихристу самая подходящая, более удаленная от людей, и под ночным небом чем-то напоминала родное, пастушье ремесло... Многие разузнала Вера о проживающем у Чесноковой еврее, но многого не знала. Конечно же, прежде всего, не знала она, что Дан Яковлевич есть Антихрист, посланец Господа... Одно она знала твердо, страдающая женщина и любящая мать: Дан Яковлевич и дочь ее Тася полюбили друг друга, но как встретиться — не знают и условиться о встрече не решаются... Женщина, которая испытывает страсть к мужчине, любящему дочь ее, пребывает в странном состоянии. То она чувствует плоть дочери частью собственной и наслаждается, то чувствует в этой плоти болезнь свою и страдает, даже ненавидит, как невольно начинает человек ненавидеть свою сильно болящую руку или ногу, или голову и проклиная их... Так, то наслаждаясь через дочь собственным женским счастьем, то видя в ее счастье чужую удачу, отнимающую и обкрадывающую, Вера могла бы впасть не только в

телесное, но и в душевное безумие, если бы подсознательная библейская хитрость, за которую Ева была проклята Господом, не подсказала Вере, что в мучениях своих следует доверяться не чувству, а рассудку. Чувствами же разумно наслаждаться лишь в счастье. И едва она поняла это, как стала обычной блудницей, лишь обуреваемой чрезмерной страстью, которую следовало удовлетворить, используя все возможное... И задумала она устроить свидание тому, кого она жаждала, но к которому не было ей доступа, с дочерью своей, которую он любил.

Пробирается хитрая женщина следом за дочерью своей, и вот уже вершинка, местность дикая, отдаленная. Овраг порос лесом и кустарником, ручей журчит, и малины видимо-невидимо. Но еврея нет, не пришел он, хоть безусловно слышал слова Веры. Села Вера в отдалении, чтобы дочь ее не заметила, и тоскует. А Тася, ни о чем не подозревая, начинает малину щипать. Собирает она, собирает, почти уж полкорзины набрала, вдруг хруст ветвей, и выходит на поляну еврей, в свою очередь, тоже с лукошком. Подняла голову Тася, упустила из рук корзину, ягоды по земле рассыпались. И силой для Небес странной и смешной брошены были влюбленные в объятия друг другу. Дан, Аспид, Антихрист, земной удел которого был от Хетлона ведущего в Емаф, и Тася Копосова из города Бор Горьковской области. Без слов, без слез, без вздохов обнялись они и стояли, крепко держит каждый свое: Антихрист — Тасю, Тася — Антихриста. Они стоят обнявшись, Вера в кустах лежит, и все, что есть в ней собственного, ноет. Однако опять перехитрила страдание блудной страстью обезумевшая женщина и защитила женский рассудок свой... Антихрист и Тася меж тем стоят неподвижно друг у друга в объятиях,

пока у Таси, девушки хрупкой, от горячей неподвижности этой руки и ноги начинают неметь. Тогда Антихрист, который чувствовал теперь в себе какое ощущение любимой, говорит:

— Придешь завтра?

— Приду, — отвечает Тася, — после работы, в шесть часов... У нас в пять швейный цех кончает, но пока переоденусь.

И расстались они без поцелуя. Антихрист быстро ушел, ибо Антихрист умеет исчезать мгновенно, а Тася осталась собрать малину, чтоб у матери не было подозрений. Мать же ее, преодолевшая свою слабость, была рада случившемуся, которое произошло по ее замыслу.

И началась у Антихриста с Тасей любовь постоянная. Конечно, не Божья это была любовь, как брат любит сестру, или отец любит дочь, но и не людская, как мужчина любит женщину. Однако, поскольку Антихрист не мог любить иначе, а Тася вообще любила впервые, то они подобной любви не удивлялись. Встречались все там же, у поросшего лесом начала оврага, возле ручья... Увидит Тася Дана, делает к нему навстречу несколько шагов, словно лунатик в полнолуние, уж на последнем шаге силы оставляют, колени подгибаются, еще шаг, и упала бы без чувств, но Антихрист никогда не давал ей этого последнего шага, который, может, был бы во спасение; всегда, ослабнув, падала Тася не на землю, а на грудь его и без поцелуев, без слов стояли они. Всякий раз одинакова была их встреча, ибо только мелкой любви нужно разнообразие. Все сполна получала Тася от объятий Антихриста, а ее девичья чистота и нежность помогали Антихристу избежать казни Господней — похоти, которой он был подвержен, подобно всему земному. Так в лесу, вблизи города Бора Горьковской области осуществилась

вековечная мечта о чем-то третьем, не телесном и не аскетическом...

Зачинатели современной сексуальной революции, жители города Содома, пытавшиеся изнасиловать ангелов, искали третьего. Первые мужья Фамари, братья Ир и Онан искали третьего. Но Ир умер, а Онан, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, обесмертив имя свое человеческой болезнью или прихотью. Прочие извращения тоже от поисков третьего, не мужского, не женского, и все ж третий орган не найти и сексуальный "перпетуум мобиле" не создать. Пока известен лишь один случай третьего — не телесного, не аскетического и конечно же не греческой подмены — платонизма, а грех в подмене талантлив, пример тому греческое христианство... Но здесь не было подмены. Тася Копосова из города Бор летом 1949 года испытала третье... Она нашла, потому что не искала... Это не сформулированный закон библейский: тот, кто не ищет, тот находит, кто ищет, тот теряет... Однако существует еще закон диалектического материализма, который не обязательно изучать по Фейербаху, поскольку он достаточно ясно изложен в советской песне: "Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет"...

Степан Павлов, всей своей жизнью отвергавший библейский опиум, хотел добиться Таси, потому искал ее повсюду и нашел на вершине, возле оврага в объятиях у еврея... Шел он по лесу с ружьем, на свистывая песенку про веселый ветер, в которой излагались основы диалектики. Вдруг смотрит издали — что же оно, братцы, делается — все себе жиды заграбастали, и девок тоже... Прервал он свист, вскинул ружьишко, и кто знает, чего в первое мгновение задумал... Потом опомнился и задумал уже половчее, обида взыграла. Никто меня в этом го-

роде бить не смел, а отец ее, Андрей Копосов, ударил. Хорошо, если тебе русский парень не по душе, фронтовик, будешь иметь в зятях еврея, тыловую крысу. По-фронтовому подполз Павлов, приблизился и подслушал время свидания Таси с Антихристом на завтра. Где искать Андрея, Павлов знал и нашел его без труда и без диалектики. Был в центре города Бор, против кинотеатра, фанерный павильон, прозванный "Голубой Дунай", хоть на вывеске значилось "Пиво, воды, холодные закуски". Отчего в приволжском городе чужая река фигурировала, неизвестно. Может, окрестил его так кто-либо из здешних завсегдатаев, ранее штурмовавших Будапешт, бравших Бухарест или Вену. Реален лишь тот факт, что фанерный павильон действительно в голубой цвет выкрашен. Торговала в этом павильоне буфетчица Нюра, с которой когда-то Павлов жил. Была у Павлова привычка первоначально перед выпивкой с этой Нюрой вступать в препирательства на почве недолива или обсчета. Но ни в чем она ему не уступала, достигла эта женщина полного равноправия.

— Ты, — весело говорит Павлов, — сука...

— А ты сам падло, — весело отвечает Нюра.

— Ты воровка...

— А ты хрен с бугра...

— Ядрить твою мать...

— Ядрить твою, дешевле будет...

Тут Павлов под влиянием увиденного и пережитого говорит Нюре:

— Ты еврейка, жидовка...

Заплакала Нюра.

— Какая я еврейка, за что он меня, братцы, так оскорбляет.

Вмешались завсегдатаи.

— Брось, Нюра, обижаться на Павлова... Нашла на кого обижаться... А ты, Степа, пойди сюда, выпьем...

Был в павильоне и Андрей Копосов, но в другой компании. Начинали пить отдельно, закончили сообщца. Когда компании соединились, Павлов говорит Андрею Копосову:

— Выйдем, разговор есть...

— Пойдем, — говорит Андрей.

Собутыльники, зная их размолвку, начинают обоих успокаивать:

— Бросьте, ребята, оба фронтовики. Какие могут быть счеты меж братьев-славян...

”Братя-славяне” тогда тоже было модное словечко, с фронта привезенное. Отвечает Павлов:

— Я Андрея бить не буду, поскольку знаю, что он мне ребра поломает, а разговор у меня к нему душевный.

Вышли. Постояли под павильоном, покурили ”Труд”, послевоенные папиросы, побрызгали малой нуждой на фундамент, Павлов притом раза два в полный голос облегчил от напора кишечник... Только хотел начать Павлов, собака подбегает бродячая, свою преданность доказывает и мысль перебила.

— Ух, падло, — крикнул Павлов, бросил камень, попал. Завизжала собака и с визгом исчезла.

— Ну, чего ты хотел, — начинает Андрей, видя, что Павлов мнетя, и несколько отходя назад, чтоб если Павлов кинетя отомстить за прошлый удар, нанести ему удар вторично ногой под низ живота.

Заметил этот жест Павлов и говорит:

— Не на того ты зуб имеешь, Андриюша... Я фронтовик и ты фронтовик... А Тася — дочь фронтовика, и у меня к ней серьезное желание... Но есть еврей, который всю войну в тылу просидел и который ее соблазняет.

— Да ты что, какой еврей?! — крикнул Копосов.

— За грудки меня не бери, — отвечает Павлов, —

тот еврей, который у Чесноковой живет, по Державина тридцать.

И рассказал, что видел... Покраснел Андрей, потом побледнел и крикнул одно только слово:

— Убью!

— Не торопись, — отвечает Павлов, радуясь, что попал похлеще, чем кулаком в зубы, — ты на меня, Андрюша, всегда косишься, даже если и пьем вместе. Слухам веришь, что я с женой твоей путался. Не скрою, пыталась она ко мне пришвартоваться, но я ее отшил, поскольку соблюдаю фронтовое товарищество.

Скрипнул зубами Андрей.

— Жену мою не трожь, не о ней речь. О дочери моей речь.

— А у меня план насчет дочери, — говорит Павлов, — когда они завтра встретятся у вершинки, с личным возьмем... Согласен?

— Согласен, — ответил Копосов, — пойдём, выпьем еще...

Выпили еще. Андрей впал в мрачное тупое молчание, когда не известно, чего после этого молчания от человека ждать: уснет он тяжелым, каменным сном или убьет кого-нибудь. А Павлов, вот он я, широк весь, нараспашку, впал в веселье, когда знаменитая русская частушка, от дедов-прадедов унаследованная, на язык просится. Хрипловат был, правда, у него сейчас голос, не тот, каким приятно исполнять, не тенор, зато от души выкрикивал:

— Бей жидов, спасай Россию... Хаим лавочку закрыл... Смешная парочка, Абрам и Сарочка... Храбрый Янкель на войне... Мы их защищали, спасали, а они Христа распяли, советскую власть продали... Мы в окопах, они в лавках... За всю войну ни одного еврея на фронте не видел... Один еврей на фронт ехал, да и тот от страха застрелился...

Так он громко раскричался, что милиция узнала знакомый голос и подумала, будто Павлов опять затеял драку в "Голубом Дунае". Приходят. Шум есть, но драки нет.

— Ты чего шумишь, Павлов?

— А чего евреи нашу кровь пьют?

— Ты, Павлов, порядка не нарушай, — говорит старшина.

— А они могут нарушать? У родного отца, фронтовика, дочь отнимают...

— Кто отнимает, у какого отца?.. Если есть доказательства, официально напиши... У какого отца дочь отнимают, о чем ты?

— Да вот, у друга моего... Который в войну... Который кровь лил... — уж не вяжет лыка Павлов.

Тут как ударит Андрей кулаком по столу, и сделал он Нюрке-буфетнице посудного боя на некоторую сумму.

— Замолчи, стервец...

— Молчу, — ответил Павлов, — Все в порядке, старшина, все в порядке...

— Ну вас к лешему, — говорит старшина, — разбейтесь сами, но чтоб не нарушали...

Ушел. После этого Павлов уже молча еще выпил, потом еще, потом вздремнул, упираясь лбом о стол, но проснулся, упираясь спиной о стену, от легкого ночного ветерка.

Все было тихо, был разгар городского покоя. Умел сладко спать приволжский город Бор. Куда ни посмотришь вокруг, ни одного светящегося окна, никакого шума, кроме шелеста листвы, никакого движения, кроме мигания звезд и то исчезновения, то появления луны в проломах темных туч.

Когда случилось Павлову просыпаться подобным образом одиноким среди покоя, вдруг в первые минуты что-то непривычное являлось в нем, а что, по-

нять не мог. Или казалось ему, что он опять младенец и смотрит из люльки в темное окно, или чудилось адресованное лишь ему Слово, поскольку для каждого человека есть его личное Слово, и если он его не слышит, оно остается в мире неиспользованным, или будто впервые видел он это миганье высоких звезд, отчего непривычное напряжение сжимало матросский крепкий лоб его, и казалось, вот-вот брызнет нечто, как ручеек чистой воды из-под огромного серого тюремного камня, чем служил лоб Павлова для всякой чистой мысли. Однако стоило ему пошевелиться, вздохнуть, распрямить затекшие члены, как сразу же он возвращался к своим текущим потребностям, то есть, прежде всего, совал свои руки себе в штаны. Если штаны его были сухи, или чуть смочены всего малой нуждой, то он шел к Валюше, молодой медсестре или к Танечке, технику горкомхоза, или к Нинке, или к Александре Ивановне, или еще куда-либо, выбор был широк. Если же штаны его были мокры и липки насквозь от нужды большой, то есть когда после хмельного сна он пробуждался с прелым задом, особенно это бывало в летний сезон, ибо летом закусывали фруктами, яблочком или волжской сливой, если такое случалось, то он шел только в одно место — к Александре Ивановне, той самой вдове из пищеторга, некогда соблазнившей его, молодого инвалида войны и открывшей счет женщинам Павлова в городе Бор. Ныне вдове этой уже подбирались к пятидесяти, и она всегда готова была принять Павлова, обмыть его, накормить и уложить... Сейчас было лето, и поскольку Павлов этим вечером много пил и много закусывал немывыми, подгнившими яблоками, которыми стерва Нюрка торговала, то проснувшись, он ощутил в полной мере то, после чего отправился к Александре Ивановне. Там он и

доспал остаток ночи и часть дня, ибо перед завтрашней вечерней травлей еврея надо быть "свежим огурчиком".

Ловко смастерили это дельце Копосов и Павлов, один от горечи был ловок, второй от злобы. Чуть пораньше ушел с работы Копосов, чуть пораньше ушел от Александры Ивановны Павлов, встретились не у самой вершинки, а на треугольнике, такое место тоже в лесу существовало, отчего же подобное название, уже забыто давно... Павлов был выпивши, Копосов — трезвый, но с хорошо отточенным плотницким топором за армейским поясом под пиджаком.

— Там они, — говорит тихо Павлов, — на месте. Я уже разведаль, стоят обнявшись, как всегда...

Славянин молчалив в мучительном гневе, копил ненависть к решающему моменту. Положил Копосов руку на топор и пошел тропкой в указанном направлении. Раздвинул осторожно мокрый кустарник, поскольку с утра дождь побрызгал, и верно, видит вдали дочь в объятиях у еврея... Славянин молчалив в гневе, но в решающий момент он может исторгнуть дикий крик своих предков, с которым они во времена великого переселения народов разбойничали в Карпатах, мечтая обосноваться не на Днепре, а на Дунае... Именно такой нечленораздельный крик издал Копосов, страдающий отец с плотницким топором в руках... Павлов же крикнул более современно и членораздельно, а именно: "Бей жидов, спасай Россию".

Увидела их Тася, задрожала вся, затряслась и впервые от страха заплакала в объятиях у своего возлюбленного.

— Кто это? — спрашивает у Таси Антихрист.

— Это тятя мой и друг его Павлов, — плача, дрожа отвечает Тася.

— Чего они хотят? — спрашивает Антихрист, ибо с ним такое случалось: в предельные моменты он вдруг переставал понимать окружающую жизнь и из глубин его являлась небесная брезгливость к людям.

— Беги, — плача говорит Дану Тася, — меня тятя только побьет, поскольку он меня любит, а тебя он зарубит, поскольку ненавидит. Беги, у тяти топор...

— Топором он нас не коснется, — говорит Антихрист, — ничем он нас не коснется, кроме как рукой.

— Рука у него тоже тяжелая, покалечить может, — дрожа в страхе, говорит Тася, — а Павлов душить любит за горло.

Меж тем Копосов и Павлов уже сбегали, скользя по мокрой траве, косогором и приближались. Различимы стали их злобные лица. Впрочем, у Копосова к злобе примешивалось страдание, отчего его лицо было крайне необаятельным. У Павлова же к злобе примешивалось веселье, что, наоборот, делало его похожим на обаятельного, остроумного сатирика-славянофила.

— Прижмись ко мне крепче, любимая моя, — сказал Антихрист, — прижмись изо всей силы своей и ничего не бойся... Не слишком сильно они нас коснутся.

— Отчего ж не слишком сильно, — в полубеспамятстве уже спрашивает Тася, — отчего ж не сильно, если ненавидят?

— Оттого, — отвечает Антихрист, — что сильнее не успеют... Как коснутся, сразу умрут оба...

Хоть дрожала Тася, но что увидела она рядом с собой, у лица своего, заставило ее совсем забыть в лихорадке... Огненные, смертоносные глаза Аспида глянули сквозь мягкие, кроткие еврейские черты любимого и воспламенили его ненавистью Преис-

подней, Божьей Всемирной Казнью... Похолодела Тася, и стало ей страшно не за любимого, который словно бы исчез, а за отца своего.

— Не трогай тятю, — неизвестно к кому обращаясь, с мольбой сказала она, — не трогай тятю моего...

— Жаль, — сказал Антихрист, — значит, придется пощадить и второго. Ибо они задумали одно, в этот момент не может быть для них отдельной казни... Но позже казнь им будет разная...

Не смогли остановиться Копосов и Павлов, как не может остановиться человек, бегущий с высокой горы, пробежали, пронеслись, словно влекомые неведомым ветром, Копосов и Павлов мимо обнявшихся влюбленных... Понесло их по кустарнику в овраг, поволокло по глинистым, скользким от дождя склонам и бросило в ручей, мирно журчащий среди камней... От такого невольного бега потеряли возможность управлять своим телом, руками своими, ногами Копосов и Павлов.

— Эх! — сам того не желая, ударил Копосов плотницким топором по мокрому валуну. Хорош был топор, да топориче треснуло.

А хмельной Павлов в ручье костями своими камнями почувствовал.

— И-эх... О-па... Ядрена табакерка... Трава скользкая... Выгадал еврей на утреннем дожде...

Как сгнули Копосов и Павлов в овраге, мигом потухли черты Антихриста, и опять перед Тасей был любимый ее.

— Пойду я, — говорит Тася, — домой пойду, и ты уходи... Я дам знать, когда и где встретимся, поскольку здесь нельзя встречаться больше... Не бойся за меня, до нового свидания, — и они впервые поцеловались, ибо с этого дня самое высокое в их любви, то, третье, уже было позади, и любовь их

стала людской, с поцелуями и желанием разнообразия.

Приходит Тася домой, увидела ее мать Вера, встревожилась.

— Маманя, — говорит Тася и обнимает мать свою, прижимается щекой к щеке, так что две толстых золотистых косы матери и дочери рядом ложатся, — маманя, полюбила я одного человека...

— Кто же этот человек? — спрашивает заботливая мать, но хитрая женщина.

— Ночной сторож с рыбкомбината, — отвечает Тася, — который у старухи Чесноковой квартиру снимает.

— Да что ты мне так мудрено отвечаешь, — говорит притворщица мать, — разве не я сама тебя впервые повела к Дану Яковлевичу?

— Ах, маманя, какой он сладкий, — невольно и искренне вырвалось у дочери, что заставило влюбленную в того же человека мать забыть в ревности и обозлиться.

— А если отец узнает, — говорит сердито Вера, точно не она сама все соорудила.

— Тятя уже знает, — отвечает Тася.

Вскочила Вера в непритворном уже испуге.

— С каких пор знает?

— Да только узнал.

— И что, бил?

— Хотел бить.

— Значит, не догнал?

— Может, и не догнал, — странно как-то отвечает дочь.

Однако дальнейшая неопределенность в их разговоре кончается тем, что ударом ноги дверь распахивается настежь, и на пороге является Андрей Копосов, от вида которого сразу же заплакала маленькая Устя... Было чего испугаться. Изорванная вет-

выми, перепачканная глиной мокрая одежда, скошенный набок рот, искусанные губы, заранее сжатые в побелевшие кулаки пальцы. Без слов кинулась перед ним Вера защищать дочь, без слов ударил он ее наотмашь привычно, потому недостаточно сильно, и без слов же ударил он дочь свою Тасю с непривычки особенно страшно и мгновенно окровавил... Увидев окровавленную дочь, дико крикнула Вера, поняла несчастная женщина, что натворила, и что она всему виной. Поняла на мгновение, какова кара третьей казни Господней — дикого зверя — прелюбодеяния... И услышала, может быть, без разума, как шум в висках своих, проклятие Моисеево за прелюбодеяние.

— Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоём и да соделает Господь лоно твоё опавшим и живот твой опухшим...

Кинулась она к мужу, подняв руки, то ли защитить дочь, пусть даже ценой жизни своей, то ли повиниться во всем перед мужем на глазах у детей. Но защищать больше некого было и виниться не перед кем было... Как ударил Андрей дочь, обмяк он и заплакал навзрыд не по-мужски, в то время как Веру всегда бил с остервенением и без раскаяния. Лег Андрей лицом вниз на койку, а Тася рядом с ним села, прижимая платок к разбитому носу, и ладонь на голову ему положила. Поняла Вера, лишняя она здесь, и не только минуло раскаяние, даже наоборот, усилилось еще более желание довести до конца задуманное ради себя и в свое удовольствие.

— Пойдем, доченька, погуляем, — говорит она перепуганной Усте, — в лес пойдем, воздухом подышим.

Когда остались отец и Тася одни, говорит он:

— Доченька, ты ведь единственное счастье мое, разве я тебе зла желаю?..

Отвечает Тася:

— Тятя, я знаю, ты не по доброй воле, тебя Павлов подбил... Сволочь он...

— Согласен, — отвечает Копосов, — Павлов, конечно, сволочь, хоть и фронтовик, но разве в городе нет других ребят, разве не русский у нас город?

— Тятя, — отвечает Тася по-девичьи, по-семнадцатилетнему, — нет мне без него жизни, без него хоть в Волгу... Поверь, тятя, дочери твоей, которая тебя любит.

Помолчал Андрей Копосов и говорит:

— Это в тебе от развратной матери, вот она беда какая... Недаром ты напоминаешь мать внешним обликом.

Тем и окончился разговор, хоть начался как будто бы откровенностями и должен был многое решить... Но ничего не решил. Вернулась Вера с Устенкой, начала готовить ужин, а Андрей пошел в угол к своему верстаку строгать лагушки для масла растительного, квашонки, маслобойки и прочие деревянные изделия, которые намеревался отвезти в Горький на ближайшую ярмарку.

В этот отъезд мужа и намеревалась Вера осуществить задуманное. А задум у нее был такой, что не верилось, сбудется ли, но и не хотелось верить в его несбыточность...

Женщина, пренебрегшая стыдом, не должна иметь сильной страсти, в мещанской обыденности ее спасение... Не знала Вера этой истины, а если бы и знала, исполнить бы не смогла... Много лет душа в душу жила она со своим женским желанием, неутоленным сначала в силу разумных военных обстоятельств, а затем в силу ее собственного безумия... Настоялось это желание в ней, как крепкий спиртовой раствор, который с одного глотка валит в за-

быть... Вот она смерть, вот оно рождение, вот она вечность....

Человек способен понять Вечность, только сильно унизив это Божье чувство. Крайним же унижением Вечности является наслаждение... Лишь через прелюбодеяние, через похоть может конечное существо прикоснуться к Вечному, и взаимная любовь облагораживает постыдную ничтожность человека перед Богом... Выше взаимной любви может быть Высокая Идея, однако эти случаи и редки, и уж не совсем человеческие, хоть и происходят с людьми... Идея спасения рода толкнула дочерей Лота после гибели Содома на прелюбодеяние с отцом своим, ими же пьяным напоенным. Идея Рождества Мессии толкнула Фамарь на прелюбодеяние с отцом мужа своего, Иудой, переодевшись блудницей и введя его в обман. Что же толкнуло Веру на прелюбодеяние с Антихристом, возлюбленным дочери ее, скрыто было от несчастной безумной женщины. Но в безумии своем, как уже говорилось, она была хитра и настойчива. Знала она, что Дан Яковлевич всегда к полудню дома, поскольку отсыпается после ночного дежурства, значит, надо было найти момент, когда старухи Чесноковой и дочери нет. Особенно дочери... Ведь дочь любимого отца даже к матери родной ревнует, не говоря уже о посторонних женщинах. У Дана Яковлевича и вовсе особый случай, поскольку Руфина девочка нервная, быстро бледнеет и доходит до обмороков... Но обликом подобным страстям не соответствует, обликом — деревня, вот чудо-то... Обликом и сама Вера такая была в ее годы и не понимала до шестнадцати лет что почем, пока замуж не вышла... Правда, как замуж вышла — очень быстро всему обучилась... Этой же, судя по бледности и обмороку, учиться нечему, даже и десяти лет от роду... И

хитра, пожалуй, есть в ней женская хитрость. Но с хитростью проще — кто кого...

И в хитрости возобладала Вера... Дождалась она, пока пошли старуха Чеснокова и Руфина на рынок, до самого рынка их проводила и стучит в калитку. Отпирает Дан Яковлевич.

— Добрый день, — говорит Вера, — дочь моя Тася не у вас?

— Нет, — растерянно отвечает Антихрист, — она здесь не бывает.

— Значит, на вершинке только она бывает? — говорит Вера и запирает калитку.

А ведь запертый крючок или сам вид запертого изнутри замка для безудержно жаждущей женщины сразу отзывается трепетом... И затрепетала Вера, словно в сладости расставаясь с жизнью... Дану ли, Аспиду, Антихристу, выходцу из земли, в которой блудницы часто угрожали замыслам пророков, ему ли не понять этого трепета... Ему, кто сам был подвергнут третьей казни Господней под городом Керчь с малолетней блудницей Марией в 1935 году. Сказал Вере Антихрист:

— Чего тебе надо, я все дам, только уйди...

Ответила Вера, истомленная сердцем, необузданная блудница:

— Ничего не надо мне кроме тебя... Если же не будешь со мной, отправлю я дочь свою Тасю, которую ты полюбил, далеко отсюда и не увидишь ее больше... Не посмеет она мать послушаться, и мой муж мне в том поможет, отец ее.

Сказал ей Антихрист через пророка Иезекииля:

— Ты не как блудница, потому что отвергла подарки. Но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. У тебя в прелюбодеяниях твоих противное тому, что бывает с женщинами, не за тобой гоняются, но ты даешь подарки и

раскрываешь наготу свою перед любовниками твоими.

Отвечала Вера в тон ему, млея от тоскливой похоти:

— Ни перед кем не раскрываю давно я наготы своей, даже перед мужем, только перед тобой хочу раскрыть. Подарок же мой тебе не золотом и серебром украшен, из крови моей он явился и кровью моей он жив... Это любимая дочь моя Тася...

Говорит Антихрист:

— Известно ли тебе, женщина, что простую блудницу карает Господь за обычный грех, каких не мало у людей, но твое блудодеяние карает особый суд... Он общий для прелюбодеек и для проливающих кровь...

Отвечает Вера, русская женщина, населившая мастерством своим огромный, малообжитой прежде материк:

— Я на все согласна...

Ибо когда по необходимости выработано предельное мастерство, оно уже не может удержаться только необходимым, а ищет возможностей проявить себя для собственных нужд... Всякое мастерство, служащее другим, в конце концов стремится послужить и само себе, быть мастерством для мастерства и насладиться собой. Таково и мастерство женщины. А там, где высшее мастерство, там уже искусство: стихотворное ли, плотницкое ли, женское ли... Посмотрел Дан, Аспид, Антихрист на Веру.

— Знаешь ли ты, как судит это Господний суд? — говорит он. — Кровавой ярости и ревности предает он.

— Я на все согласна, — только и твердит в ответ Вера, привалившись спиной к запертой изнутри калитке, поскольку уж ноги не держат ее.

Опять посмотрел Дан, Аспид, Антихрист на Веру, и увидел он перед собой еще молодую мать своей Таси, возлюбленной, с которой он может быть разлучен, если не удовлетворит женскую страсть той, кто выносил ее в лоне своем... Не совсем людское уж здесь было, и много здесь соединилось, хоть была ли здесь Идея, подобная Идее Фамари, Антихрист не знал... Вспомнил Антихрист и слова пророка Иезекииля: "Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: какова мать, такова и дочь"... Вспомнил, что последнее свидание его с Тасей окончилось поцелуем, то есть унижением того высокого, однообразного, что между ними совершалось. Может, в следующем свидании захочется им с Тасей еще большего разнообразия, и тогда третья казнь Господня, которой хотела подвергнуться с ним блудница-мать, могла обрушиться и на нежную, чистую дочь ее...

— Хорошо, — сказал Антихрист, — но помни, что говорит Господь: "Поведение твое обращаю на твою голову".

— Я на все согласна, — уже не сказала, а прошептала Вера.

У старухи Чесноковой во дворе был сарай, какой часто встречается на подобных полугородских, полусельских дворах. Когда-то старуха Чеснокова держала там корову и прочую живность. Теперь от коровы и прочего пришлось отказаться по причине дорогого послевоенного налога, которым облагались не то что корова, но даже каждый цыпленок у частников для того, чтоб ликвидировать частнособственнические интересы. Лежала в этом сарае теперь солома, оставшаяся от прошлой живности, а также разная ветошь, корзины, слесарный инструмент покойного старика, велосипед убитого на фронте старшего сына и нынешний, нужный по дому инвентарь...

Когда Руфь, она же Пелагея, приемная дочь Антихриста, сама не зная отчего вдруг сказала старухе Чесноковой, что должна идти домой к отцу и придя, не нашла его нигде, она вначале не думала искать в сарае, поскольку поняла, что он у вершинки в лесу... Уже некоторое время Руфь знала о свиданиях отца с Тасей, старшей сестрой Усти Копосовой, но молчала, лишь ночью тихо плакала. Не найдя отца, Руфь хотела пойти к себе в комнату лечь и поплакать, поскольку дома никого, и никто горя ее не узнает. Однако привлек шорох в сарае. Осторожно приблизилась Руфь, глянула в щелку и увидела девочка для себя Преисподнюю, какую редко кому и в зрелости дано познать. В страшном облике увидела она отца своего, и высоко поднятые женские оголенные ноги возвышались над ним, как бы пожирая его...

Там в углу на соломе Вера опрокинула себя навзничь, чтоб лону было удобно, впервые за долгий срок сытому лону, которое дышало жадно, как дышит грудь чистым горным воздухом. Нет, это не было обычное дыхание, бытовые вдохи и выдохи лона, от которого чувствуешь привычное вечернее удовольствие и от которых родились Тася и Устя... Это были вдохи полной грудью на самой вершине, где воздух настолько чист, что еще чуть повыше — и он уже будет непригоден для жизни, ибо жизни необходимы примеси того, что пониже, того, что проще, каждый вдох неповторим, каждый вдох — впервые, а каждый выдох — сладкое воспоминание о только что случившемся... Но чем глубже вдохи, тем короче дыхание, вот уже нет выдоха, а есть лишь вечный глубокий вдох, как перед смертью, поскольку последнее в живом дыхании — вдох. Выдох испускает уже труп...

Видела Руфь, пребывающая в Преисподней живая девочка, как ноги женщины вяло, тяжело, мертво

опали на прелую солому. И погасло сияние. Воцарились сумерки пасмурного дня, и Руфь лишь смутно различала, как шевелятся в темноте сарая тени отца и женщины, вслушивалась в их шепот, услышала негромкий, счастливый женский смех... И повторилось с Руфью то, что случилось с Аннушкой Емельяновой, нечестивой мученицей в селе Брусяны, когда чужое счастье толкнуло ее на злодейство. Ибо уже там, вблизи площади оккупированного села Брусяны было сказано: "Кто в горестях сохраняет практичный рассудок детства, способен на большое злодейство". Мигом сообразила Руфь, как отплатить и отцу за то, что сотворил он такое с его любимой дочерью, и женщине, которая сотворила такое с любимым отцом. Через Устю знала она, где живут Копосовы. Здесь же неподалеку, по улице Державина два... Прибегает она, видит, Устя сидит во дворе и ягоду перебирает.

— Где сестра твоя Тася? — спрашивает Руфь, она же Пелагея.

— Не твое дело, — отвечает Устя, — я с тобой больше не вожусь, ты еврейка, у тебя денег много.

Тут во двор выходит Тася и говорит сестре:

— Кто тебя этому научил, как тебе не стыдно?

— Подумаешь, — говорит Устя, — она не ко мне, а к тебе, она тебя ищет.

— Что случилось? — спрашивает Тася и пугается сразу же внешнего вида девочки, ибо Руфь была очень бледна, — с тятей твоим что-либо?

— С тятей, — отвечает Руфь, — пойдём к нам...

Не помня себя, побежала Тася следом за Руфью, вбежала во двор и к дому направляется, забыв осторожность, поскольку условились они с Даном встречаться только в лесу либо в ином отдаленном месте.

— Не сюда, — говорит Руфь и указывает на сарай,

— ты в щелку посмотри, что мой отец делает с твоей матерью...

Полностью растерянная, посмотрела Тася в щелку и увидела то, что недавно видела Руфь. Ибо поняли Антихрист и Вера: это их земной Праздник, который более не повторится, и потому старались продлить его...

Мигом произошло и с Тасей изменение. Где девалось нежное девичество ее? Безудержная в страсти праматерь Ева, соблазнившая Адама, родившая Каина и проклятая Богом проступила в Тасе, чтоб грехом зависти покарать грех прелюбодеяния...

Выбежала она со двора по улице Державина номер тридцать и побежала к речной пристани, где уселась на скамейку в ожидании отца, который должен был вернуться сегодня с Горьковской ярмарки. А Руфь, она же Пелагея, убежала в лес, шла долго, в надежде заблудиться, в самую чащу углубилась, пока не упала, обессиленная, в кустах, чтоб остаток сил своих растратить на рыдания.

До вечера, окаменев и без мыслей, просидела Тася на пристани, с безразличием слушая людской говор и крики маленьких, жадных волжских чаек по кличке "мартышки". Вечером приехал отец. Продал он деревянные изделия свои весьма удачно и хоть выпил, но хватало еще на муку и сало... Увидел Тасю, обрадовался.

— Здравствуй, доченька... Встречаешь тятю своего?

— Встречаю, — говорит Тася, — поскольку ты мне теперь тятя, ты мне теперь и маманя... Поломала мне маманя мою любовь... Как видела я маманю в сарае у Чесноковых на соломе и с кем видела, говорить страшно...

— А ты не говори, — тихо ей отвечает отец, нето-

ропливо отвечает, только сильнее под тяжестью продуктов, из Горького привезенных, гнется, словно в чугуны обратились мука и сало, — не говори ничего, дочка... Пойдем домой...

Приходят они домой, встречает их Вера необычно веселая, даже ласковая к мужу, чего в ней давно не было.

— Я вот печь растопила, — говорит, — хочу блинчиков гречишных состряпать...

Была у Копосовых печь, которая в России "русской" именуется, хоть такую печь и в других местах можно встретить. Но в России многое "русским" именуется — и березки русские, хоть их не мало растет по миру, и небо русское, хотя оно и в других местах встречается. Так вот была у Копосовых русская печь, в которой хлеб пекут и в чугуночке хорошо на жару готовят, и блины отменно румянятся... Любил гречневые блины Андрей, но давно их не пекла Вера, большая, кстати, в этом деле мастерица.

— Молодец жена, — говорит Андрей, снимая с себя продукты, как снимают непомерную ношу, — я как раз муки пшеничной достал и муки гречишной, и сала хорошего... Ты на сале блинчиков испеки, чтоб совсем по-русски... Отлично на сале блинчики пекутся...

— Можно и на сале, — всячески старается Вера мужу угодить и когда мимо проходит, как бы невзначай его ладонью по волосам, пригладила волосы, на самом же деле приласкала.

— Умойся, — говорит, — Андрюша, с дороги...

— Я уже умыт, — отвечает Андрей, — а ты б, Тася, взяла Устенку и погуляла с ней, пока блинчики испекутся... погода на улице хорошая...

— И верно, — суетится Вера, — сходи, дочка, с Устенкой погулять...

Ничего не сказала Тася, взяла Устенку, вышла, и лишь крючок запер дверь изнутри, как впервые за долгое время пробудилось вдруг у Веры к мужу желание... Подошла она, села рядом на лавку, принялась расстегивать ласково пуговицы на его фронтальной гимнастерке, стиранной-застиранной, сунула ладонь в ворот поближе к телу, с которым она уже давно женским безумием своим была разлучена... И в этот момент Андрей схватил ее одной рукой за горло, другой за ногу, как хватают курицу перед тем, как убить, и понес к печи.

— Что ты... За что... — в испуге крикнула Вера.

— Что я, — отвечает Андрей, — знать мне, а за что — знать тебе...

И ударил Веру головой об угол печи, сразу русая коса кровью намокла, после чего начал он совать Веру в горячую печь. Одной рукой сует, другой соломки подбрасывает... Вспыхнула соломка... Однако тут застучали в дверь... Обычно, бывало, придет соседка хлеба одолжить, постучит, постучит и уйдет.. Тут же не уходит и стучит, что есть силы, прямо крючок прыгает... Словно не сама соседка в этот раз пришла, а Бог ее послал... Опомился от этого стука Андрей, выпустил Веру, выскочила она окровавленная и обгорелая, обожженная, крючок отбросила и на улицу... Навстречу ей как раз Тася с Устенкой бегут, обе с плачем... Вдруг на полдороге вспомнила Тася тихий отцовский голос и вернулась торопливо к дому... Вышел и Андрей на порог, увидел возмущенный народ вокруг, соседей, увидел жену свою Веру, окровавленную им, обожженную им, которую плачущие дочери обнимают, и говорит:

— Идите в дом, пусть не видят вас, таких, люди.

— Ирод ты, — кричат отовсюду, — чего жену бьешь? Управы что ль на тебя нету...

— Идите в дом, — опять повторяет Андрей, — я больше бить не буду... Худо мне...

Кто-то к тому времени уже Вере мокрое полотенце принес, приложила она мокрое к разбитой голове, легче стало, и кровь больше не течет, запеклась... Взяла Вера обеих дочерей, возвратилась в дом.

— Дай мне хлеба с солью, — говорит Андрей Вере, — поесть хочу.

Дала она ему хлеба с солью, сел он на лавку, съел все, большой кусок, полкраюхи.

— Теперь воды дай, — говорит Андрей, — пить хочу.

Дала ему Вера большой деревянный ковш воды. Выпил он одним дыханием, не отрываясь.

— Еще дай, — говорит.

Дала еще... Опять выпил Андрей полный ковш одним дыханием.

— Теперь я спать буду, — говорит, и залез на печь русскую.

Слышит Вера и дочери через некоторое время — храпит он.

— Будем и мы ложиться, — говорит Вера, и прилегла вместе с дочерьми на лежанке...

Устенька заснула, а Вера и Тася не спят, но лежат молча... Вдруг слышат они — застонал Андрей...

Разные есть стоны. Есть стон живой, когда человек стоном к себе зовет, а есть стон безразличный к живому, когда человек стоном сам себе говорит то, что уже не может сказать по-иному. Если б мог он сказать по-иному, то произнес бы неизвестные ему, никогда не слышанные и не прочитанные слова Псалма:

”Я изнемог от вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от ожидания Бога”.

Однако бывают моменты и обстоятельства, когда стоном сказать это можно. Держи в руках Псал-

тырь Андрей Копосов, то и тогда не сказал бы он точнее, чем сказал стоном, поскольку русская Библия в ряде мест переведена неумело. Так необходимый сейчас умирающему Псалом № 87, стих 4-й переведен: "Ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к Преисподней". В то время как в подлиннике: "Ибо душа моя насытилась обидами, и жизнь моя приблизилась к могиле".

Жизнь и смерть Андрея Копосова из города Бор Горьковской области, бывшей Нижегородской губернии, подтверждает неточность данного перевода русской Библии. Меж душой, насыщенной бедствиями, и душой, насыщенной обидами, большая разница. От бедствий несправедливо сходить в Преисподнюю, но обиды неизбежно ведут к могиле... Такова одна из неточностей русского текста Библии. К счастью, однако, Предсмертный стон не требует перевода.

— Надо посмотреть, что с отцом, — говорит Вера.

— Я не могу, мне страшно, — отвечает Тася и чувствует вдруг сильный приступ живота, отчего тело дрожит в ознобе.

Тогда Вера поднялась, отодвинула занавеску и увидела мужа своего, лежащего на боку. Глаза его были открыты, и взгляд их был необычайно сильный и чужой.

— Тебе неудобно лежать, Андрей? — спросила Вера.

Андрей не ответил, все так же с незнакомой силой глядя куда-то в угол комнаты, где клубился предрассветный мрак... Вера начала переворачивать мужа, чтоб удобней уложить его на спину, и в тот момент, когда она его переворачивала, он умер. Но поняла это Вера не сразу. Когда выбросило из Андрея, словно волной, огромный язык, который неиз-

вестно как мог уместиться в человеческий рот, и когда втянуло этот огромный язык тут же назад словно пружиной, отчего он исчез, еще не поняла Вера. Но когда сами собой распрямились ноги Андрея, когда закрылись его глаза, поняла Вера и заплакала над мертвым мужем, сидя у него в изголовье...

Проснулась и заплакала маленькая Устя, еще не зная о смерти тяти, а оттого, что мать плачет... Ибо всякий раз, когда тятя бил маманю, и маманя плакала, Устя тотчас начинала плакать следом... Тася же в первые минуты смерти не могла приблизиться к отцу из-за живота, который слабил ее, всю потрясаемую ознобом. И провела она эти минуты на дворе, в ночном холоде...

Казалось, конца не будет страшной ночи, но пришел и ей конец. Утром уже все было как у людей. Устенку отвели к соседям, и Вера с Тасей омыли тело Андрея в корыте. Впервые в жизни видела Тася голое тело своего отца, и было в ней, помимо горя дочери, еще чувство неприятного стыда. Давно не видела и Вера голого тела мужа, и было в ней, помимо горя жены, еще чувство жути какой-то и отвращения... Когда начали Андрея обряжать, то не нашли целых хороших носков, поскольку сильно он обносился, пропивая все. Пришлось Вере натянуть мертвому мужу на ноги единственную пару своих хороших шелковых чулок, обрезав их, чтоб они походили на носки. Но обряженный в выходной костюм и уложенный в гроб Андрей Копосов сразу приобрел для жены и дочерей вид родного покойника, о котором, согласно языческим суевериям, забывают все дурное и помнят все хорошее... Того покойника, именем которого клянутся, святой тенью которого утешаются в горестях и исчезающему гниющему телу которого женщина бывает под-

час более верна, чем живому, полному соков и мужской силы. Вера знала, что будет верна теперь этому гниющему телу до смерти, а Тася знала, что будет верна желаниям мертвого отца, в то время как желаниям живого отца верна не была... Не от еврея продолжит она род Копосовых... Русский это будет род, приволжский... От шофера второго класса Веселова, сына Сергеевны, патрульной старухи. И родит Тася двух сыновей — Андрея Веселова и Варфоломея Веселова... Конечно, так далеко она еще не видела в этот момент и даже будущую фамилию свою не знала, но что русская это будет фамилия — знала...

Когда собрался народ к покойнику, вся почти улица Державина, кроме старухи Чесноковой из тридцатого номера, староверки, когда пришла улица на такое событие, вдруг явился и Павлов, выпивший, конечно. Подошел он к гробу, сел рядом, посмотрел и как схватит покойника за руку.

— Андрюша, ты чего, фронтовичок... Пойдем, выпьем, — лежит молча, как истукан, покойник. Выпустил Павлов мертвую руку, упала она опять на мертвую грудь. — Пойду я, — говорит Павлов, — а то еще заплачу, — и ушел.

Меж тем часовые нации, старухи на скамейках, рассказывали:

— Во втором номере, у Копосовых, сам помер... Жена распутная довела... А в тридцатом номере у еврея дочь пропала, второй день ищут. Еврей этот совсем с ума тепнулся, оттого что дочь ента, видать, в Волге потонула...

А Сергеевна добавляла от себя:

— Хотя б они все с ума тепнулись и хотя бы все в Волге потонули...

Сын Сергеевны, Сергей Веселов, будущий продолжатель рода Копосовых, о чем он еще не дога-

дывался, услышав такое высказывание матери, засмеялся и сказал:

— Маманя, ежели они все в Волге потонут, рыба переведется от ихнего духу... Еврейка ж та не в Волге вроде бы потонула, в лесу заблудилась... Там ее последний раз видели...

— Ничего, — отвечала Сергеевна, — лес, он тоже ничего... Оттуда без понятия не выберешься, а в чаще, где подальше, медведь задрать может, или веселый человек обидит... Ничего...

Антихрист действительно уже второй день почти что в безумии искал дочь свою, поскольку не все дано знать и Антихристу, лишь то дано, что пожелает Господь. Не знал он, где Руфь, но знал, почему она исчезла, и страдал он безмерно религиозным страданием еврейского отца, души не чаявшего в своем ребенке. Хорошая старая женщина Чеснокова переживала вместе с ним, но переживала по-русски, с подсознательным чувством безмерности пространства и народа. Сколько ни теряй, конца не будет.

— Что сделаешь, соколик, — говорила она. — Бог дал, Бог взял, — говорила она.

Но когда усчитана каждая душа и каждая пядь, горе от потери безмерно... И в горе еврейский отец, Антихрист, посланец Бога, не захотел верить Божьему Помыслу. И сказал он через пророка Иеремию то, чему посвятил свою судьбу целиком праведник Иов и на вульгаризации чего держится безбожие:

— Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с Тобой и однако же буду говорить с Тобой о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен и вероломные благоденствуют?

Ответил Господь Антихристу, потерявшему названную дочь Руфь, тем, чем ответил Антихрист Марии, потерявшей брата Васю. Ответил через пророка Исаяю:

— Я открылся не вопрошавшим обо Мне, Меня нашли не искавшие Меня. "Вот Я! Вот Я!" Говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим...

Понял Антихрист то, что знал, но забыл в беде. Кто не избирал, а был избран, не может задавать Господу вопросы. Он должен задавать вопросы себе, а ответы ждать от Господа.

Опять он ушел в лес, в чащу, откуда недавно вернулся мокрым от лесной сырости... Чем дальше уходил Антихрист от людных мест, тем сильнее его охватывала душевная тоска и тем сильнее он жаждал печали в одиночестве, как зверь, который прячется от всех, чтоб издохнуть, ибо должно совершаться это серьезное дело без присутствия мелочей, на которых основана повседневность... Хороша жизнь среди подобных себе, хороша и смерть вдали от подобных себе... Понял Антихрист, что не для проклятия он прислан сюда Господом, но чтоб самому быть проклятым. Только Господь может проклясть, не будучи Сам проклятым.

Сел Дан, Аспид, Антихрист на мшистый гниущий пенёк и охватил голову руками. Меж тем дочь его Руфь, она же Пелагея, была невдалеке, минутах в десяти ходьбы по бурелому, по колючему, опутанному паутиной кустарнику. Третий день блуждала она в лесу, питаясь ягодами и листьями, пила из лесных луж и спала, прикорнув у древесных стволов. Голос ее почти исчез от крика, и платье ее было изодрано в клочья ветвями... Сейчас, выйдя на прогреваемую солнцем полянку, она решила немного передохнуть, прилегла и уснула от усталости. Сон ее был крепок, повел сон далеко отсюда, куда же повел, поняла она лишь проснувшись. Так спящей и застал ее Павлов, тот самый веселый человек, который всегда готов в лесу девочку обидеть, еврейскую же девочку,

согласно надеждам старухи Сергеевны, в особенности.

После похорон Андрея Копосова пил он, поминал и плакал, а женщин не посещал, так что накопилось у него много мужского напора... Пьяного унесли его с поминок, и лишь слегка протрезвевшего унесло его в лес с ружьишкой. Забрел он в чащу, где еще не бывал. И словно мираж перед жаждущим в пустыне, предстала перед Павловым спящая девочка, совершенно беззащитная...

Увидел Павлов, что не по летам развиты и крепки обнаженные ноги ее, свежа и крепка в зародыше грудь ее. Изнеможение и страх, которые испытала Руфь в лесные дни и ночи, соединились с покоем от чистого сна, и лицо девочки соблазняло сейчас доверием своим к человеку и зверю в лесной чаще... С нечленораздельным рычанием кинулся к ней Павлов, и когда наклонился, она открыла глаза. Если б мог Павлов опомниться, если б пришли ему на память мгновения, когда он сам просыпался под забором в одиночестве и покое, в ожидании единственного Слова, к нему обращенного, которое ищет его в этом мире. Но не нашло Павлова это Слово, и даже обрадовался он пробуждению еврейки, в веселую ненависть впал насильник от слабости того, кого ненавидел.

— Ох и попорчу я ж тебе, Сарочке, передок, — в упоении крикнул Павлов, — ох и сделаю я ж тебе ваву... Ох и азохон вей... — Ибо как всякий славянин в подобной необузданной страсти он знал, он изучил два-три еврейских выражения, главным образом, печальных, которые казались ему особенно смешными и которые славянский язык его моллол действительно очень смешно, — ох и азохон вей... — повторил Павлов и вдруг ощутил за спиной своей чье-то горячее влажное дыхание...

То были две медведицы, которые вышли из чащи подобно тому, как вблизи Вефиля вышли библейские медведицы из леса казнить по призыву пророка Елисея злых детей-обидчиков. Хоть висело у Павлова на плече ружьишко, да дрянненькое оно, а медведицы рядом. Худо, если помнут ребра, если вовсе задерут, и того хуже. Заплакал Павлов. Ни рукой, ни ногой не шевелит, стоит и плачет, капризничает.

— Жить хочу, — кому это говорит, сам не знает — девочке, которую изнасиловать хотел, или диким неразумным существам.

Потянулись обе медведицы к Павлову, обнюхали его... Не понравился он им... Плюнули ему в лицо, сначала одна, потом другая, боевой матросский облик склизкой слюной зацепили. Потом понюхали Руфь, облизали ей руки и назад через кустарник ушли. Ушли медведицы, и лишился устойчивости Павлов, которую ему непосредственный страх придавал. Упал как стоял, вытянувшись. Так парализованные падают... Полупарализованный, лишившись дара речи, сутки полз он по лесу к людям, к жизни. В девятнадцать ноль-ноль следующего дня выполз он на дорогу, и поскольку, к счастью, в данной местности русского человека легко встретить, объяснил паралитик, попросил отнести себя к Александре Ивановне, вдове пятидесяти лет. Ибо речь к нему постепенно вернулась, но мужское навсегда оставило.

Александра же Ивановна, работник пищеторга, готова была принять его в любом виде, поскольку единственная из всех женщин полюбила и вывозила с тех пор ежедневно на инвалидной колясочке воздухом подышать, говоря знакомым:

— Старые фронтовые раны свое берут... Подкосило Степу...

А Руфь через Знамение, от которого Павлов, желавший ее изнасиловать, лишился мужского, поняла, что она пророчица Пелагея, урожденная села Брусяны вблизи города Ржева. Вспомнила она, что во сне этом ей было сказано, и сон этот Павлов прервал. Как Елисей получил дух от пророка Ильи, так и Пелагея получила дух от отца своего Антихриста. И Павлов тому способствовал. Значит и Павлов недаром был создан Господом.

Пошла Пелагея и быстро обнаружила отца, в унынии сидящего на гнилом пне. И сказала:

— Вот я...

Бросился Антихрист к дочери, живой и невредимой, обнялись они в радости.

Пророк Иона, три дня проведенный во чреве кита, проклятием своим очистил от греха город Ниневию. Проклятием очистился и согрешивший Антихрист. Сказал Дан, Аспид, Антихрист:

— Простил меня Господь.

И ответила отцу дочь его, пророчица Пелагея:

— Господь сила моя и пение мое Господь.

Знала она теперь, кто ее отец, но отец не знал, кто его дочь и думал, что Руфь от старухи Чесноковой, староверки, обучилась словам пророков. Сказал ей Дан, Аспид, Антихрист:

— Руфь, дочь моя, ты выросла в этих местах, но теперь нам приходится их покидать.

— Ничего, — говорит ему пророчица Пелагея, — там где ты, там и родные мне места.

Обрадовался такому Антихрист, поскольку послал его Господь к следующему: в городе Витебск 29 сентября 1949 года будет осужден как опасный враг советской власти Кухаренко Александр Семенович 1912 года рождения и отправлен в Буреполомские исправительно-трудовые лагеря. Это начало следующей Притчи.

IV



B.R
85

Есть такой вечный русский вопрос, можно сказать, фундаментальный: кто губит Россию? Как задаст этот вопрос русский человек, сразу оглядывается по сторонам, если он, конечно, не сугубо русский литератор. Если же он русский вдвойне — то есть русский человек и сугубо русский литератор, то по сторонам не смотрит, а спросив: кто губит Россию? — сосредоточенно смотрит на залитую вином скатерть, точно ищет у нее ответа на эту давнюю русскую загадку.

При Владимире-Крестителе был русский человек язычник накануне мусульманской веры. Стояли б тогда на Руси каменные и деревянные русские мечети. Носил бы Микула Селянинович чалму, а Ярославна паранджу, и не было бы роковых вопросов, столь свойственных христианству. Но в последний момент, вопреки мнению большинства знати и всего народа, отозвал из Хорезма делегацию Владимир, послал ее в Византию. Так вместо русского мусульманства явилось миру русское христианство — по воле случая. Однако такая ли уж христианская у России география? На Востоке от Зауралья к Алтаю уходит Россия в Азию, на юге от Турции и Балкан подступает Азия к России, и Волга, национальная реликвия, в Азию впадает...

Вот он, облик молодой России — не задумчивый северный, иконописный... Голова круглая, темно-русяя на востоке, черноволосая на юге, глаз узок, светел на востоке, темен на юге, и упрямо прет из-под глаза твердая азиатская скула. Уж лет триста—четыреста в этой скуластой России национальная го-

сударственная идея. Хотя если уж к самим истокам добираться, еще до этой географии, когда вытесненные с Дуная восточные славяне селились на Днепре, глянул в их беспокойный кочевой глаз арабский купец-путешественник и сказал: "Если этот народ научится ездить на лошадях, он станет бичом для человечества". Пророчески сказал, ясно и совершенно не загадочно. Самая бездонная загадка, когда никакой загадки нет. Самый бездонный колодец это невыкопанный колодец. Культура России связана с Европой, а цивилизация — с Азией. Это проблема, но не загадка. Проблему надо решать, употребляя тяжелый духовный труд, отвлекающий от динамичной национальной идеи. Загадку решать не надо. Над загадкой можно размышлять, пребывая в сладком для русского человека состоянии, описанном в "Мертвых душах" Гоголя: "Ты ни о чем не думаешь, а мысли сами лезут тебе в голову". Безусловно, именно в таком состоянии и возник роковой, по сей день не разрешенный вопрос: кто губит Россию? Не выдуман вопрос, сам в голову влез...

Правда, вроде бы нашли с помощью народных умельцев и предельно национальной интеллигенции... Кто губит, вроде бы ясно... Как по маслу ответ сам в голову влез... Но кто им в том способствует? Опять вопрос... Ох и сжился же с этими вопросами русский человек, приучен испокон веков бедами и горестями к вопросам православный.

— Спасай, — кричат ему.

— А как? — стонет он, измученный, усталый.

— Ясно как — бей!

Хоть и устал русский человек, а бить всегда силы найдутся.

— Ентих?

— Этих само собой... И тех тоже...

— Так за ентих Бог простит, а те же свои... Как в народной песне поется:

Выйди, выйди, ты мальчишка,
Посмотри на белый свет.
Там стоит много народа,
Посредине мать, отец.
Ты скажи, скажи, мальчишка,
Сколько душ ты погубил?
Восемнадцать православных,
Двести семьдесят жидов.
За жидов тебе прощенье,
Но за русских никогда...

— И за русских простим... Вон она, полная Россия русских, народ не усчитанный. Сколько ни черпай, меньше не будет. Поработала русская баба — наследила. А кого вычерпали, тех видно не будет — странства...

И верно, русская молодежь или будущие поколения, еще не рожденные, прочитав страшные воспоминания очевидцев, могут подумать: ох и страшная же тогда была русская жизнь... И как это люди при ней жили? Ничего страшного не было, жили нормально в своем большинстве. Радостно даже жили, с верой в справедливость, и русский климат тому способствовал. Чрезмерной жары по климату не полагалось, а от чрезмерного холода аплодисментами грелись. В тридцать седьмом году, например, хорошая весна была, рано все расцвело, и начал приходить в себя народ от страстей коллективизации, а в 49-м к лету послевоенная голодуха миновала. Плохо было подавляющему меньшинству, которое можно было по пальцам пересчитать, если каждый палец за миллион принять... Но Россия — не тесная Европа. Здесь народ по пальцам считать не привыкли. Здесь испокон веков миром живут иным на зависть. Однако не во всем еще русскому человеку

позавидовать можно. Отчего ж оно так? Губитель старается. Трудится губитель во вред России...— Игде он?

Опять семьдесят семь. Опять к старому вопросу вернулись: кто губит Россию. Хоть по сторонам оглядывайся, хоть в скатерку, залитую вином, смотри, подперев щеку... Карательные органы эту национальную древнюю загадку по-своему пытаются решать.

И попал в губители России Кухаренко Александр Семенович, уполномоченный Заготзерна по Витебской области. Попал летом 1949 года.

”Дело это не Божье, — подумал Господь, — проклинать тут вроде бы некого Божьим проклятием. Сами они себя прокляли и понять это немудрено даже человеческому конечному разуму”.

Но есть у человека одна болезнь: что не может он понять — то хочет понять, а что может понять, то не хочет понять... Духовная это болезнь у человека-грешника от четвертой казни.

”Поставлю Я здесь болезнь — моровую язву во главе угла, — решил Господь. — Моровая язва дух гложет не хуже, чем душу и тело”.

Так Антихрист, посланец Господа, приобщен был к Притче о болезни духа.

ПРИТЧА О БОЛЕЗНИ ДУХА

Кухаренко Александр Семенович был по нации белорус, третей братишка русского человека... В любом национальном перечислении до трех твердый счет, славянский ранжир, а далее уже нет подобной твердости. Иногда четвертый грузин, иногда узбек, молдаванин, или вовсе казах, иногда грузин шестой после эстонца, а казах седьмой впереди молдаванина... С четвертого места уж как получится, однако первых три славянских места тверды. Треть белорус от русского человека, и сразу же вплотную за украинцем... Неплохо это, если учесть, что испокон веков жил белорус на неплодородной земле... В XIX веке один из известных обличителей самодержавия писал: "Орловский мужик наш дошел до того, что стал нищим, как белорус..." Ведь принцип равенства не принесен с Запада, это только кажется, что порожден он лозунгами Французской революции. Принцип равенства в корнях русского национального сознания. "Либо всем хорошо, либо всем худо — вот она справедливость..."

Жили в городе Витебск две семьи ответработников: Кухаренко и Ярнутовских. Семья Кухаренко была счастливая, а в семье Ярнутовских было неладно. Кухаренко, Саша и Валюша, познакомились

в белорусских партизанских лесах, где вопреки инструкции и в виде исключения родилась Ниночка, а Мишенька родился уже в освобожденном Витебске. В послевоенное время административно-управленческий аппарат Белоруссии был в значительной степени партизанский. Влиятельные партизаны старались на руководящие должности назначить своих, оставшихся в живых бойцов... Попал на руководящую должность и Коля Ярнутовский, подрывник. Женился он на секретарше городской прокуратуры Светлане. Женился по любви, но не сложилась у них жизнь. И все ж жили в трудах и без всяких аморальных дел. Согласно записи в Загсе, родили двух детей. Так что могли бы и не знать совершенно, что они лишены счастья, если бы не счастливая семья Кухаренко... Собственно, в чем было счастье у семьи Кухаренко, понять не могли, однако знали, что эти — счастливые, Саша и Валюша... Действительно, в чем было это счастье? В том, что возле дома Кухаренко росли большие желтые цветы? Что в выходные дни любил Саша Кухаренко ездить на велосипеде в шелковой оранжевой рубашке, посадивши впереди себя дочь Ниночку? Что летом Валюша ходила в белой блузке и серой юбке, в белой косынке, зимой в хромовых сапожках, в жакете с пушистым рыже-серым воротником? Что галушки ели у Кухаренко цветными деревянными ложками? Все это попробовала заимствовать Светлана и даже белорусские картофельные вареники научилась стряпать лучше Валюши. Но не было счастья, какое Кухаренко окружающим демонстрировал. Причем обе семьи жили в одинаковых материальных условиях, довольно хороших для послевоенной разоренной и сожженной Белоруссии. И обе одинаково трудились, чтобы эту послевоенную разруху миновать.

Белорус испокон веков любил свою нищую матку-Беларусь, как любит украинец свою богатую кулацкую маты-Украину и русский свою широкоплечую большую Роженицу. Но любил всегда менее заметной любовью, холодновато, по-польско-литовски, хоть и без польской красочности... В белорусском национализме нет ни украинской ущемленной страсти, ни русского драчливого размаха, ни польской католической театральности... Оно и не удивительно. Земля эта в большей части — болотистая равнина, покрытая густыми лесами и пересеченная сильно разливающимися весной реками. Почва мало плодородна; болота, трясины, весной разливы, осенью непролазная грязь затрудняли, особенно в прежние времена, сношения между населением... Единая идея, необходимая для национализма, была выражена здесь не так ярко и во многом заимствована немногочисленной интеллигенцией из польско-литовских уст, а не созрела в народном нутре, сохранявшем в самых глухих местах, в районе Пинских болот, например, весьма долго не национальное, а племенное сознание... Ни греко-римский спесивый просветитель, ни жестокий монгольский грабитель не проявили большого интереса к нищим болотам. Зато испытали они нашествие бездомных еврейских масс, которых вытесняли сюда из жирных мест нации, понявшие закон Дарвина гораздо раньше, чем он был сформулирован. Эта еврейская своеобразная экспансия без ножа, но с котомкой, когда бездомный пришел к нищему, способствовала появлению и подлинно единой национальной идеи, а благодаря польско-литовской опеке идея эта быстро достигла мировых эталонов. В остальном же национализм Белой Руси мало известен и в недозволенном антирусском направлении вряд ли когда серьезно развивался. Поэтому арестов по обвинению в

национализме было в Белоруссии гораздо меньше, чем на Украине. Однако они были, и именно ими была разорена счастливая семья Кухаренко и несчастливая — Ярнутовских.

Кухаренко, который был уполномоченным Заготзерна, казалось бы Бог велел, если и попасть в тюрьму, то за сельскохозяйственные преступления. Однако он сел за культуру. Как-то в одном селе нашел он старинную книгу писателя Бурачок-Богушевича под названием "Белорусская дудка". В книге этой было сказано, что "белорусский язык такой же человеческий и панский, как французский, немецкий или какой-нибудь другой. Неужели же нам можно читать и писать только на чужом языке?" Кухаренко с этой книгой направился в местный пединститут, где выяснил у заведующего кафедрой доцента Богдановича, что Бурачок-Богушевич родоначальник современной белорусской поэзии. Помимо Бурачок-Богушевича, — выяснил уполномоченный заготзерна по Витебской области, — возрождению белорусской культуры способствовал Янка Лучина, печатавший с 1889 года белорусские стихи и издавший сборник "Вязанка". Доцент Богданович являлся по совпадению дальним родственником дореволюционного писателя Богдановича, и он с радостью ухватился за этот интерес ответработника из родовитых партизан к белорусской национальной идее и попросил его организовать выставку.

Александр Семенович Кухаренко действительно был большой любитель белорусского, и чтоб поест по-белорусски и чтоб попеть по-белорусски. А от национальной песни и национальной еды уже до национальной культуры недалеко. Культура же в 1949 году стала самым опасным участком, как в 1942 году подрывное дело. Предложение доцента Богдановича Кухаренко направил Ярнутовскому,

работавшему как раз на этом опасном участке социалистического строительства, а именно в агитпропе. Ярнутовский, которого не переставало удивлять странное счастье семьи Кухаренко, отчего он уже реже похаживал в гости, по совету жены своей Светланы, секретарши прокуратуры, решил проконсультироваться в инстанциях. В результате консультации доцента Богдановича арестовали. В искаженном положительном аспекте пытался представить доцент борьбу против России польского помещичьего класса, считавшего Белоруссию своим культурным завоеванием... Богдановича арестовали второго июня, а девятнадцатого июня, утром, во время завтрака, пришли за Кухаренко...

Накануне семья Кухаренко, все вместе, была в лесу, ибо счастливым семьям доставляет особую радость находиться не только дома, но и вне дома в полном сборе. Так они и шли по лесной тропинке, Саша вел за руку Валюшу, жену, а Ниночка — Мишеньку, братика.

Белорусский лес не то, что приволжский или украинский. Для белоруса лес, как для волжанина река и для украинца поле. Лес веками кормил и одевал белоруса. Лесная растительность, ягоды, гриб здесь не подспорье, грибной и ягодный урожай для белоруса — хлеб насущный. Пусть пришелец испокон веков ел в местечках, давился постной булкой с селедкой и ржавым горьким луком... Вот они, белорусские деревья-кормильцы... Крепкие деревья, надежные, что стены родные... Обогреют и сохранят... Вот и поляны солнечные, ягодой поросшие...

— Стойте, дети, — говорит батя, — вон, глядите — змей... Глядите, дети, Ниночка и Мишенька... Пока белорус не убьет змея, не настоящий он белорус, так народ наш считает... Возьми, Ниночка, камень, пойд и убей змея.

Заволновалась Валюша.

— Куда ж ты ребенка посылаешь, а если ужалит?

— Как это ужалит, — говорит Саша, — разве она не белоруска, чтоб змея бояться.. И я буду рядом... Тут заплакал маленький Миша и говорит:

— Не надо бить змея, он тоже жить хочет, у него тоже детки есть.

— Ох, сыночек, — говорит батя, — разве можно жалеть змея. Смотри, чем он сейчас занят. Он греется на солнце. А когда змей греется на солнце, он сосет солнце. И за лето потом солнце сильно уменьшается. Теперь подумай, сколько на земле гадов и сколько раз на земле бывает лето. Каждое лето множество гадов сосут солнце, и если ты человек, убей змея. Это твоя обязанность. А если ты еще и белорус, ты не имеешь права мимо живого змея пройти. Такое у нас национальное поверье.

Наклонился он и взял камень в одну руку, а Нину другой рукой за собой ведет осторожно... Змей между тем сильно пригрелся на лесной травке, в радости потерял хитрость перед извечным врагом своим и ненадолго забыл проклятие-предупреждение Господа со времен Эдема — рая, когда соблазнилась Ева.

— За то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, и перед зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоём и будешь есть прах во все дни твоей жизни. И вражду положу между тобой и между женою и между семенем твоим и семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пятку...

Бросила в голову разомлевшего на теплой травке, потерявшего от удовольствия хитрость змея Ниночка камень и попала, придавила голову. Забился змей, ибо он считал, что проклятие Господа не лишает его права на жизнь, поскольку и человек

проклят, и женщина проклята особым проклятием. Забился змей, который еще недавно наслаждался единым Божьим солнцем, от которого все сосут и которое все уменьшают. Однако изрублен был змей на мелкие части саперной партизанской лопаткой отцом и дочерью Ниночкой, а плачущего Мишу Валя увела подальше от этого зрелища. Но не видели они, что еще две змеи, большая и малая, наблюдают холодными, ненавидящими глазами за счастливой семьей из кустов.

— Поздравляю, — говорит батя и целует дочку свою. — Стала ты теперь настоящей белорусской, поскольку исполнила народное поверье и своей рукой убила змея.

Тем особым запомнился Ниночке этот выходной 18 июня... 19 июня, часов около девяти, когда семья Кухаренко ела на завтрак галушки цветными ложками, пришли двое, оба в кожаных пальто, не смотря на солнечное утро.

— Вы арестованы...

И все это происходит не то чтобы без страха, а как-то несерьезно.

— Предъявите ордер, — говорит Кухаренко.

Худощавый усатый, видать более ответственный, кряхтя, с неохотой полез в карман и показал ордер... Видит Кухаренко, закон соблюден, ордер прокурором подписан, Василием Макаровичем. И когда увидел он подпись Василия Макаровича, с которым позавчера рядом сидел на совещании, стало ему вдруг тяжело на сердце... В счастливых семьях сердца едины, и есть между ними незримая связь. Стало тяжело Саше, заплакала Валюша, которая до того сидела окаменев.

— Не плачь, Валюша, — целуя ее измазанным от галушек в сметане ртом, говорит Саша, — не плачь, детей напугаешь.

Но уже поздно. Заплакала Ниночка, схватила батю, вцепилась в него, а Мишенька, наоборот, в угол забился.

— Ниночка, — говорит отец, — ты вчера змея своей рукой в лесу убила, чего тебе бояться? Твой батя скоро вернется. Я сейчас пойду, куплю тебе куклу и приду назад.

— Мне привези ножичек, — говорит Мишенька.

— Нет, — говорит отец, — ножичек остренький, ты пальчик порежешь. Я тебе, Мишенька, что-либо другое привезу, что-либо хорошее.

Хоть маленький был Мишенька, но почему-то понял, что отец его не уходит, а уезжает. Не принеси, попросил, а привези. Валя же, их мать, любящая жена Саши, поняла поначалу происходящее гораздо менее своих малых детей, ибо приобретя жизненный опыт, научилась не понимать ясного. Однако все сделала, что полагается делать жене при аресте мужа. Быстро собрала вещи, простилась без крика, чтоб не напугать детей и, выйдя следом на улицу к автомобилю, в который садился Саша, увидела вдруг огромный мир и себя в этом мире маленькой до ничтожности... Ниночка тоже видела все это из окна, — правда, огромного чужого мира она в окно не заметила, но увидела улицу и запомнила, как отец уходил, спину его запомнила...

В тот же день Ярнутовских арестовали, часом ранее... Колю со Светой, а детей малолетних отправили в дом ребенка города Витебска... Так выяснилось, тогда поняла Валюша, что и здесь она счастливее. Правда, надолго ли счастливее, не знала, и все ж решила воспользоваться своим счастьем... Одеда торопливо детей, нарезала хлеба, налила в поллитровую баночку теплой манной каши, насыпала детский карман, который через плечо надевается, конфетами и говорит:

— Пойдемте, ребята, на вокзал.

Приходят они на вокзал.

— Ниночка, — говорит мать ее, Валюша, — ты сейчас с Мишенькой поедешь в Москву к тете Клаве.

— А ты? — говорит Нина.

— Я здесь, возле отца останусь, — отвечает Валюша, — Ниночка, ты большая уже девочка, что с отцом случилось, ты никому не рассказывай в дороге, следи только за Мишенькой.

Закружилась вдруг у Валюши голова, и вспомнила она, как при немцах был на окраине Витебска концлагерь, и женщины через колючую проволоку просили у прохожих хлеба или просили взять у них детей. Валюша и ее подруга Стася, убитая потом в отряде, руками разорвали колючую проволоку и взяли у матери мальчика лет двух и еще двух мальчиков около шести лет и девочку лет восьми... Немцы на вышках начали стрелять по ним, и потому они не смогли взять остальных детей, которых, отталкивая друг друга, пытались подать им матери... В опасности мать чаще всего прижимает к себе ребенка, однако иногда она пытается спасти его, отдав, отдалив, потеряв, доверив опасному случаю, ибо в бесчеловечных ситуациях день страшнее ночи, многолюдная улица страшней волчьего леса и родное страшнее чужого... Что чувствовали любящие матери, которые, отталкивая друг друга, старались удалить от себя детей своих? Если б чувствовали они в тот момент тоску и страдание, то не смогли бы это совершить... Нет, в бесчеловечной ситуации сердце губит человека и все человеческое губит. Только бесчеловечный инстинкт самки, а не материнство спасти может... Потому торопливо поцеловала Валюша Мишеньку и Ниночку, посадила их в вагон московского поезда, и когда благополучно ушел поезд, не стало детей рядом с ней, вместо го-

речи испытала Валя радость... Несколько улиц шла Валя в радости и лишь войдя в какой-то захламленный безлюдный сквер, застонала. Неподалеку располагался павильон "Пиво-воды". Валя вошла туда и выпила водки.

Тот бесчеловечный инстинкт, который помог ей ловко, умело отправить от себя любимых детей, помог ей справиться с подступающим к сердцу ужасом. Водка не избавила от ужаса, но она сделала душу более мелкой, более слабой, а слабые души легче переносят тяжелое горе. Выпив, пошла Валюша к Кулешову, в местное НКВД, ибо знала его по партизанскому движению. Там с кем-то препиралась в приемной. Потом шла по улице, ее сторонились. Через три дня она была арестована. Так погибла счастливая семья.

В Витебске был Саша Кухаренко еще со следователем на "ты", но в Минске его начали бить, топтать, дробить каблуками пальцы и с помощью этих нарушений социалистической законности выяснили подробности о его белорусском национализме и о связи с гестапо в период войны. Тогда следствие было закончено, и 29 сентября состоялся суд... Пока Саша Кухаренко пытался доказать свою невиновность, пока искал правду и требовал справедливости, было ему очень тяжело, и о детях и жене он думал не часто. Но когда он расслабился, забыл и о своих заслугах, и о чужих несправедливостях, стало легче, совсем стало легко, и он уже не думал ни о чем, кроме жены Валюши и детей Ниночки и Мишеньки.

С детьми же вот что произошло... Нина и Миша благополучно приехали в Москву, вначале питаюсь хлебом, манной кашей из баночки и конфетами, а потом покупая у проводника чай с печеньем. Угощали их также колбасой соседи-пассажиры. Едва

оставшись одна, Ниночка стала женщиной самостоятельной, повторив во многом цепкость Марии из села Шагаро-Петровское на Харьковщине, которая так же одиноко, без матери ехала с братом Васей в 1933 году, правда, по другим обстоятельствам... Пассажирам Нина рассказала, что никаких родителей у них нет давно, воспитывались они у чужой тети, а теперь нашлась родная тетя Клава в Москве... Ребенок вообще умеет врать и любит врать гораздо более взрослого. Во всякой лжи ведь игра. Маленький Миша тоже участвовал в этой игре сестры, и так они доехали. Один добрый сосед-пассажир, старый москвич, довез детей по адресу, который Валя Кухаренко написала в четырех экземплярах, на случай потери, и вложила в детский карман с конфетами, надеваемый через плечо. На кармане этом был вышит зайчик, и перед выходом из дома Валя надела карман на Ниночку. Телеграмму Клавдии она не дала, во-первых, чтоб отъезд детей был более незаметен, а во-вторых, зная, что Клавдия не будет довольна их приездом, и потому лучше сделать это внезапно. С сестрой своей она давно не переписывалась и мужа ее, по нации еврея, не любила.

Клавдия была гораздо старше Вали, некогда очень красивая, и вышла замуж еще до войны за москвича-искусствоведа, с которым познакомилась в Ялте. Фамилия, имя, отчество этого искусствоведа были Иволгин Алексей Иосифович. Иволгин Алексей и Клавдия, а также сын их Савелий, подросток, результат явно неудачного смешения кровей, болезненный, задумчивый, правда, склонный не столько к мыслям, сколько к галлюцинациям, жили в большой московской квартире и в лучшем из всех возможных в Москве мест — на Тверском бульваре. Недостаток квартиры был в том, что рас-

полагалась она на первом этаже. Но это еще полбе-
ды, поскольку в старых домах окна расположены
высоко, почти на уровне второго этажа новостроек,
а снизу существовал еще подвальный этаж, где тоже
жили. Беда была в том, что квартира Иволгиных
была коммунальной, а обида в том, что кроме
Иволгиных, занимавших три комнаты, жилищная
контора содержала здесь дворницкую в малень-
кой комнатухе. Так что, хоть сосед был один
лишь, но делить с ним приходилось и кухню, и ван-
ную, и телефон, и вообще быть стесненными. Ивол-
гины многократно писали во многие инстанции,
брали ходатайства от многочисленных культурных
учреждений, в которых Алексей Иосифович сотруд-
ничал, однако безуспешно. Дворницкая в квартире
Иволгиных существовала, и жил в ней дворник, та-
тарин Ахмет, ругатель "с ножиком", от которого
Алексей Иосифович однажды спасся, запершись в
туалете. Запрись он в ванной, плохо бы было. Дверь
там слабая, гнилая, крючок еле держится.

— Сходи к Фадееву, — говорила сердито мужу
Клавдия, — кроме Фадеева никто нам от дворниц-
кой не поможет избавиться.

— Как я могу из-за такой чепухи обращаться к ге-
неральному секретарю Союза советских писателей,
— жестикулируя, отвечал Иволгин, — и так про
меня говорят...

— Пусть говорят, — отвечала Клавдия, тоже же-
стикулируя, ибо жены евреев очень часто становят-
ся пластикой похожи, если живут с глазу на глаз, а
не большой славянской семьей, где еврейский муж
это приемыш...

— Но я с ним незнаком, — говорит Иволгин.

— Как незнаком, — отвечала Клавдия. — А на
гражданской панихиде Михозлса он с тобой позд-
ровался.

— Фадеев здоровался там со всеми, поскольку был очень расстроен, — отвечал Алексей Иосифович.

— Но со мной ведь он не поздоровался, — говорила Клавдия, поворачивая весь разговор к повторам и бессмысленности, где она могла одержать верх.

— С тобой нет, а со мной да, — нервно выкрикнул наконец Иволгин.

— Не кричи, — нервно крикнула и Клавдия, — вечно вы любите кричать.

— Кто это "мы"? — побагровел Иволгин, то есть скорей не побагровел он от гнева, а покраснел от стыдливого негодования, как краснел всякий раз от слова "еврей" где-либо и по какому-либо поводу услышанного, точно его ловили на чем-то тайном, как поймала недавно Клавдия на тайном сына их Савелия в туалете... Савелий тогда так же покраснел от стыдливости...

Внешность Иволгина была неопределенная, фамилия замечательная, причем не псевдоним, а по паспорту, ибо еще отец его, дореволюционный интеллигент, патриот России, удачно сменил фамилию, как он говорил — "из кошки по-еврейски стал птичкой по-русски"... И с именем Иволгину повезло, только отчество немного подводило. Многие даже не знали, что Алексей Иволгин еврей. На гражданской панихиде Михозлса, где выступили Фадеев, Зубов и прочие именитые русские люди, несколько слов сказал и Алексей Иволгин. Слово, еврей, на панихиде не произносилось, и Алексей Иосифович вздрогнул душой всего два раза...

Однако Ахмет, дворник, откуда-то догадался, что враждующий с ним сосед, еврей.

— Джид, — кричал пьяный Ахмет, — мал-мал зарежу...

— Пойди к Фадееву, — говорила Клавдия, — татарин покалечит тебя и Савелия, или тебе наплевать

на сына? Ты до сих пор не поинтересовался хорошим психиатром, — и, не выдержав, сделала мужу очень больно, — хватит уже, что ты наделил мальчика таким длинным носом... Его все дети дразнят на улице...

— Причем тут я, — нервно покраснел Иволгин, — посмотри, у меня нормальный нос, и у отца моего был не еврейский нос.

— А у кого же еврейский нос, у меня или у моего отца, сельского бондаря? — говорила Клавдия и видя, что муж привычно краснеет, добавляла, — тебе еще остается обвинить меня в антисемитизме, тогда как всем евреям нашего института известно, что я не антисемитка и что у меня муж еврей.

— Причем тут антисемитизм, — говорил Алексей Иосифович. — Ты знаешь, что я смотрю на эти вещи широко.

И он затих в тот вечер, более ничего не сказав жене, ибо данное препирательство происходило вечером, разумеется, в отсутствие Савелия. Взяв книгу "Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII века", сев с ней в любимое кресло-качалку, прочтя фразу: "Вспомните, от каких малых начатков происходили российские первобытные народы и до какого они достигли ныне величия, славы и могущества...", — он задумался кисло-сладкими мыслями о том, как хорошо бы было ему родиться от славян, аборигенов, или в крайнем случае хотя бы от татар или якутов. Каким бы хорошим, гуманным неевреем он был бы, как много бы он сделал для тех, кому не повезло с рождением от еврейского отца с матерью и, главное, что ничего уже нельзя изменить. Если уж ты родился евреем, то это так же навек, как если бы умер русским. Может, сыну его Савелию еще хуже, еще обиднее будет. Половины ему не хватило, всего полови-

ны... Ах, какое это богатство — быть русским, и как не ценят русские, как недостаточно они любят Россию... Он знал, что есть немало русских, которые недостаточно любят Россию... А ведь если б ему, Алексею Иосифовичу, только разрешили быть русским, каким бы русским патриотом он был... Однако он знал, что есть немало русских, которые даже недовольны, когда еврей любит Россию, которые ревнуют его к России и которым больше нравится, когда еврей России — враг. И есть немало евреев, которые делают подобные обидные мысли справедливыми... Да, да, он может указать на таких пальцем... Не ценят русский хлеб, не ценят русское гостеприимство... Неблагодарные... Ах, как он их ненавидит... Из-за них и нас... Вот Клавдия русская... Белорусы ведь тоже фактически русское племя...

После этого мысли его, как обычно в таких случаях, пошли веером во многих направлениях и стали скучны, как скучны испокон веков становятся всякие разговоры и рассуждения о еврействе после первоначального живого напора. К тому ж явился Савелий, нехорошо возбужденный, посмотрел на родителей, сказал:

— Опять ругались?

И сели ужинать. Думал Алексей Иосифович, что, кроме скучных привычных мыслей о еврействе, скучного привычного спора с женой и нехорошо возбужденного Савелия, запомнится этот вечер сильным дождем и больше ничем... Но вечер этот запомнился главным образом исчезновением Ахмета... Два дня его не было, потом выяснилось от участкового милиционера Ефрема Николаевича — сидит Ахмет. Ножиком пырнул кого-то.

— Немедленно, — радостно говорит Клавдия, — немедленно иди за ходатайством, чтоб никого не подсеяли.

Подобное ходатайство брать — три влиятельные подписи нужны, обязательно общеславянские, но желательно русские... На "ов", на "ин" кончающиеся, уж в крайнем случае, на "енко".

Побежал в одну канцелярию Иволгин — в командировке русская влиятельная подпись на "ов", побежал в другую — отдыхает в Крыму подпись на "ин", в третью — тут добыл, но не русскую, а славянскую на "енко"... Радостный прибежал домой, Клавдия встречает озлобленно.

— Поздно... Можешь солить свою славянскую подпись... Подселили... Да еще с дочерью... Ахмет хоть один был.

Видит Иволгин — с дверей комнатухи дворницкой замок снят, и голоса там слышны — мужской и женский.

— Кто? — спрашивает глазами Иволгин.

— Пойдем, дурак, — отвечает глазами Клавдия.

Пришли они в гостиную, сели у рояля, пригорюнились.

— Кто? — спрашивает уже голосом Алексей Иосифович.

— Конечно, еврей, — отвечает Клавдия.

— Как? — говорит Иволгин, — еврей дворник?.. Анекдот, — и засмеялся.

— Смешного тут мало, — улыбается и Клавдия, — но все будет зависеть от первого разговора... Чтоб сразу на место поставить... Тут, я думаю, легче будет... В крайнем случае, я ему голову кастрюлей разобью. Он еще будет меня стеснять на моей собственной родине. Он должен помнить, что живет в Советском Союзе...

Знал Алексей Иосифович, что жена его, счетный работник министерства автодорожного строительства, может ударить кастрюлей, если знает, что ее за

это не пырнут по-татарски ножиком, а по-еврейски в суд подадут.

— Ничего, я и на суде покажу, кто они такие... По-наехали в Москву. Даже в дворники лезут.

— Это не надо, — говорит Иволгин, — какой суд, предоставь мне, я их лучше тебя понимаю. Еврейская наглость резкого слова боится. Они все шепотком, шепотком хотят договориться. Но со мной шепотом не поговоришь. Я им докажу, что меня их проблемы не интересуют, — и вышел в коридор.

Там и произошла их первая встреча с Даном, Аспидом, Антихристом... Чтоб не поздороваться и сказать резкость, искусствовед задумался, наморщил лоб и остановился, потому посланец Господа Антихрист его сразу разглядел и узнал. Стоящий перед ним в тапочках, майке-сетке и шелковой пижаме был из колена Рувима, первенца Иакова, некогда сильного, но уже давно пришедшего в упадок, из которого не многие войдут в Остаток и дадут Отрасль... То, что стояло перед Антихристом, было концом, начало же ему было в Египетском рабстве, когда изнурения и жестокости фараона боролись с цепкостью и желанием выжить сынов Иакова. Чем более изнурял их фараон, тем более они умножались, но не было с ними рядом Бога и не лучшие умножались, пока в колене Левия не родился Моисей...

Однако, когда родился Моисей, много дурного уже умножилось, ибо в угнетении, когда человек не живет, а выживает, и нет рядом Бога, доброму нечем выжить, дурное же выживает у мясных котлов, живя жизнью для себе привычной.

От Рувима, сильного доброго первенца Израиля, родился тот, кто стоял перед Антихристом в тапочках и шелковой пижаме, глядя нечистыми глазами и лелея пухлыми, непривычными к труду руками

свой пухлый живот, как любимое дитя. То, что стояло перед Антихристом в коридоре, было совершенством мерзости и зла. Но мерзость не способна создать ничего совершенного, даже не способна создать совершенную мерзость и совершенного злодея. Отчего ж так много совершенного безграничного зла, кто его порождает? Его порождает добро... Плодоносит только добро, но оно порождает не только себе подобное, но и себе противное... Все злое вырастает из доброго, хоть и доброе из доброго растет... Отчего же допустил такое Господь, отчего злое умножилось даже в Его собственном народе? Вот он, насмешливый вопрос атеистов и безумный вопрос мистиков... Зачем Господу нужен Иволгин Алексей Иосифович, когда был Моисей, Иеремия, Исаяя и Иисус Назарей?.. Ответ прост для того, кто читает-перечитывает не только христианский поздний довесок — Евангелие, в котором нет ни единого самостоятельного слова, но и Божью поэму о сотворении мира, первооснову Библии, без которой не понять ничего последующего... Оттого Иволгин, что после Эдема человек — существо проклятое. Он проклят на труд и проклят на историю, тогда как в Эдеме не было ни труда, ни истории. Из милосердия Божьего живут на земле пророки и праведники, из милосердия существует добро, тогда как злое из существа происходящего. Пониманием этого библейский пророк отличается от сладкоустого гуманиста... Но когда, взглядевшись в нехорошую улыбку мужика, угнетенного безбожника, русский гуманист Александр Блок отрекся от гуманизма, это был глас, вопиющий в пустыне, ибо дурное слишком умножилось... Умножился и гуманизм, бесплодный в массе и плодотворный только в сочетании с индивидуализмом, с личностью. Сперва умножился христианский, антибиблейский гуманизм,

потом на одной шестой суши его сверг со своей выи незаконнорожденный сын антибиблейского христианства — материалистический гуманизм, верой и правдой которому служил Иволгин Алексей Иосифович, еврей-интернационалист, а говоря языком христианским, попросту выкрест, крещенный не через чистую воду, а через сладкозвучную чистую идеологию, что в принципе одно и имеет в основе то доброе, что рождает злое.

— Спитой чай, — наконец нашел что сказать еврей-искусствовед еврею-дворнику, — спитой чай в ванну не лить, — громко, без всякого там шепоточка произнес Алексей Иосифович, — мы за вас и вашу дочь убирать не должны...

Едва Алексей из колена Рувима произнес коммунальный выговор, как Дан из колена Данова вспомнил о нем то, что сам Алексей Иосифович, разумеется, о себе не знал. Это был дальний потомок того еврея, которого в Египетском рабстве защитил Моисей от избиения египтянином, вступив с египтянином в драку и убив его. И закричал перепуганный еврей на Моисея:

— Кто поставил тебя судьей над нами?

Еврей этот знал, что, поглумившись над ним, египтянин отпустил бы, и можно было бы успеть еще к мясному котлу. Но непрошенный защитник, Моисей, испортил дело... И с сарказмом, свойственным впоследствии и современному искусствоведу, древний этот еврей в египетском рабстве воскликнул:

— Кто поставил тебя начальником?.. Не думаешь ли ты убить меня, как убил египтянина?

Так в русском, несовершенном переводе Библии. В подлиннике же сказано, что еврей этот "показал Моисею зубы". Это было точное определение — клеймо... Из тех это был, кто показал Моисею зубы. И верно. Алексей Иосифович посмотрел на Анти-

христа, уже изрядно усталого, поседевшего за нынешний земной путь свой, и что-то жалкое, местечковое увиделось ему в лице этого еврея-дворника. Что-то язвительно смешное пришло на ум Иволгину, ведь Алексей Иосифович был русский искусствовед, и его могла вполне рассмешить мировая скорбь еврейских глаз, как смешила она некогда Вольтера, любимца и баловня русского гуманного свободомыслия...

Тогда открыл Алексей Иосифович рот, показав зубы, изрядно пожевавшие уже русского хлеба и украинской колбасы... Сочетание золотых коронок впереди, хромированных зубных мостов по бокам и светло-кофейной кости в промежутке... Сюда, за службу верой и правдой народу-хозяину, как он считал, награждается хороший еврей едой и питьем и воздухом для дыхания... Не на грудь главная награда, а в рот, между зубов...

— Ха-ха-ха, — четко и отдельно без еврейского шепоточка произнес Иволгин.

И сказал ему Антихрист, молча, в себе через пророка Исаяю:

— Над кем вы глумитесь? Против кого расширяете рот, высовываете язык? Не дети ли вы преступления, семя лжи?

Однако еврейская мировая скорбь, смешившая Вольтера и рассмешившая Иволгина, была не только в глазах Антихриста, она была и в глазах самого Иволгина, правда, в своем наиболее падшем и ничтожном виде...

Ведь все ничтожное это есть великое, бесконечно униженное... Унизьте до крайности великую мировую скорбь, и она превратится в обычный трусливый страх. Что бы ни делал Алексей Иосифович, глаза его постоянно, помимо воли твердили одно: боюсь, боюсь...

— Авраам, не бойся, — сказал Господь Зачинателю.

Это было одно из основных положений Договора Господа с Авраамом и превращение Авраама в Авраама, превращение вавилонского странника в Зачинателя Господнего народа... Но те, кто размножились в Египте возле мясных котлов рабства, начали забывать Господа, расторгнув первым делом именно этот с ним Договор.

— Бояться, бояться надо, — говорят они и по сей день, — заяц всю жизнь боится, и жив...

Так поучают они младших родственников своих после хорошей чарочки вишневой наливки. И в философском трактате за ворохом блестящих мыслей вдруг слышится:

— Боюсь, боюсь...

И в рассуждениях ученого выкреста "боюсь, боюсь". И в умелой, талантливой церковно-березовой лирике поэта, мечтающего, чтоб за дорогими сердцу "молебнами", сладкими слуху "облетающими осенними садами" и живописно изображенным рождественским снегом русский читатель забыл или хотя бы простил ему еврейское происхождение... Так расторгли они Договор с Господом...

Едва один из них, Иволгин Алексей Иосифович, засмеялся, показав Антихристу зубы, как страха в его глазах стало еще больше. И через пророка Исаяю сказал им всем Антихрист в женском роде, ибо их всех родила слабая рыхлая женщина, и они все были плотью ее:

— Кого же ты испугалась и утрашилась, что делалась неверною и Меня перестала помнить и хранить в своем сердце? Не от того ли, что Я молчал и при том долго, ты перестала бояться Меня, — и добавил Антихрист от себя уже, — тот, кто слишком боится людей, тот не боится Бога...

Меж тем Алексей Иосифович, искусствовед, через страх, наиболее сильное плодотворное для него чувство, как-то приблизился к происходящему в коридоре коммунальной квартиры, хотя и не понял этого. Однако смеяться перестал и торопливо ушел к себе, ничего более не сказав.

— Я покажу правду твою, — сказал Антихрист, глядя на сутулую жирную спину Алексея из некогда славного колена Рувима, — я покажу правду твою и дела твои, и они будут не в пользу тебе...

Так разошлись соседи и стало пусто в коридоре.

— Я ему показал, кто здесь хозяин, — осмелев у себя в гостиной, сказал Клавдии Алексей Иосифович, — он и пикнуть в ответ не посмел. Обычный местечковый жид... Из-за таких нас не любят.

Антихрист же, войдя к себе в комнатушку, сел с приемной своей дочерью Руфью пить чай. После того случая в лесу возле города Бор отец и дочь мало друг с другом говорили, но более друг на друга смотрели, и был в их взгляде общий свет и общая улыбка... Такова и должна быть совместная жизнь поседевшего уже посланца Господа с юной земной пророчицей... Бывало перекинутся отец с дочерью словом-другим и опять молчат. Люди ведь много говорят друг с другом, чтоб избавиться от тягостного чувства отдаленности и чуждости их душ меж собой. Когда отец замолкал особенно надолго, пророчица Пелагея знала, о чем он молчит. Тогда брала она Библию, папахивающую старушечьей жизнью. Сладостью, корицей и плесенью отдавал потертый переплет, тленом пахли замусоленные страницы, которые в полюбившихся местах были подчеркнуты, либо подписаны, похоже, одним и тем же синим карандашом. Особенно много подчеркнут и надписан был Псалтырь и притчи Соломоновы... Библию эту

подарила Руфине старуха Чеснокова, сектантка, староверка...

Для человека, хлебнувшего культуры и нажившего разум как имущество, а не как подарок Господа, надписи и подчеркивания эти никакой ценности не представляли. У человека же, нажившего разум изощренный, полный вольтеровской сатиры, надписи эти могли вызвать смех и укрепить убеждение в ничтожности простой народной веры... Это и так, если говорить о массовой простой вере, которой доступны только обряды и суеверия. Ибо подлинность в простоте еще более редка, чем в разуме. Но Библия вся в этих редких, Божьих крайностях. Остальным же остается надеяться лишь на обряд, да на честного, умного наставника, священника в простонародье или умного, честного религиозного философа в среде культурной. Однако история религии показала, как редко сбываются подобные надежды. Либо ум подводит, либо честность. Вот подчеркнуто в притчах Соломоновых синим карандашом малограмотной староверки Чесноковой: "Страх Господень — источник жизни, удаляющий от сетей смерти". Тут еще можно пофилософствовать, хоть изощренный разум найдет и это не очень для себя серьезной пищей. Но далее: "Лучше блюдо зелени и при нем любовь, нежели откормленный бык и при нем ненависть... Лучше немногое при страхе Господнем, нежели большое сокровище и при нем тревога". Тут уж вовсе изощренный разум посмеется над подобной детской очевидностью мудрого. Посмеется, не разумея, что мудрый исходит здесь не из морали, в плоскости которой приучили их мыслить легкомысленные священники и сладкоустые философы-гуманисты, а из чувства личного эгоизма, того самого, которому они в действительности доверяют в поступках.

— Эгоист, — говорит Соломон, — если ты себя любишь, съешь лучше блюдо зелени с любовью, чем бычьего мяса с ненавистью.

Философ-гуманист стремится научить добру, исходя из морали, чуждой человеческой природе, Библия учит добру, исходя из человеческого эгоизма, ибо она не игнорирует, на манер гуманистов, подлинную природу человека, однако, в отличие от фашистских умельцев, опирающихся на дурное и учащих дурному, Библия учит доброму, исходя из дурной человеческой природы.

— Человек неблагонамеренный развращает ближнего своего, — читала пророчица Пелагея, подчеркнутое староверкой, — ведет его на путь недобрый. Прищуривает глаза свои, чтоб придумать коварство, закусывает себе губы, совершает злодейство; он — печь злобы...

В этот момент позвонили во входную дверь, но ни отец, ни дочь не шелохнулись. Ибо когда оба они были в доме, некому было придти к ним.

— Венец славы — седина, которая находится на пути правды, — читала пророчица Пелагея Соломоновы притчи.

В дверь звонил добрый сосед по вагону, который приехал вместе с Ниночкой и Мишенькой из Витебска. Позвонив, он не ушел, но отошел за угол и ждал, примут ли детей. Если б не приняли по какой-либо причине, то он отвел бы их в детскую комнату при милиции. Однако приняли с женским вскриком, похоже, ликующим, и будучи этим удовлетворен, с приятным чувством от доброго своего поступка, человек этот, пожелавший остаться неизвестным, удалился. Кричала Клавдия, которая, узнав детей сестры своей Валентины, приехавших без телеграммы, сразу заподозрила недоброе. Нет, почудилось доброму человеку, что крик при встрече

был ликующим. Впустив детей, Клавдия начала торопливо спрашивать, где мама и папа их и отчего они одни. Тут же суетился Иволгин, который повторял:

— Клавдия, не суетись, надо разобраться...

А Савелий, болезненный подросток-полукровка, лежа на диване, изучал сероглазую Ниночку, свою двоюродную сестру, впервые виденную. От такого приема заплакал Мишенька, потом заморгала красивыми кошачьими, в мать, глазами и Ниночка.

— Ну вот, — сказал Иволгин, в котором все-таки сохранилось инстинктивное начало еврейского, слабохарактерного к детским слезам мужчины, — ну вот, испугала детей. Надо их прежде всего накормить.

— Да, конечно, — торопливо сказала Клавдия.

Детям дали вчерашнего разогретого супу и по котлетке с макаронами. Пока они ели, Клавдия и Алексей Иосифович читали, запершись в спальне, письмо, обнаруженное в детском кармане, на котором был вышит зайчик. Собственно письмо Клавдия прочла только до строк об аресте Саши.

— Ясно, — сказала она и, побледнев, выронила бумагу, — раньше ей было на меня наплевать, а теперь она хочет меня погубить, когда сама попалась. Она не хочет понять, что у меня муж еврей. Мы должны быть вне всяких подозрений.

— При чем тут моя национальность, — вздрогнув, как всегда, душой при произнесении вслух своей страшной стыдной сути, сказал Иволгин.

— При том, — злобно крикнула Клава, — и не притворяйся, что ты не понимаешь. Агнец Божий... Хочешь, чтоб с тобой было то же, что с Шерманом?

— При чем тут Шерман, — пытаюсь сдержать свое разогнавшееся сердце, сказал Иволгин, — у Шермана были связи с родственниками в Америке, — тут же он услышал как привычное: "боюсь, боюсь" —

побежало, понеслось, поволокло из него душу. "Боюсь, страшно мне", — кричала душа одного из некогда славного колена Рувима, душа одного из тех, о которых сказал Господь через пророка Иезекииля:

— И пришли они к народам, куда пошли, и обесславили святое имя Мое, потому что о них говорят: "Они народ Господа и вышли из земли Его".

"Боюсь, страшно мне", — уже хрипела от крика душа Иволгина, выволакиваемая страхом из тела, как арестанта волокут ночью из постели, и Иволгин говорил охрипшим шепотом:

— Я слышал, в Белоруссии серьезный процесс, судят националистов... Богдановича и прочих...

— Сеня, с Валиными детьми надо что-то решать, — уже твердо и без нервов сказала Клавдия, — Валя на меня может обижаться, но оставить их у себя я не могу. У меня тоже ребенок. И материально нам будет тяжело, но это не главное...

— Хорошо, — торопливо сказал Иволгин, — только не сейчас об этом. Сейчас надо спать... Утром разберемся...

Алексей Иосифович отлично знал в целом, что решила жена, хоть в деталях не знал пока, однако он боялся услышать вслух, что она задумала и старался оттянуть этот момент... Неблагодарных поступков он боялся так же, как и благородных. Он всего боялся и даже, когда осмеливался кричать на тех, кто были по положению слабее его, то все равно их боялся.

Перед сном Валиным детям, Ниночке и Мишеньке, также как и своему ребенку Савелию, дали по стакану киселя с булочкой. Постелили им в гостиной на диване, и усталые дети быстро уснули. Улегся в своей комнате с выдернутым из дверей запором Савелий. Внутренний запор выдернул по распо-

ряжению Клавдии слесарь. Выполнено это было после того, как Савелий был пойман на юношеском грехе, которым грешил и второй муж Фамари Онан, дабы Савелий чувствовал, что родители могут войти в любой момент и застать его за грешным делом. Однако в ту ночь родителям было не до него, ибо они встали утром с одинаково набрякшими глазами и ушли на работу, не позавтракав. Дети же поели опять котлетки с макаронами, опять запили киселем и занялись играми. Маленький Мишенька забрался в большие стенные часы и начал ловить маятник. А Савелий спросил Ниночку:

— Ты гимнастикой умеешь заниматься?

— Как это? — удивилась Ниночка.

— Очень просто, — сказал Савелий, — я тебя буду поднимать, а ты делай руками разные движения. Понимаешь?

— Понимаю, — сказала Ниночка, — я так с батей моим в Витебске играла... Он меня на руки как поднимет высоко, высоко... Или на велосипеде катал... И стихи меня учил читать... Вот...

Против школы новый дом,
В новом доме мы живем,
Мы по лестнице бежим
И считаем этажи:
Раз этаж, два этаж,
Три, четыре — мы в квартире.

Савелий помнил, что еще мальчиком-дошкольником любил он разглядывать журналы мод, где были изображены красивые тети, и водить пальчиком по их гладким глянцевым ногам, отчего было так же приятно, как и сосать конфетку.. Не знал он, конечно, что дурное смешение крови часто карается четвертой казнью Господней — болезнью и третьей казнью — диким зверем... Тем не менее, будучи

ребенком, он все же догадывался усесться с журналом мод и водить пальчиком по блестящим, глянцевым желтым ногам тетя, где-нибудь в уголке и уединении... Так и привык он с малых лет связывать свое сладкое чувство с уединением. Из уединения наблюдал он за девочками двора, сторонился девочек в классе и страдал, пока раз в школьном туалете его один мальчик не обучил стыдному удовольствию... Любил он также ходить в цирк или на гимнастику, смотреть, как мужчины поднимают за ноги и бедра женщин. Потому, оставшись с двоюродной сестрой своей наедине, поскольку малыш не в счет, он впервые решил попробовать сам, и сердце его забилось, как никогда ранее. И понял он, не умом, конечно, ибо был еще слишком глуп, а руками своими понял, что такое женское тело, перед которым ничтожны любые побочные наслаждения, которыми увлекался и второй муж Фамари Онан... Вот она, мягкая влажная тяжесть женского, ради которой возможны безрассудства... Неужели ежедневно то же испытывают гимнасты и циркачи?.. Он не знаком был еще со скукой, какую вызывают роскошные блюда, румяные гуси и жареные в сметане караси у сытого... Он был мальчик из обеспеченной, но все же питающейся сардельками и котлетами московской семьи 1949 года.

Ниночке тоже нравилось, когда ее поднимал Савелий, она визжала и взмахивала руками, а Мишенька хлопал в ладоши. Дети так увлеклись, что не заметили прихода взрослых. Клавдия вошла как раз в момент гимнастической пирамиды, которой Савелий никак не мог от Ниночки добиться, потому что ей было щекотно. Наконец Ниночка согласилась и хоть сильно визжала, но разрешила все же просунуть Савелию руку довольно далеко.

— Что здесь происходит? — сильно побледнев, крикнула Клавдия, риторически крикнула, ибо она отлично знала, что происходит. — Прекратите сейчас же.

— Мы играем, — смеясь, сказала Ниночка.

Клавдия схватила Савелия, уволокла его в спальню и там сильно ударила его по щеке. Следом вошел Алексей Иосифович, который тоже ударил, но не так больно, ибо все же он был еврейский отец.

— Вот потому тоже их надо отправить, — шепотом сказала Клавдия, — чужая девочка в доме развратит Савелия.

— Да, да, я согласен, — ответил Иволгин, и сердце его привычно трусливо, по-заячьи запрыгало, — но их надо обязательно накормить обедом предварительно... Перед тем, как... И он замялся.

После обеда Клавдия приказала запуганному Савелию:

— Останешься дома... Мы с отцом и ребятами сейчас поедем по делу, ясно?

Провинившийся Савелий не посмел ослушаться и улегся на диван. А супруги Иволгины с детьми репрессированных родственников своих Кухаренко сели в троллейбус, потом пересели в другой троллейбус и приехали к Белорусскому вокзалу. На Белорусском вокзале они пришли в комнату матери и ребенка. Усадив детей, Клавдия и Алексей Иосифович отошли в угол к окну и начали разговаривать шепотом. Потом Клавдия вышла, а Алексей Иосифович подошел к детям и сел с ними рядом, задумавшись. Подумав так, говорит он Нине, отведя ее в сторону, к окну, где раньше шептался с Клавдией:

— Ты уже девочка большая, должна понимать, что родители твои арестованы, и скрыть это невозможно. Рядом с нами вас всегда обнаружат, потому что мы родственники. Потому бери Мишу, носи его в

общий зал ожидания, садись и начинай плакать. Если будут спрашивать, чего плачешь, отвечай — мать бросила и не приходит... Как фамилия — Иванова.

Ниночка была девочка прилежная и старших слушала. Взяла она Мишу, пошла в большой зал, села и начала плакать. Но плакала не по той маме, которая вроде бы бросила и ушла, а по той маме, что из Витебска, и по бате своему тоже плакала. Стали подходить люди, спрашивать в чем дело. Подошла и тетенька с красной повязкой на рукаве, дежурная по вокзалу.

— В чем дело — спрашивает, — чего ты плачешь, девочка?

— Мама нас оставила, — говорит Ниночка, как ее научил дядя Алексей, — и не приходит за нами.

Так ей вдруг горько стало, так заныло в груди, и обидно так, и себя жалко... И Мишеньку.

— Верно, — говорит дежурная, — девочка правду говорит. Я видела, что в комнате матери и ребенка была с ними мать, — это она, очевидно, тетю Клавдию видела рядом и приняла ее за мать, — возьми братишку и пойдем со мной, — говорит дежурная.

Подняла Ниночка Мишеньку на руки и пошла за дежурной. Когда проходили они мимо вокзального телеграфа, увидела Ниночка дядю Алексея, который из-за чьих-то спин выглядывал и на нее смотрел с тревогой. И вот уже нет дяди Алексея. По переходам, потом по перрону, потом по какой-то привокзальной улице шла Ниночка вслед за дежурной. Мишенька был тяжелый, Ниночка с ног валилась, руки ее расцеплялись. Но вот пришли они в какой-то дом. Дежурная ушла, а дети долго сидели вдвоем на полу в уголке. Наконец их позвали в другую комнату, где сидел милиционер. Милиционер начал спрашивать, кто они и откуда. Ниночка, помня на-

ставления дяди Алексея, ответила, как он научил, а Мишенька испуганно молчал. Но когда вошла строгая женщина с гребенкой в седых волосах и тоже начала спрашивать, дети расплакались, и Ниночка рассказала все как было, что фамилия их не Ивановы, а Кухаренко... Тогда их накормили хорошим обедом, и прожили они в этом доме три дня, после чего были отправлены на поезде в город Тобольск.

Сначала они попали в детдом имени Макаренко. Располагался он в семи километрах от Тобольска в старом монастыре среди леса. Хорошо там было. Летом ходили на Иртыш и Тобол купаться. А возле детдома располагался питомник, где жили лисички, и детдомовские часто ходили их смотреть. Однако потом случился пожар. Говорили, что детдом их подожгли монашки за то, что советская власть отняла у них помещение и передала для воспитания сирот. После пожара всех детей перевели в город Тобольск в детдом имени Крупской, и здесь уже было похуже. Потом вдруг как-то утром вызвали Нину к заведующей и говорят:

- Кухаренко, завтра тебя отправлять будем.
- Куда? — спрашивает Нина.
- Там увидишь.
- А брат мой Миша?

Ничего заведующая не ответила. Утром простилась Нина с Мишей, и повезли ее с другими детьми в товарных вагонах очень далеко. Привезли в место, где стало совсем плохо. Кормят голодно, и воспитатели злые. Вокруг сопки огромные, и детей все время медведями пугали, чтоб не отлучались. Однажды Нина видела, как вели мимо колонну то ли пленных, то ли арестантов. Одна женщина Нине запомнилась, потому что эту женщину конвоир ударил, и у нее по лицу кровь побежала... С того дня стала Нина очень нервная, грубила старшим, и ее сажали в

погреб, где хранились бочки с детдомовской кислой капустой. Воспитание в этом детдоме было твердоупорядоченным, и наказание за провинность неотвратимо... Здесь слезам не верили.

Вообще-то испокон веков Россия любила поплакать и пожалеть, это в русском национальном характере. Но к 1952 году русская национальная жизнь, как никогда полно выражавшая жизнь всего государства, достигла крайней цельности и сурового монашеского порядка. Спасение молодой незрелой души обычно в несерьезности восприятия жизни. Такая несерьезность испокон веков сопровождала в трудные моменты русскую душу и спасала ее от гибели. К сталинскому, гвардейскому 1952 году спасительная несерьезность эта была отовсюду изжита, даже из антисемитизма была изжита веселость. О евреях больше не шутили, над ними больше не посмеивались, и количество смешных еврейских анекдотов сократилось. Зато появилось множество аскетически суровых статей, набранных буквально на пределе господствующей идеологии... Казалось, вот-вот устное слово должно было ворваться в печатное... Вечером в куплете, утром в газете... Куплеты знаменитой частушки "Бей — спасай" распевались без лихого веселья, а сурово, как гимн... Измученная, усталая душа русского человека изменилась полностью, и не веселым православным погромом запахло, а погромом средневековым, серьезным, католическим... Обсосанная купоросными польскими устами, польская конфетка "жид", принятая из этих уст в уста иные, хоть тоже славянские, но более широкие, менее костлявые, сладка была часто, а не горька. Ох и приятно было подержать ее во рту, водочку ею закусить приятно было, не хуже, чем огурчиком. И в ученой беседе приятно она рот освежала. И сугубо русскому лите-

ратору на вечные русские вопросы-загадки ответ подсказывала.. Хороша польская конфетка "жид", но к стальному гвардейскому 1952 году стала она горькой пилюлей. Рты жгла, лица искажала.

Господи, каких только страшных лиц не насмотрелся Иволгин Алексей Иосифович. Уж не кричала даже "боюсь" душа его, а просто дрожала без слов.

— Позвони Фадееву, — шептала в постели Клавдия.

— Чтобы напомнить ему о его выступлении на гражданской панихиде еврейского буржуазного националиста Михоэлса? — затравленно огрызался Алексей Иосифович.

— Почему напомнить? — говорила Клавдия. — Думаешь, он помнит, где ты с ним встречался?

— Нет, нет, — говорил Иволгин. — Сейчас главное быть незаметным.

Но трудно быть незаметным, когда русский вопрос: "Кто губит Россию?" — в полный рост встал, жжет и сверлит русского человека вопрос. Это на русской лихой свадьбе во время веселья легко затеряться, притворившись под столом пьяным, но когда русский обиды подытоживает, когда русская речь полна шипения и жужжания, "шши" да "жжи", поди затеряйся... "Што... Жлоб... Шакал... Ж-ж-ж-жид..." По улице идешь, — в разных концах жужжание... В местах общественного пользования — в учреждениях, кинотеатрах, на транспорте — всюду жужжат... Начал Алексей Иосифович опасаться трамвайно-троллейбусного транспорта... Трамвайно-троллейбусно-автобусный антисемитизм явление не новое, однако ныне превратился городской транспорт в митинги на колесах... Свобода слова, гарантированная Конституцией, в этом направлении всегда соблюдалась, теперь же ораторов в троллейбусах стало больше, чем в английском Гайдпарке. И в

прежние, более веселые времена побаивался Алексей Иосифович, когда в городском транспорте затевались меж пассажирами громкие пересуды. Был случай, зашел как-то в троллейбус весельчак. Это изредка, но бывает. Понюхал весельчак воздух и говорит:

— Граждане, с чесночком вас, товарищи... Хоть и неясно пока, кто благоухает, но ведь благоухание-то теперь наше общее, коллективное.

Некоторые промолчали, но некоторые все же засмеялись, а Алексей Иосифович глаза опустил и голову в плечи втянул. Не он чеснок ел, но сердце замерло. Вот сейчас ударят страшным словом под ребра... Сейчас скажут... Но не сказали... Пронесло... И в другой раз пронесло... И в третий раз... Однако ждал Алексей Иосифович. И сказал Алексею Иосифовичу один русский человек в троллейбусе номер 20, следовавшему по маршруту проспект Маркса — Серебряный бор, славянское затейливое название, сказал, глядя на Алексея Иосифовича в упор:

— Если б нам не надо было выписывать рецептов по-латыни, мы б вас, жидов, давно б всех удавили.

И троллейбус, этот стихийно созданный коллектив, одобрительным молчанием поддержал своего оратора. Ибо еврей в русском коллективе — это важная необходимая деталь для ощущения национального единства.

Не вышел, а вывалился Алексей Иосифович на площади русского гения Пушкина, долго сидел, держась за сердце.

Через день поехал он в Ленинград в командировку от журнала "Театр", и в купе с ним всю дорогу русский человек говорил "по душам".

Вообще антисемитизм городского транспорта резко отличается от антисемитизма железнодорожного транспорта. В городском транспорте расстоя-

ния коротки, теснота, быстрая смена действующих лиц, и все это влечет к динамизму, к крику, к коротким, ясным формулировкам-лозунгам. В железнодорожном транспорте наоборот. Тут и посвободнее, и времени достаточно, и с людьми сжиться успеешь. Тут обстоятельные размышления "по правде", здесь анализ. Тут и первая заповедь антисемита соблюдается, если он не покричать, а порассуждать хочет. Первая заповедь антисемита — сказать, что у него много друзей евреев. И про братство порассуждать. Именно в стиле убаюкивающего железнодорожного антисемитизма, под перестук колес, написал в марте 1877 года Достоевский свой "Еврейский вопрос".

— Да, да, — поддакивал Алексей Иосифович, — я с вами согласен... Я всегда был интернационалистом, предрассудки своей нации я давно не соблюдаю... У меня и фамилия интернациональная — Иволгин, и женат я на белорускае... И призыв Федора Михайловича "Да здравствует братство" с благодарностью воспринимаю, согласен с Федором Михайловичем, что еврей скорее не способен понять русского, чем русский еврея... Между нами говоря, — добавил он блестя глазами, и довольный, что нарвался на культурного человека, а не на крикуна, — между нами говоря, мне никогда еврейские женщины не нравились... Неряшливые, нервные, и в женском есть у них какая-то чисто еврейская жадность... То ли дело славянки, — и Алексей Иосифович — искусствовед — доверительно причмокнул губами.

И верно, желая в угоду собеседнику сказать пакость, сказал Алексей Иосифович истину. Когда народ пал духом, то первым делом это на женщине отражается, ведь женщина создает национальный облик народа. В бытовых концлагерях — местечках, среди кислых брачных ночей двоюродных братьев

с двоюродными сестрами, в духоте, чтоб сквозняк не простудил чахоточные легкие, от поколения к поколению все более унижался прекрасный облик библейских красавиц. И женщины с непропорциональными носами, с костлявыми ляжками либо с обвисшими животами рожали людей узкокостных, сутулых, слабосильных, хронически больных... Потому все, случайно сохранившее здоровые истоки, старалось бежать из еврейства, несмотря на суровые запреты талмудистов-догматиков, здоровое бежало, спасало себя из бытовых концлагерей, куда были заперты евреи для разложения и вырождения... Бежали немногие красивые женщины, согласно биологическому инстинкту старавшиеся продолжить потомство не свое, погибающее, национальное, а чужое, крепкое. Бежали умные. Бежали цепкие. Бежали умелые... В любую щелочку, в любой промежуток... Как писал Герцен: "От нужды хитры были и изворотливы жида". Никто не созывал по их поводу международных форумов, никто не создавал международных гуманитарных денежных фондов. Погибающие спасали сами себя. Они бежали от еврейского, чтобы сохранить в себе человеческое. Но цена, которую они при этом заплатили, стала понятна гораздо позднее, хоть и поныне не всем она понятна. Гораздо дороже она цены, которую заплатил Фауст Мефистофелю. Не душу они продали, а дух. Душа сохраняет в человеке человека, дух — сохраняет в человеке Бога. Бежавшие из еврейства спасали душу, но губили дух...

Так бежал из местечка дед Алексея Иосифовича Иволгина со смешным для славянского уха именем "Хаим" и с фамилией "Кац"... Хороша фамилия "Кац" для немецких заработков, но для русских заработков нужна другая... И купил Иосиф Кац, сын Хаима, у пристава фамилию Иволгин. Недорого за-

платил — пять рублей серебром. А если куда-нибудь подальше, в уезд поехать глухой, то и за рубль серебром купить можно фамилию его императорского величества "Романов". Однако Иосиф Кац, зубной врач, покупал фамилию в Петербурге, где жизнь чуть подороже. И взял, что дают. Иволгин, так Иволгин. Ох, как благодарен был ему впоследствии сын, Алексей Иосифович... Лучше любого капитала, лучше дома с усадьбой для еврея в России такое наследство. Новоиспеченный Иосиф Иволгин принадлежал к тем евреям, которые жили хорошо, поскольку ловче умели трудиться на своем поприще, а Россия все более нуждалась в умелых инженерах, адвокатах и прочих профессиях, подозрительных русскому землепашцу и землевладельцу. Группировались эти русские патриоты из еврейства вокруг петербургской газеты "Речь", которую черносотенное "Русское знамя" называло еврейской не без основания. Чем больше печаталось в "Речи" обличительных статей против сионизма, пытающегося вовлечь евреев в рамки узкого национализма вместо братского сотрудничества с великим русским народом, тем более сатанело черносотенное "Русское знамя", также печатавшее статьи против сионизма, но более хмельные, размашистые, требующие предотвратить захват еврейским всемирным кагалом власти над человечеством... Черносотенцы плотничали, в то время как еврейские русофилы рукодельничали... Зеленел доктор Дубровин, глава "Союза русского народа", читая газету "Речь"... Кровное дело истинно русского человека, антисемитскую пропаганду, образованные евреи взяли в свои руки, и все сладкие куски за это перепали им... Вот мерзкие ловкачи, даже на антисемитизме умудряются заработать...

Ох, уж эта газета "Речь"... Алексей Иосифович, собственно, начал свою литературно-критическую

карьеру именно там, опубликовав молоденьким журналистом заметку о том, как в одном местечке талмудисты травят юношу, принявшего христианство. И пристав, мол, не реагирует на жалобы священника, поскольку подкуплен богатыми жертвователями синагоги. Однако сейчас все реже позволяли Алексею Иосифовичу высказываться на страницах газет против космополитов, и это был очень плохой признак. А недавно произошел вовсе неприятный казус. Алексей Иосифович написал большую статью, в которой анализировалось, как за внешне романтическими приемами Михоэлса проглядывал мелкобуржуазный еврейский национализм. Ко времени статья, но не прошла. И вдруг он увидел ее в чуть видоизмененном, более примитивном виде за известной, влиятельной русской подписью на "ов". Алексей Иосифович растерялся. В конце концов, "наплевать на бронзы многопуде". Однако в первоначальном виде она принесла бы гораздо больше пользы патриотической пропаганде... Да, то, о чем мечтал в православно-погромном 1905 году доктор Дубровин, было осуществлено в стальном гвардейском 1952 году. Еврей все более устранялся из русской патриотической пропаганды. Даже умением его жертвовали ради принципов. Страшные времена наступили для Алексея Иосифовича. Повсеместно отказывались газеты от его услуг, и кто его знает, не лишится ли он завтра заработка в университете.

— Позвони Фадееву, — шептала Клавдия в постели, — он поможет. Если б не случай с моей сестрой Вале́й, я б сама к нему пошла как твоя жена, белоруска.

В то время развилась в Алексее Иосифовиче знаменитая болезнь тех, кто не ждет добра от внешнего мира. Они боятся входной двери хуже, чем ди-

кого зверя... Вот позвонят, вот зашумят по-чужому, страшно зашумят, затопают.

Сосед их дворник вставал рано. Прислушиваясь к шагам в коридоре, думал Алексей Иосифович ноющим лбом: "Вот какая безопасная профессия для еврея — дворник. Хитрец сосед, а я не додумался. Только в случае геноцида профессия дворника не спасает. А если уничтожение на основе классовой борьбы, то дворник — самое надежное".

— Позвони Фадееву, — упрямо по-женски, видя спасение только в душевном прелюбодеянии, твердила Клавдия.

— Хорошо, — сказал Алексей Иосифович. — Завтра позвоню.

То ли чтоб успокоить жену сказал, то ли действительно позвонить решил, он и сам не понял... Но что значит "завтра" в 1952 году для работника самого опасного участка социалистического строительства — культуры? Каждое "завтра" требовало новых жертвоприношений, точно злой языческий идол было это "завтра". И не подменяли человеческие жертвы овцами, как по призыву Ангела подменил Авраам Исаака овном для заклания и всежжения. И истощалось жертвенное стадо людское, уменьшилось так, что в жертвы начали брать из наиболее ухоженных. Каждой статье по вопросу идейной борьбы требовались новые жертвы, и каждому узкому заседанию, и каждому общему собранию. Настало и для Иволгина его "завтра", поволокли под нож на семинаре по вопросам об изображении классового врага в современной драматургии... И что вспомнили? Время, когда Иволгин был молод и стремился обратить на себя внимание. А где ж еще обратишь на себя внимание, как не в полемике? В частности, в полемике против тех, кто считал, что классового врага можно изображать

только смешным, карикатурным... ”Комсомолец, мол, не может создать образ классового врага во всех тонкостях его психологии. Конечно, можно классового врага изобразить и смешным, и карикатурным. Этим художник выразит свое отношение, свою ненависть к классовому врагу. Но это будет сатирический прием, который должен распространяться на все произведение”.

— Иными словами, Иволгин призывает вместе с карикатурой на классового врага создать окарикатуренную атмосферу советской действительности, дабы не исказить общего художественного впечатления. Рядом с современным Хлестаковым не может, мол, существовать современный положительный, полнокровный советский характер, а требуется советский Городничий, и какой-то там советский Сквозник-Дмухановский...

”Душно как, точно за горло схватили... Открыть бы окна... Окна настезь... Пожалейте меня... Не надо прощать, на это я не могу надеяться, просто пожалейте”.

— Цитирую: ”Изображать классового врага таким, каков он есть, во весь рост его философии и психологии и во всю ширь его деятельности...” Иными словами, под видом объективизма Иволгин призывает протащить на сцену антисоветские проповеди...

— Иволгин... Иволгин... Иволгин... Иволгин... — и вдруг кто-то сказал ”Кац”...

— Иволгин-Кац, как и любимый им Мейерхольд, принадлежат к той, с позволения сказать, плеяде, которую Луначарский назвал ”скисшей интеллигенцией”, и, несмотря на последующие ошибки самого Луначарского, в этом вопросе он был прав...

— Станиславский тоже отдал дань чужому влия-

нию, буржуазному реализму... Однако он нашел в себе силы...

Странное состояние испытывал сейчас Алексей Иосифович, душевный мираж, неожиданное состояние. Навсегда запомнились слова русского человека, сказанные в троллейбусе номер 20 маршрута проспект Маркса — Серебряный бор: "Если б нам не надо было выписывать рецепты по-латыни, мы б вас, жидов, всех давно удавили". Теперь давят. Неужели же научились сами писать по-латыни? Нет, милые, вы еще не знаете, что такое латынь. У нас латынь в самой глубине сердца. Глубоко закопана, как дорогой покойник. А сверху ядреный народный чернозем, бесплодная глина интеллигентных раскаяний.

"В четыре часа предполагалась торжественная служба. Я был в раю. Звучал орган. Длинные аллеи белых покрывал. Нежный звон серебряных колокольчиков, звон от потряхивания их нежными руками бледных мальчиков. Хор ангелов. Хоругви из нежных, благоухающих кружев. Свечи и дневной свет за окнами. Ладан, клубящийся дым от кадильниц и золотая осень за окнами. Статуи Мадонны и стук по каменному полу молящихся такой же глухой, как шепот листвы за окнами. Я стоял так долго, пока не вынужден был уйти от усталости".

Это Мейерхольд времен постановки "Сестры Беатрисы". Вот что такое латынь, товарищ...

Когда кончился семинар, все вышедшие видели Алексея Иосифовича сидящим в глубоком мягком кресле, в салоне перед залом заседания. Боковой свет освещал его лицо, твердое лицо покойника из белого мрамора. Сильно откинувшись телом, упираясь затылком запрокинутой головы в спинку кресла, он в то же время вытянутые далеко вперед белые мраморные руки сложил на рукояти богатой,

толстой, с медной монограммой суковатой палки, покрытой желтым лаком. Так он сидел, и все шли мимо него, точно шагали через попираемый труп. Когда посмотрел на него Господь, то пожалел имя Свое святое, которое бесславилось, и сказал:

— Не для вас Я сделаю это, а ради святого имени Моего, которые вы обеславили у народов, куда пришли. И освящу великое Имя Мое, бесславимое у народов, среди которых вы обеславили Его, и узнают народы, что Я Господь, когда явлю на вас святость Мою перед глазами их. И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое и дух новый дам вам и возьму из плоти вашей сердце каменное и дам вам сердце плотяное. Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвращение к самим себе за незаконие ваше и за мерзости ваши. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что Я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал — и сделал.

Так говорил Господь, глядя на попираемого в ничтожестве своем Алексея Иосифовича из колена Рувима, и пока Он говорил, читала у себя дома это пророчица Пелагея, раскрыв подаренную старухой Чесноковой Библию на книге пророка Иезекииля и присев на табурете у подоконника. Отец же ее Дан, Аспид, Антихрист в то время подметал двор от опавшей осенней листвы, прилипшей к земле и намокшей от дождя. Нелегкая и долгая это была работа, до самого вечера она затянулась, и приемная дочь его, пророчица Пелагея, взяв деревянную лопату, вышла помогать отцу. Так работали они, пока в числе прочих жильцов, идущих мимо, не пронесло

соседа Алексея Иосифовича, который шел будто слепой, ощупывая дорогу богатой дорогой палкой, купленной в Сочи. Тогда закончили они работу и пошли пить во взаимной любви счастливый свой недорогой вечерний чай. А семья Иволгиных села за свой богатый горький ужин по рецепту из притчей Соломоновых: жареное жирное бычье мясо...

В нервной тоске поел много жирного бычьего мяса Иволгин-Кац и лег в постель. Страшно было в семье Иволгиных. Даже Савелий, подросток-полукровка, который ни о чем давно уже не думал глубоко, кроме как о женском теле, ощутив его через Ниночку, двоюродную сестру, ныне испугался за отца и сказал:

— Папочка и мамочка, я больше не буду вас огорчать...

Однако Клавдия, рассеянная в тоске своей, прикрикнула на него:

— Иди к себе!

После чего Савелий ушел к себе и наедине, никем не контролируемый, предался дурному. А Клавдия затеяла обычный постельный разговор:

— Позвони Фадееву... Иначе поздно будет.

— Хорошо, — ответил Иволгин, — завтра позвоню.

И заснул или впал от страха в беспамятство. Вот снится ему сон, будто он действительно звонит генеральному секретарю Союза советских писателей, члену ЦК, депутату Верховного совета. По телефону говорит с Фадеевым. А телефон — газетный кулек, какой в ларьках или на рынке сворачивают для определенного рода продуктов. Нет, конечно, не через один лишь газетный кулек у Алексея Иосифовича с товарищем Фадеевым связь осуществляется. Что-то висит у него через плечо вроде сумки, и Алексей Иосифович знает, что это часть аппарата прямой связи. Но только ощущает тяжесть, видеть

же не видит и пощупать не может. В реальности — газетный кулек, в который он говорит как в рупор.

— Товарищ Фадеев, здравствуйте, — говорит Алексей Иосифович.

— Здравствуй, товарищ Иволгин, — доносится из кулька.

От сердца отлегло. "Товарищем назвал, Кацем не назвал".

— Товарищ Фадеев, — говорит в кулек Алексей Иосифович, — сегодня на семинаре по отображению образа классового врага в драматургии группой лиц, не заслуживающих политического доверия, мне были предъявлены обвинения нелепые... Да, нелепые, товарищ Фадеев...

В газетном кульке воцарилось долгое молчание, но чувствовалось, что связь существует, просто задумался товарищ Фадеев, чтобы ответить не лишь бы что... И отвечает после паузы товарищ Фадеев из газетного кулька:

— Разве за то, что я люблю своего дедушку, мне деньги платят?

Недаром думал Фадеев, философски вроде ответил, притчей вроде ответил. Но каков ее смысл?

— Товарищ Фадеев, — кричит в газетный кулек Алексей Иосифович, — товарищ... разъясните...

Слабеет связь, ничего уж не выдавишь из газетного кулька. В холодном поту проснулся Алексей Иосифович.

Была поздняя ночь, почти рассвет, а в большом бессонном городе это самый неподвижный момент. Ночное уже отгремело, рассветное еще не начинало... Жена спала, за стеной у Савелия тихо. Быстро присел к письменному столу Алексей Иосифович и написал при свете штепсельной лампы короткое, ясное письмо Фадееву... Так мол и так... Потом оделся, вышел на цыпочках в коридор, стараясь не

дышать, отпер дверь и вышел, прошел недалеко, дрожа от рассветной осенней сырости, до первого же почтового ящика и, когда опустил письмо, вдруг вздрогнул всеми членами своими, охватил руками холодный казенный металл и заплакал, как пьяный, о своей погубленной жизни. Что его губило? Отчего было так обидно? Разве впервой гибнет на этом свете человек? Но не ради своего он жил, и не ради своего погибал. Не Иван да Марья встретились, чтоб зачать Алексея Иосифовича — вот что его губило... Обидно, обидно... Ах, если б от непорочного зачатия родиться, а не от Иосифа Хаимовича... Уперся Алексей Иосифович лбом в безразличный холодный металл почтового ящика, где отныне и безвозвратно отделилось от него письмо к товарищу Фадееву, написанное под впечатлением странного сна. И через бессловесный плач повторил он проклятия пророка Иеремии самому себе: "Проклят день, в который я родился! День, в который родила меня мать, да не будет благословлен! Проклят человек, который принес весть отцу моему и сказал: у тебя родился сын — и тем очень обрадовал его. И да будет с тем человеком, что с городами, которые разрушил Господь; да услышит он утром вопль и в полдень рыдания. За то, что он не убил меня в самой утробе, так чтоб мать моя была мне гробом, и чрево ее оставалось вечно беременным".

Впервые через национальный плач ощутил вдруг Иволгин-Кац свою подлинную душу, до того только дрожал он и пугался по-еврейски безбожно, но смеялся и плакал он безбожно по-русски. У каждого свой плач, и свой смех, и свой страх... Русский в страхе религиозен, еврей в страхе — атеист. Широко смеется русский человек, обо всем позабыв смеется, хмельно, ребячески, антирелигиозно, и плачет от души, свободно... Но нет в подлинно еврейском на-

циональном смехе и подлинно еврейском национальном плаче русской безбожной свободы... И смех его для Бога, и плач его для Бога... Ни в плаче, ни в смехе нет у еврея самозабвения, глядит он при том всегда на себя со стороны... Ироничен смех, разумен плач... Только в страхе еврей впадает в самозабвение, в атеизм, нарушая обет Авраама Господу...

С того осеннего рассвета, когда впервые по-еврейски заплакал Алексей Иосифович, что-то случилось с душой его, слег он и в постели стал ждать ареста... Однако кончился стальной гвардейский 1952 год, наступил год 1953-й, особый, бронированный, а ареста все не было. "Не может быть, — с беспокойством думает Алексей Иосифович, — в январе арестуют, в первых числах".

Ярко по вечерам блестит планета Венера. Не она ли та самая Вифлеемская звезда? Не с Венерой ли Рождество связано?

Вот чистит снег во дворе и рядом с домом на тротуаре Дан, Аспид, Антихрист вспоминает, как холодны и звездны в декабре и январе вечера вблизи Вифлеема, где Руфь, моавитянка, сошлась с Воозом, продолжив колено Иудино. В созвездии Стрельца блестит чувственная сочная Венера... С середины января навалило много снега, и не мог сам управиться Антихрист, дочь помогала ему, пророчица Пелагея... Венера к тому времени уже в созвездие Козерога переместилась, а к концу месяца, в оттепель и гололед, перешла Венера в созвездие Водолея...

"В феврале арестуют, — думает Алексей Иосифович, — в первых числах февраля врачи-убийцы в белых халатах окончательно подтвердили рассудительные железнодорожные раздумья Достоевского... Не про, а контра..."

Весь февраль был гололед, и март начался с ветров и гололеда... В созвездии Овна блестела теперь Венера, Рождественская звезда... Второго марта арестовали наконец Алексея Иосифовича. Подняли прямо из постели, где он лежал, обложенный горчичниками, — и на холодный гриппозный ветер.

Следователем был украинец по фамилии Сердюк. Военная фамилия, казацкая. И старшина Сердюк возможен, и генерал Сердюк возможен, и отставник-литератор возможен... В данном случае капитан был Сердюк... Молодой парень из Винницы, местности, где хорошо знают, что такое евреи.

Жил на свете Хаим,
Всеми обожаем...

Составляет Сердюк протокол, отмахиваясь от назойливого мотивчика, как от мухи. Говорит он:

— Ну, морда, а теперь скажи, куда ты золото прячешь?

И вдруг с перепугу огрызнулся Алексей Иосифович:

— Вы, советский следователь, еще б жидовская морда мне сказали...

Тогда Сердюк на "вы" переходит, вежливый становится и говорит:

— Будьте добры, ознакомьтесь с этим материалом, — и какую-то папку протягивает.

Привстал Алексей Иосифович, обрадованный своей маленькой победой, чтоб папку взять, и в этот момент Сердюк его казацким кулаком-кувалдой в зубы... Пошел Алексей Иосифович на полусогнутых ногах, спиной вперед... Пошел, пошел, пошел... Кабинет не большой, но и не малый... Пошел, пошел, пошел... Дальше некуда... Об стену затылком...

Так неправильно построил данный допрос капитан Сердюк, и вменилось это ему при восстановлении законности. Уволили его из органов и поступил он в стоматологический институт, поскольку был еще молод и мог избрать иную, хоть и родственную карьеру. Раньше он зубы выбивал, а теперь учился вставлять их. То есть исправлял совершенные ошибки. А Алексей Иосифович Иволгин из колена Руви-ма, убитый на допросе, наконец приложился к народу своему...

В тот год длинны были сосульки, свисающие с крыш, к долгой это весне. И перелетные гуси высоко летели, много это воды будет, реки разольются. И в березах много соку накопилось, значит, к дождливому лету... Среди весенних вод, среди летних дождей смыло и унесло особый бронированный 1953 год. Обмякло все, отсырело, серьез потеряло. И жирный, круглолицый зажиточный мужик с народными прибаутками вдруг взялся объяснять России вековую ее загадку. Но это чуть позже. А до этого самые неинтересные начались времена, и жил народ неинтересно года два, так что Антихристу и пророчице Пелагее дел никаких не было, и к новому их Господь не посылал... Разок только употребила свое пророчица, покарав Савелия, который из ванны в туалет подглядывал, мучаемый третьей казнью Господней... По молодости лет слишком покарала пророчица, и свезли Савелия в психиатрическую лечебницу. Тогда начала ходить к дворнику в гости Клавдия, одинокая женщина, безутешная вдова и страдающая мать... Как все злые по натуре своей люди, пережившие тяжкое горе, она не подобрела, а поглупела. Но и глупость бывает разная, злой человек и в глупости суетлив. Легко и по всякому поводу льются из него слезы, легко и болтливо делится он своими печальями со

всяким. И внезапно как-то из сварливой, способной постоять за себя женщины, стала Клавдия беспомощной, глупой, навязчивой старухой...

В таком состоянии ее и застала Ниночка Кухаренко, приехавшая проведать тетку. Несмотря на все горести, Ниночка Кухаренко выросла в красивую, сильную, не очень умную девушку и вследствие этого легко вышла недавно замуж... Встретившись после долгого перерыва, племянница и тетка понравились друг другу. Ниночка потом рассказывала Антихристу и пророчице Пелагее о встрече:

— Мы бросились друг другу в объятия и, обнявшись, плакали криком.

Часто с тех пор пивали вместе чай тетка и племянница в семье дворника Дана Яковлевича. Рассказывала Ниночка, словоохотливая молодая женщина:

— В сорок девятом году репрессировали моих родителей, мать и отца, а с ними по одному делу семью Ярнутовских. Я, конечно, малая была тогда, но многое помню даже из того времени, когда меня таскали на руках.

Тут Клавдия обычно плакала и говорила:

— Молодец. Ты себя вывела в люди и не пустила на плохой путь. Ах, как ты похожа на мою сестру Валю.

— Родителей я искала два года, — рассказывала Антихристу и пророчице Пелагее Ниночка, — сначала я нашла мать Ярнутовских, Василину Матвеевну. Она тоже долго и упорно искала по Белоруссии, а на всесоюзный розыск не подавала, так как больна и безграмотна. Но она очень переживала о своем сыне Николае. Помог нам в розыске бывший министр юстиции БССР товарищ Ветров.

В этом месте Клавдия снова заплакала, вспомнив о муже своем Алексее Иосифовиче и о дурной болезни сына Савелия.

— Пойдемте, тетя, — сказала Ниночка, — а то вы расстроились.

— Нет, говори, говори. Дан Яковлевич человек добрый. Ух, как приятно рассказывать свое горе доброму человеку, какое это удовольствие, по себе знаю.

Продолжала Ниночка:

— Отца не смогли найти, видно, нет в живых, и Ярунтовских — тоже, а мать свою Валентину я нашла... Но, разыскав мать и встретившись с ней, я, конечно, разочаровалась в ней, так как увидела совершенно спившуюся женщину, и мне было очень больно, что она не смогла выстоять в этот тяжелый период своей жизни и сдалась. Но, найдя меня, она уже не могла оставаться такой и покончила с собой, утопилась в Волге...

Замолчала Ниночка, притихла, не плакала по своему обыкновению Клавдия, а ведь место для плача было как будто самое подходящее... Молчал и Антихрист с дочерью своей, пророчицей Пелагеей. "Вот оно, налицо то самое страдание, — думал Антихрист, — которое у христианских философов есть мерило всего. Однако только хороший человек от страдания умнеет, человек же дурной или безликий от страдания глупеет. Поэтому в мире наиболее распространены страдания и глупость".

— Мой отец Кухаренко Александр Семенович, — продолжала Ниночка, — сидел в Буреполомских лагерях, а где делся после неизвестно, но мать моя говорила, что он писал ей письма до тех самых пор, пока ей не приснился сон, будто он умер.

— Красивая была сестра у меня, — сказала Клавдия, приложив платок к глазам.

— Да, — сказала Ниночка, — мама у меня была крепкая в телосложении, симпатичная на красоту. Летом она ходила в белой блузке и серой юбке, в

белой косынке, а зимой — в хромовых сапогах, юбке в мелкую клеточку, в жакете с рыже-серым воротником... Помню, возле дома нашего были желтые цветы... Иногда обидно становится, особенно вечерами... Но ничего... Я ведь, как и муж мой Федя, шофер, на грузовике работаю. Не зря выбрала эту специальность. В случае войны первая уйду на фронт, сяду в танк и буду мстить всем империалистам за всех нас. Я понимаю, что не будь империалистического окружения, все бы было иначе.

Ниночка приехала не надолго, и на следующий день после этого вечернего разговора опять должна была уезжать к себе на Дальний Восток, где выросла в детском доме.

— Родина не забыла, приютила и воспитала меня, — говорила Ниночка, — я вышла замуж, попалась в надежные руки... А брат мой Мишенька умер в Тобольске от брюшного тифа. Только я живу из нашей семьи Кухаренко. И вдруг иногда мне начинает казаться, что я одна на всем белом свете, конечно, в своем огромном дружном коллективе...

Сказав это, она ушла спать вместе с заботливой теткой своей, дабы не опоздать на утренний поезд.

Аристотель, современник поздних библейских пророков за триста лет до Рождества Христова и до вырождения великого библейского характера, писал, что без действия не могла бы существовать трагедия, а без характеров могла бы. Например, из новых трагедий большая часть не изображает характеров, так как трагедия есть подражание не людям, но действию и жизни, счастьем и злосчастьем, а счастье и злосчастье заключаются в действии.

После 1953 года наступил в России тот период, когда, согласно Аристотелю, историческое действие продолжалось, а характеры исчезли. Трагедия завершает жизнь или период жизни человека и нации,

комедия — возрождает. Через мучительную коллективизацию, губительную войну и послевоенные надежды прошел характер перед Антихристом, посланцем Господа, через вторую казнь Господню — голод, первую казнь — меч и третью казнь — прелюбодеяние... Но к четвертой казни — болезни — моровой язве духа не стало почти окончательного характера, уменьшился он и опростился, хоть сила злосчастия не уменьшилась, а возросла. Впрочем, если глянуть с большой высоты, то и ранее как в России, так и во всем мире являлись великие губители с неинтересным, обыденным мелким характером и великие страдальцы с мелкими душами. Вряд ли Пушкин или Шекспир заинтересовались бы характером Гитлера-Шикльгрубера или Сталина-Джугашвили. Вряд ли интересны как характеры и мученики их зверств, особенно в предельный изуверский период. Безысходная трагедия утрачивает характер, но длительное бытие без характера невозможно. Тут плодоносит комедия, через комический характер начинается возрождение. И верно. Множество комических характеров явилось в конце пятидесятых — начале шестидесятых годов. Как всегда в комедии, явились они в странных сочетаниях, со странными стремлениями и часто без всяких объяснений, крайне хаотично, ибо комедия — это наиболее удаленный от Господа жанр, а значит, наиболее человеческий.

Вернулся из психиатрической лечебницы Савелий, превратившийся из подростка с дурными наклонностями в неопасного лирического мечтателя. Прямая дорога ему, разумеется, была в самое комическое из всех когда-либо существовавших на свете учебных заведений — литературный институт при союзе советских писателей. Здесь встретился он с волжанами, земляками из города Бор Горьковской обла-

сти, лириком-юношей Андрюшей Копосовым и сатириком Сомовым. Был здесь и Вася Коробков, человек странный, таинственной биографии, переросток, похоже, из бывших воров, как о том говорили, черноглазый, восточной, чуть ли не еврейской внешности, но притом шумный известный антисемит. Общался с этой группой и неряшливый старик Иловайский, литератор-эрудит, начавший говорить о русском христианстве задолго до того, как религиозные разговоры стали уважаемы в обществе и ценимы женщинами с запросами.

Следует отметить, что в начальных разговорах этих Иловайский показывал себя с лучшей стороны как умный человек и умелый популяризатор. Но только в первые полчаса знакомства с ним. За первые полчаса обычно выкладывал он много умного с тем, чтоб в последующие годы говорить сплошные глупости.

То же случилось при знакомстве Иловайского с Антихристом и названной дочерью Антихриста, пророчицей Пелагеей. Знакомство это, разумеется, состоялось через Савелия, который, конечно, давно любил Руфину-Пелагею, любил тайно, как привык тайно наслаждаться подобным. Иловайский был на манер русских спорщиков всклокочен, но глаз имел хоть и светлый, но не русский, не открытый, к тому ж он был в свое время реабилитирован и ежедневно пьян. Иногда создавалось впечатление, что ему нравилась вдова Алексея Иосифовича Иволгина Клавдия, мать Савелия. Во всяком случае, Клавдия всегда при его появлении подкрашивала губы и там, где висел раньше портрет — Сталин за рабочим столом в кремлевском кабинете, — она повесила Икону Христа Спасителя.

Однажды пили чай и вели очередной нудный русский спор о Христе. Вообще-то русские люди умеют

многие дела делать весело и поговорить умеют весело. А о Христе они говорят всегда удивительно нудно и спорят всегда беспорядочно, но убедительно. Попробуй, поспорь с русским идейным христианином о Христе. С первых слов всегда начинает казаться, что ты его легко переговоришь и переубедишь. Слишком скучны и наивны кажутся поначалу его аргументы. Однако чем дольше длится спор, тем более ты ловишь себя на странном впечатлении: ты чувствуешь себя умнее его, а он говорит умнее тебя... Дан, Аспид, Антихрист всегда в таких случаях думал, что если б явился брат его из колена Иудина, дома Давидова, Иисус, приемный сын Иосифа, ученый фарисей, то и он ничего не мог бы доказать сам о себе русскому идейному христианину, как умело доказывал он свое членам своей собственной секты фарисеев, ибо то были люди хоть и враждебные по взглядам, но общего мироощущения и общей веры в Моисеев закон... Здесь же взгляды были как будто общие, его, Христовы взгляды, изученные по Евангелию, но мироощущение совершенно враждебное, чужое делало каждое собственное слово неузнаваемым и тебя самого бессильным перед твоим же словом. Отсюда и возникла по сути атеистическая теория о том, что Бог, сотворив мир, более не вмешивается в его дела, ибо такой Бог как бы не существует ныне, хоть и существовал некогда. В этом существовании Бога в прошлом — единственное внешнее отличие теологического материализма от обычного материализма.

Но особенно неувеличимым по смыслу становился спор, когда русские идейные христиане начали спорить меж собой об одном и том же, то есть говорить одно и то же, но такими разными словами, что спор казался совершенно непримиримым. До того уж бессмысленным все становилось, что начинало ка-

заться: вот-вот да мелькнет, наконец, искомое, невозможное в спорах толковых, интересных... Сам себя не сознавая, скажет неразумный Слово... То самое Слово, которое во главе угла в самом нееврейском из всех четырех Евангелий, Евангелии от Иоанна... Наиболее это любимое для русского декадентствующего интеллигента Евангелие... И тянутся неразумные от этого Евангелия к Апокалипсису... Апокалипсис от Иоанна тоже ими любим. Однако тот ли это Иоанн? Самое нееврейское творение в евангельской литературе — четвертое Евангелие. Самое еврейское — Апокалипсис, книга ненависти и надежды. Той самой ненависти к Римской империи, которой наполнялось и сердце Христа. В Апокалипсисе явно дано то, что в Евангелии от Матфея дано мягко и осторожно: ненависть строителей Храма к строителям Вавилонской башни, которой является всякая империя. Евангелие от Матфея, впрочем, как и Евангелия от Марка и Луки, но особенно от Матфея писали с Иоанном, создателем Апокалипсиса, братья по духу, тогда как Евангелие от Иоанна писал талантливый умелый недруг, причем чисто литературно, а не духовно талантливый. В четвертом Евангелии первоначально родилось слово, а уж затем стал ясен смысл его. Это по-гречески пластично, однако здесь чувствуется попытка придать Божьему образ, чувствуется то самое, с чего начинается раздел между библейским и греческим, между иудео-христианством и языческим христианством. Как раз наоборот, Господь иногда дает неразумным смысл, но не слово, смысл через бессловесный Божий плач, каким плакала в 1933 году возле станции Андреевка малолетняя мученица Мария.

Весь дух четвертого Евангелия — греческий и антибиблейский. И все же в космосе нет низких высот. Великое величественно и в декадансе, в мисти-

цизме, в падении своем. Только в ничтожном нет падения и декаданса. Акмеист Гумилев заявил: "И в Евангелии от Иоанна сказано, что слово — это Бог..." Это, конечно, не так, это не по-библейски... Слово всегда унижает смысл. В диалоге между Богом и пророком унижается Божье, в диалоге между пророком и народом унижается пророческое. Пророки знали, что в великом Слове Бог унижен, а в ничтожном Слове вовсе нет Бога... Однако давно уже нет пророков, и давно уж многократно унижено Божье, прежде чем приблизилось оно к народу через ничтожное. Потому так ценно сегодня даже и случайное Слово, даже не библейское, греческое Слово из четвертого Евангелия. Даже человеческое Слово, опережающее Божий смысл...

Сказал Иловайский в последней, уже горячей стадии русского спора о Христе, когда все, даже самые житейски глупые, даже Клавдия, вдова Алексея Иосифовича — все говорили умно, и потому не было возможности что-либо понять и на чем-либо остановиться, — сказал Иловайский, облапив пальцами ревматика чайную ширпотребовскую чашку, белую с голубым ободком, от которой попахивало водкой, сказал:

— Посмотрите на эту чашу, — он употребил слово "чаша" вместо "чашка", поскольку считал себя ученым-античником, — посмотрите на эту чашу... Сейчас она проста... Но вот я ударю ее об пол, и она сразу станет сложной...

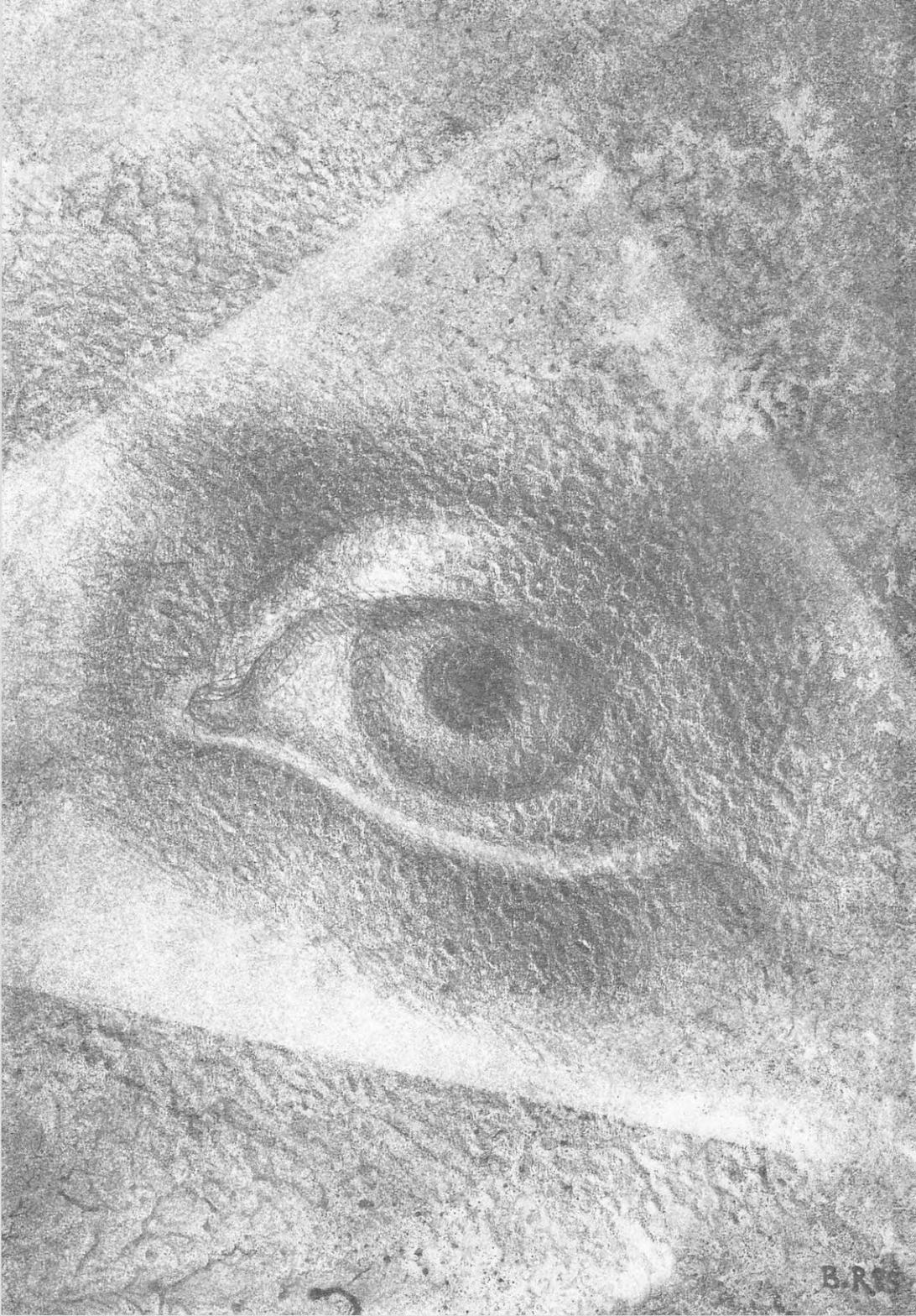
И верно, он ударил по-русски безжалостно, антимещански чужую вещь об пол, хрустнуло, заскользили осколки, и умолкли все, ибо верно, сложной стала ширпотребовская чаша. Тогда понял Дан, Аспид, Антихрист, что через этого неразумного Господь дает Знамение, позволив сперва сказать Слово, а уж потом определить его смысл. И прием-

ная дочь Антихриста Руфь, она же пророчица Пелагея, поняла.

Вот с 1933 года минуло четыре Господних Притчи, и каждая притча имела в себе все четыре казни Господни, обнаруженные через пророка Иезекииля. И в каждой притче какая-либо из казней возвышалась над остальными и была во главе угла. То вторая казнь возвышалась — голод, то первая — меч, то третья казнь — дикий зверь, прелюбодеяние, то четвертая казнь — болезнь, моровая язва. Вот среди этих казней Господних завершается жизнь поколения и надобно ее подытожить пятой притчей.

Кровью Завета подытожил пророк Моисей Божье, и влил он эту кровь Завета в чашу, чтоб затем этой кровью окропить народ. Не речной водой, а кровью кропил Моисей народ. Но разбита теперь чаша, и о том пятая притча, ради которой послан на землю Антихрист...

V



B. 100

Когда осиротевший младенец — христианство — потерял свою еврейскую мать в силу вечного соперничества меж теми, кто строит Храм и теми, кто строит Вавилонскую башню, он попал вначале в руки тех, кто знал о матери его все или многое, но был этому враждебен. Опекун-грек, а это был главным образом грек, представитель совершенно иной духовной основы, постарался сделать так, чтоб младенец не знал сам о себе правды. Для этого опекун-грек ввел затворничество не как временный творческий прием, которым пользовались и Моисей, и Иисус, а как постоянное бытовое монашество, которое создало идейную основу для того, чтобы окончательно оторвать младенца от его иудео-христианской матери, заставить забыть ее подлинный облик, ее подлинные надежды, ее подлинные горести и страдания среди собственного погибающего народа. В монашеском затворничестве родился даже новый физический облик Христа. Нет, это не был облик ученого фарисея, уже в юные годы поражавшего убеленную сединой профессуру, знатоков Библии, не тот, кто понял практический смысл и силу учения пророка Иеремии о непротивлении нечестивцу, от которого в качестве добычи своей, в слабости своей можно взять душу свою. Не был это и облик мудреца, понявшего, что глас пророка — это глас, вопиющий в пустыне. Пророк предсказывает будущее, но народ осознает его правоту, лишь когда будущее становится прошлым. Потому пророку нужна власть, какая была у Моисея. Царь-Христос — вот кто ныне Спаситель народа... Он знает,

как тяжел крест царя Иудейского... Самые отважные и бескорыстные — невежественны, самые разумные и ученые — трусливы и корыстолюбивы. Так бывает всегда, когда народ в долгом угнетении, и ему, знатоку Библии и пророков, это ясно. Он помнит слова Моисея, он знает, что Спаситель и Патриот должен обладать также и хитростью, поскольку мир — это волчье логово. С людьми учеными он говорит острым, гневным языком опытного полемиста, с людьми темными он говорит иносказаниями, поскольку путь во тьму лежит через мистицизм, и доверие невежд завоевывается лишь в случае полного непонимания ими происходящего. Если невежде понятны частности, он отвергает недоступное ему целое. Значит, чудеса должны быть и в целом, и в частном. И в главной идее спасительного людского добра, и в мелких исцелениях. Для ученой верхушки коллаборационистов, усевшихся на Моисеевом седалище, он — беспокойный молодой самозванец, кем, кстати, он и был в действительности. Они понимают его и оттого ненавидят. Для римских оккупантов он — разрушитель Моисеева закона, соперника их языческой идеологии. Они не понимают его и оттого стремятся использовать как коллаборациониста. Тем самым и Иисус почти в точности повторяет судьбу своего духовного предшественника, пророка Иеремии, посаженного в темницу своим горячо любимым народом и вырученного из темницы ненавистными врагами — ассирийцами. Ибо пророк может предвидеть и осознать судьбу народа, но он бессилен перед собственной судьбой. Так бессилен перед своей судьбой и Спаситель. Истина была в словах надсмехавшихся над ним, распятым: "Других спасал, а самого себя спасти не можешь". Он удивительно одинок не только на кресте, но и до креста. Апостолы, которых он всегда внутренне презирал, к концу его жизни

испытывают к нему все большее разочарование и ищут способа избавиться от него. Невежды от общения с великой личностью начинают понимать частности и потому отвергают недоступное им целое.

Незадолго до Пасхи в доме Симона-прокаженного, в Вифании, назрел прямой конфликт меж Иисусом и апостолами. Вот Евангелие от Матфея, самое достоверное Евангелие.

”Приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему, возлежащему, на голову. Увидевши это, ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим”.

Здесь апостолы явно намекают Иисусу, что он сам не соблюдает собственное учение о том, что все следует раздавать нищим. Уразумев их упреки, Иисус и ответил:

— Нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете.

Он помнил слова Моисея: бедному не потворствуй в тяжбе его... Он знал: бедность — болезнь и беда, но не заслуга... Именно после этого препирательства Иуда Искариот решил предать Иисуса первосвященнику. Но что значит подлинно предать в условиях соблюдения буквы Закона. Это значит доказать его вину на суде. ”Первосвященники и старейшины и весь синедрион, верховное судилище искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, и хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но наконец пришли два лжесвидетеля и сказали: Он говорил: ”Могу разрушить храм Божий и в три дня создать Его”.

Кому же говорил это Иисус? Согласно Евангелию, говорил он это только апостолам, а значит, два неизвестных лжесвидетеля были из апостолов. Все

дальнейшее поведение Иуды Искарриота, который в христианской литературе и Евангелии от Иоанна представлен как исчадие ада, в действительности говорит о том, что человек этот был лишь орудием в руках наиболее опасных и хитрых врагов Иисуса среди апостолов, которые так и остались неизвестными. Иуда же был просто наиболее наивный и прямодушный, менее всего умевший скрывать свои чувства, и Иисус, подозревавший среди апостолов заговор, указал на Иуду просто потому, что Иуда безусловно, по чьему-то хитрому умыслу, более других бросался в глаза. Указав на Иуду, Иисус не доверял и остальным. На горе Елеонской Иисус говорил им: "Все вы соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы стада".

В провинции, в Галилее, Иисус был личность известная, но в столице его мало кто знал, и когда пришла иерусалимская "золотая рота" брать его, то потребовался поцелуй Иуды, чтоб указать, который из двенадцати чужих пришельцев — богохульник. И далее: "Сие же все было, да сбудутся писания пророков. Тогда все ученики оставив его, бежали".

Так пал Иисус жертвой не только внешней ненависти сотрудничавших с римлянами коллаборационистов, но и внутреннего заговора апостолов, если не всех, то, по крайней мере, группы апостолов, научивших Иуду и выставивших его напоказ. О том, что Иуда Искарриот был человек наивный, недалекий, но совестливый, свидетельствует его поведение после суда. "Тогда Иуда, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того, смотри сам. И бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился". Здесь угадывается личность честная, но неразумная, даже не осо-

знавшая смысла происходящего, удивленная тем, что Иисуса за неразумные его речи приговорили к смерти. Тем не менее, Иуда обозначен в христианской литературе и христианском мышлении как образ канонического предателя, дабы скрыть предателей тайных, разумных и подлинных. И по сей день эти предатели числятся в святых апостолах, и в честь их воздвигнуты Божьи храмы.

Так, клевета и ложь явились уже в самом апостольском начале и еще более укреплены были апостолом Павлом из колена Вениаминова, никогда не видевшим Иисуса, не слышавшим Его живого Слова и происходившим из бывших врагов его Учения... Следует ли удивляться поэтому, что в греческом затворничестве родился даже физически новый облик Христа, изнеможенного, с убитой плотью человека, который скорее напоминал святого Антония, чем сына из Дома Давидова.

Позднее, в раннем средневековье, в отрочестве, христианство уже находилось в руках тех, кто не только был враждебен, но и не знал ничего правдивого о палестинской матери. Лишь иногда в чернокнижье христианство читало тайную правду о самом себе, но оно само страшилось этой правды и карало самых талантливых за эту правду. По мере роста своего христианство попало в руки людей совсем чуждых еврейству, ибо греки были еврейству враждебны, но не чужды. Вот почему многое простое, практически ясное в доме матери, стало сложным, недоступным, отдающим метафизической глубиной в чужом доме. Ведь любое человеческое слово в иных мирах становится шифром. Потому, пожалуй, непротивление злу как основной христианский догмат был зашифрован метафизическим шифром все-таки не ранними христианами, а скорей сильными народами раннего средневековья, когда

вражда первых античных опекунов христианства к подлинной еврейской матери его еще ощущалась как живое деяние, а не как мифологический элемент, возникший потом среди славянского христианства, и в то же время в раннем средневековье уже был утрачен и стал непонятен язык библейской души. Когда слова о непротивлении злу потеряли подлинный аромат речи Иисуса из колена Иудина, обращенной к погибающему в тяжелой борьбе своему горячо любимому упрямому и непослушному народу, они стали изречением сына Божия, спустившегося с неба и беседующего в пустыне с умерщвляющими свою плоть греческими монахами. Когда из слов этих пропала мудрость политика и горечь патриота, остались лишённые национального языка всемирные поучения, которые становились все менее доступны живому человеческому сердцу... Почему же случилось такое? Христианство всегда с ранних начал своих было враждебно еврейству, но оно самоотверженно, самоотреченно утверждало в мире веру свою. Потому случилось такое, что чрезмерное утверждение Божественного, небесного происхождения Христа ведет к атеизму. Разве не тем же занимаются и атеисты, пытаясь доказать мифологичность, антиисторичность личности Иисуса, пытаясь отрицать его как личность национальную, одного из лидеров национального Назаретского движения?

В весьма давние времена греческий купец Маркион сочинил Евангелие, в котором отрицал причастность Христа к Библейскому еврейскому Богу. "Библейский Бог, — утверждал Маркион, — это Бог материального мира, а отец Христа — Бог духовного мира". Вселенский собор отверг тогда Евангелие от Маркиона. Слишком уж наглядно он был лжив, слишком искажал подлинность, слишком попахивал многобожием и язычеством. Однако гораздо

позднее Собор приобщил к трем каноническим Евангелиям четвертое, от Иоанна, следует еще раз повторить, не имеющего никакого отношения к святому Иоанну, написавшему Апокалипсис. В этом четвертом, декадентствующем Евангелии в более умелой и красочной форме, чем у Маркиона, доказывается, по сути, то же самое, и Христос отлучается от своего Библейского Бога... Интересно отметить, как от Евангелия к Евангелию слабел мотив заговора апостолов против Христа. В самом древнем и подлинном, от Матфея, он дан полностью, в Евангелии от Марка он дан достаточно сильно, у Луки он уже значительно ослаблен, а у Иоанна он и вовсе отсутствует. Наиболее трагические эпизоды, предшествующие смерти Христа, написаны совершенно поразному. Из Евангелия от Иоанна исчез не только заговор апостолов, исчезла неприязнь между апостолами и Христом, вовсе не сообщено о двух таинственных лжесвидетелях, по наговору которых Иисус был приговорен к смерти. Иуда же дан как предатель-одиночка, порождение сатаны. Нет места, где он в скорби отрекается от серебреников, а, наоборот, подчеркивается его корыстолюбие через денежный ящик при нем. Правда, дано временное отречение, по слабоволию, Петра от Иисуса, слишком уж заметен этот факт. Однако главное — преднамеренный заговор группы апостолов, который явно виден у Матфея, — у Иоанна полностью скрыт. Так заговор апостолов против Христа превратился в заговор христианства против Христа. Ясная, простая Божья Чаша была безжалостно расколота на метафизически сложные философско-религиозные осколки. В "Легенде о Великом инквизиторе" Достоевского дан неживой, антинациональный небесно-космический образ Христа, но земной заговор христианства против Учителя дан достаточно точно.

Правда, христианство это у Достоевского названо "католичеством", однако в христианском мире, расколотом на осколки, это не более чем естественный полемический прием, который с успехом может быть повернут и против православия.

Так, обособившись от Библии и Моисеева закона, христианство вступило на естественный логический путь обособления и раскола. Заговор против Моисея — перерос в заговор против Христа. Давно нет уже у идеологов от христианства общей идеи, когда же нет общей духовной идеи, ищут общего телесного врага, который помог бы сохранить призрачное единство. Впрочем, общий телесный враг найден уже давно, еще в монашеском бытовом затворничестве первых греческих анахоретов. Имя ему — наслаждение. Христианство учит бежать от поля наслаждений, от поля Сатаны, обходить его на пути к Господу, а Библия учит идти через поле наслаждений, через поле Сатаны к Господу, ибо иного пути нет, поскольку проклят человек, и Господь изгнал человека из рая с небесных хлебов на собственный духовный хлеб, в поте лица добываемый. Если атеист трудится в поте лица на поле наслаждения ради хлеба духовного, он выполняет Господнее, если же человек, считающий себя религиозным, ждет на поле наслаждения хлеба духовного с неба от Господа, он против Господа. Христианство, правившее миром более пятнадцати веков, теперь обвиняет в несовершенстве мира атеизм, который еще и века нет, как обрел власть. Это то самое христианство, которое захватило власть над миром, поддерживая тайный заговор апостолов против Христа. Это оно много веков проводило в духовной праздности, предаваясь чисто буддистскому созерцанию метафизических истин и заменив Деяние злобными спорами о добре и зле... Оно и поныне осыпает прокля-

тиями тех, кто в здоровом, искреннем человеческом порыве бежит от них к полю наслаждения, бежит туда, куда и следует по замыслу Божьему. Но к несчастью для себя, бежавшие от юридиче­ских поучений идут через это опасное поле Дьявола, ведомые не тяжелым духовным трудом Учителя, а лишь повинувшись собственным телесным инстинктам. Потому часто гибнут они либо вследствие юношеского невежества в самом начале пути, либо, кто миновал начало, влекомые старческим невоздержанием мимо плодоносной Сердцевины к другому краю, где господствует извращенная мистическая мудрость. Гибель этих несчастных вызывает лишь злорадный хохот сидящих в отдалении в духовной праздности христианских духовных евнухов. Впрочем, ныне многие из этих евнухов сменили церковные одеяния на вполне светскую мантию профессора философии или даже на пиджак литератора.

Вот истина: кто знает Библию, знает все, доступное человеку, кто не знает Библии — не знает и самого себя... Пример тому — Россия... Уж более четырех веков строится в России Вавилонская башня. Библия предупреждает: возьмет башня всю силу, весь талант, всю страсть, но достроена не будет, и прахом станет сила и талант, как это случилось в Вавилоне. Но чаша отвергнута и расколота, ясные истины стали сложной метафизикой осколков. Суе­тились, строились. Пришел национальный архитектор Достоевский, глянул. К небу уже башня подбирается к концу девятнадцатого века. "Ай да русский народ. Где ступил урус, там уже и русская земля. Только давайте, братцы, придадим этой башне облик Храма. Этим мы от Европы будем отличны. И башня у нас, и Храм. И империя в силе, и религия в силе". Однако более умелыми, самоотверженными строителями на высших этажах оказались

атеисты. Тогда строители-христиане удалились и ныне злорадствуют над теми, кто продолжает начатый ими же Вавилонский вызов Господу, над теми, кого они сами же учили получать истины с небес якобы из рук Сына Господнего, а в действительности же из высохших лапок греческих монахов-заворников. А история доказала, как нетрудно в таком случае подменить небожителя и как легко его подобрать...

Все прямо с небес, ибо существует в Евангелии от Матфея (а они знают, что это наиболее достоверное Евангелие, хоть и любят, балуются четвертым, декадентским Евангелием, в котором литературный талант довлеет над духовным содержанием), существует в Евангелии от Матфея стих 63 и стих 64. Любят цитировать христиане эти стихи как неотразимое доказательство. Что же в этих стихах? Иисус приведен в суд. Спрашивает его первосвященник, человек, в котором великое колено Левия достигло предела в своем унижении, спрашивает:

— Ты ли Христос, Сын Божий?

Отвечает ему Иисус:

— Ты сказал. Далее сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных.

Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал:

— Он богохульствует.

Но богохульствовал ли Христос? Опустим тот факт, что это место вообще темно и антиисторично. По Моисееву Закону богохульствовал лишь тот, кто ругал Бога. Христос же здесь Бога не поносит. Допустим, первосвященник, сотрудничавший с римлянами, нарушил Моисеев закон, но нарушал ли Моисеев закон Иисус? Всякий иудей считал себя Сыном Божиим, ибо со времен Авраама народ —

Господен. Всякий патриот мог ощутить в себе мессианскую силу в момент, когда народу грозила гибель. Тем более, что к небесному "Мессия" он постоянно прибавляет земное — Царь иудейский. Звание для личности потусторонней, метафизической, не национальной странное. Что же касается Вознесения Сына Человеческого в небесную высь, то это отнюдь не богохульство, ибо тогда следует обвинить в богохульстве и канонически признанного пророка Илью, вознесенного в огненном смерче... Не богохульство это, как утверждает первосвященник из Евангелия, но и не уникальное явление, свидетельствующее о небесности происхождения, как утверждают христианские идеологи, уповая на стих 63 и на стих 64. Это не что иное, как гениальное состояние души великой личности в предельный ее момент. Так что в действительности, пытаясь возвысить происходящее, христианские идеологи унижают его, будучи чужды и еврейской истории, и еврейского национального мироощущения. А иного пути нет к подлинному пониманию Библии и Евангелия, как только через еврейскую историю и еврейское мироощущение. Но разбита Чаша.

Чаша не сложна сама по себе. В первом своем облике она не тревожит разум, осколок же Чаши уже в первом своем облике, он же и последний, ибо у осколка один законченный облик от Альфы до Омеги, осколок тревожит разум. Чем меньше осколок, чем более он далек от Чаши, тем более он целен сам по себе и тем более он тревожит разум в первом же своем облике. Но то, что тревожит разум в первом же своем облике, требует меньшего духовного напряжения, чтоб проникнуть вглубь. Осколок волнует сразу, Чаша сразу не волнует, она ясна. Но в ясности Чаши скрыт гораздо более глубокий смысл, чем в темной сути осколка. Чаша ма-

териальна и практична в бытие и вносит в бытие материальное. Это как раз то, в чем всегда обвиняли евреев. Евреи, мол, вносят в мир материальное, и это губит мир. Особенно неистовствуют в этих утверждениях русские национальные метафизики. Да, Чаша практична и диалектична в бытие, в вечном же — метафизична, осколок метафизичен и мистичен в бытие, в вечном же — диалектичен, стремясь постичь недоступное, придавая Конечному диалектический смысл. Придавая человеческим страстям, человеческой любви, человеческой ненависти бесконечный, высший, вечный мистический метафизический смысл и в то же время стремясь диалектически, философски постичь такие цельные вечные понятия, как Небо и Бог. Между Чашей и ее осколками такая же разница, как между Верой и религиями, между смыслом и концепциями, между первичностью интимного чувства и первичностью публичного обряда... Но разбита Божья Чаша и о том — последняя пятая Притча Антихриста, посланца Господа.

ПРИТЧА О РАЗБИТОЙ ЧАШЕ

Андрей Копосов, как это случается с детьми, зачатými матерью в чрезмерной страсти, был молодой человек хилого здоровья. Собственно, хилое здоровье ребенка возможно и по иным причинам, но чрезмерная, болезненная страсть матери его Веры как бы навек воспалила мальчика. Он рос нервным и одновременно застенчивым, "с улыбочкой". Отца своего, в честь которого он был назван, Андрей не знал, тот умер за много месяцев до рождения сына, а это для мальчика всегда дурно. В семье он был нелюбимым. Сестры — Тася и Устя — его шлепали, сыновья Таси, Андрей и Варфоломей Веселовы с ним дрались, муж Таси, Николай Веселов над ним смеялся, патрульная старуха Сергеевна, мать Веселова, глядела на него остро, с неодобрением. Только мама Вера любила, однако была его мать какая-то запуганная в семье, на нее собственные дочери крикнут, она и замолчит виновато и не имеет возможности защитить любимого сыночка. Потому жизнь в родном городе Бор Горьковской области с детства была Андрею в тягость, и, отвергнутый людьми, он приобщился к книгам, стал активистом Борской библиотеки. В то время минуло ему шестнадцать лет, и было бы чудом, если б он не начал пи-

сать стихи. Чуда не свершилось. Дальнейшее его стало ясно. Сомов, профессиональный стихотворец из "Борской Правды", окончательно наставил его на путь истинный.

— Подавай в Литературный. Ты парень русский, волжский, талантливый, примут.

Сам Сомов, который годился Копосову чуть ли не в отцы, подавал уже несколько раз, но терпел неудачу. Ныне, однако, он был уверен в успехе, поскольку имел, наконец, рекомендацию от местного агитпропа.

— Они на меня зуб держали за сатирические стихи об инвалиде Иване Прохорове, — пояснил Сомов, — стихи эти теперь в Москве по рукам ходят... Эх, Москва. Ты Андрюха, не представляешь, что там за литературная жизнь. И половая тоже недурна, все девушки курят... Ну, ты не красней, вот юноша...

Первые стихи Андрея, которые опубликовала "Борская Правда" начинались:

Хлеба краюха и Волги глоток...

— Да у тебя народный талант, — говорил Сомов, — сейчас это очень ценят... Надоела всем еврейская литература... Хлеба краюха и Волги глоток — это уже нечто от русского христианства.

Так, впервые, на шестнадцатом году жизни услышал Андрей о русском христианстве как о чем-то важном и серьезном, отличном от прежних его комсомольско-молодежных представлений и смешных старушек на паперти.

Сейчас, сидя в московской комнате, которую он удачно снимал у московской старушки, ибо она большую часть своего старушечьего времени проводила у своего женатого сына, сейчас, вспомнив этот изначальный разговор и чувствуя себя совершенно

иным человеком, чем он в действительности не был, Андрей испытал свойственный подобным натурам жгучий прилив стыда наедине с собой и перед собой за себя самого.

Действительно, приехав в Москву, Андрей еще в большей степени стал себе подобным, то есть еще сильней укрепился в юности, однако по-иному, чем Савелий, без стыдного страха перед девушками, а обособляясь от них как от людей. Впрочем, от людей он не бежал, но больше любил посидеть наедине. Став студентом Литературного института, он стихи писать разлюбил, однако над искусством задумывался и научился получать от него счастье до слез. Приобщился он и к религии, сперва через глупые споры в компаниях, а затем и через свои размышления. И в этих постоянных болезненных, часто не по летам тяжелых размышлениях многое ему открылось. Например, с некоторых пор он догадывался, что основная мысль гуманистов о том, что нет дурных народов, все народы хороши, безвкусна, как лечебная пища, лишенная мясных соков и соли. В ней было так же мало таланта, как и в расистской мысли о преимуществе одних народов над другими. Но расистская мысль хотя бы обладала плотью, пусть свиной, немойтой, но здоровой плотью любви к себе и нелюбви ко всему вне себя. Он знал уже, что вход в этот лабиринт — через детские вопросы христианства о добре и зле. Что чуждая Христу христианская топь метафизических вопросов отняла у западной культуры значительную часть ее духовной силы, не давая подойти к тем библейским истинам, которые лежат в фундаменте бытия. Иногда он сознавал это настолько ясно, что все духовные муки гениев прошлого казались ему понятными. Это и смущало его, это и пугало его, это и уводило прочь от ясности к известным и признанным в москов-

ском молодежном обществе толкователем евангельских истин, которые брали над ним верх. И вновь он попадал в заколдованный круг христианских разговоров о добре и зле, где люди, которых он считал глупее себя, говорили умнее его и приводили неопровержимые доводы. Попытка же возразить приводила к тому, что он выглядел человеком реакционным, злым, чуть ли не расистского направления, и когда однажды в споре один нервный человек, Вася Коробков, кстати говоря, известный антисемит, крикнул ему "фашист", Андрей понял, что сложившиеся веками евангельские истины, так, как они навязывались авторитетными толкованиями, действительно не оставляли человеку здорового индивидуального рассудка иного пути: либо принять эти истины, как они сложились в течение пятнадцати веков, либо стать расистом. Это его пугало, и он перестал ходить в компании с духовно-религиозными разговорами, оставив за собой прочную репутацию реакционера и человеконенавистника, а по выражению Васи — репутацию потомка в пятнадцатом колене тех самых фарисеев, которые отвергли и распяли Христа. И в этот момент, когда Андрей перестал себе доверять и пал духом, он наткнулся на Моисеево отношение к народу. Собственно, ему приходилось много раз слышать о разбитых Моисеевых скрижалях и даже читать и перечитывать о том, как Моисей вознегодовал на изменивший Богу народ свой и разбил первые скрижали, и что лишь по уговору Господа написал он вторые скрижали. Но читал это без интереса и душевного напряжения, которые вызывали в нем места из Евангелия.

И вдруг однажды утром, часов около одиннадцати, когда квартирная хозяйка отсутствовала, и он был совершенно один, Андрей прочел о Моисеевых

скрижальях как бы впервые и с каким-то чувством восторженного удивления, точно не положил в этот раз, как обычно, старую, купленную по случаю, неопрятную Библию на обеденный стол, покрытый старушечьей скатеркой довоенного образца, не перелистал залапанных страниц, а совершил вдруг восхождение за истиной куда-то вверх, в гору, поближе к себе и подальше от народного коммунального бытия.

Гуманисты учили, что нет дурных народов. Это было благородно, но требовало насилия над собственным здравым смыслом. Расисты учили, что есть народы высшие и низшие, причем к высшим они причисляли "по знакомству" себя и своих близких. Это было неблагородно, но реалистично и в духе повседневности. Моисеево же библейское учение, если в него вдуматься, находясь в том душевном состоянии, которое открылось в то утро Андрею, говорило, что хороших народов нет вовсе. Это не требовало насилия над здравым смыслом и не давало никому врожденных неблагородных преимуществ. Это была ясная, прочная отправная точка, идя от которой многое можно было понять в материальной истории и в духовной жизни человека. Библия говорила вовсе не то, что утверждали многие ее сторонники, и не содержала в себе того, что отрицали ее враги. Более того, если Библия ортодоксов лишь спесиво замыкалась в себе под яростным многоликим и уличным напором влюбленных в свою метафизическую идеологию христиан, то Библия живая показывала неправду и языческую суть культа мучений, как основы нравственности, показывала подмену основного второстепенным, показывала, что гуманизм — обожествление человека и расизм — обожествление расы являются хоть и поздними, хилыми, но зачатými

в страсти, братьями этого культа людских телесных мучений.

Все это Андрей понял разом и записал без помарок на четвертушке бумаги за какие-нибудь полчаса. Он знал, что более сейчас не поймет ничего, а в том, что понял, вскоре начнет сомневаться. Потому он не стал искушать себя новыми надеждами, торопливо закрыл Библию, спрятал записанное своим почерком, но будто чужой рукой, не в свои бумаги, а туда, где хранились деньги и документы, в потайной карман куртки, висевшей за шкафом, куртки, которой любой вор побрезгует из-за старости ее.

Было без восьми минут двенадцать, время, когда он в тот день окончил свою подлинную жизнь и начал ложную, Андрей засек точно. Ложную свою жизнь он начал с приготовления завтрака, вышел на закопченную коммунальную кухню с индивидуальными столиками по числу проживающих семей и поставил на плиту хозяйскую сковородку, вылил на застывший от прошлых жарений жир несколько яиц и, глядя как шипит яичница, задумался о том, как провести удачнее день, чтоб не потерять и не обесценить только что найденное. Если продолжить оставаться наедине с собой, то это значит прожить день жизнью умственной, целенаправленной, сосредоточенной на одном, а это, безусловно, повлекло бы к сомнениям и могло бы перечеркнуть найденное. Если же встретиться с людьми по бытовым пустякам, то это значит постоянно сравнивать свое заглавное с происходящими вокруг бытовыми пустяками и в результате, во-первых, оставить о себе дурное впечатление, а во-вторых, некрепкую еще мысль свою столкнуть с устоявшимся, осязаемым и прочным, отчего опять же найденное измельчает и поблекнет. Потому лучше всего было бы провести день с людьми, однако не по-бытовому и желатель-

но не в религиозных спорах. Тут вспомнилось, что в Третьяковской галерее открыта выставка французского художника, бывшего эмигранта из России, выставка, производящая шум и рождающая неофициальный шепот. "Вот удача, — подумал Андрей, — заодно Третьяковку посмотрю, давно не был. Позвоню Савелию, Саше Сомову, земляку. А вот возьму и позвоню еще и Васе Коробкову, пусть будут разные люди. И наедине я не окажусь весь день, и среди разных людей меньше будет откровенных, мелких дружеских разговоров. Ни к чему они мне сейчас".

Было лето, начало июня, занятия в институте подходили к концу, приближались экзамены, к тому ж сегодня, согласно институтской специфике был творческий день, свободный от лекций. "В другой раз на выставку не попаду, говорят, недолго будет", — подумал Андрей и, сняв сковородку, погасив огонь, пошел к коммунальному общественному телефону, который в это рабочее время не был, к счастью, занят соседями. Первым позвонил он Савелию. Ответил женский голос, мать или соседка. Савелий еще спал, и Андрей минут пять вслушивался в потрескивание и гудение телефона. Наконец застучало, послышались отдаленные голоса, мужской и женский, и Савелий, отхаркиваясь, кашляя, сказал:

— Извини, старик, поздно лег... Здравствуй...

Андрей сказал про Третьяковку и про выставку.

— Конечно, — восторженно воскликнул Савелий, — обязательно приду и жди меня обязательно возле этой дряни... Перекуем мечи на орала... Возле Вучетича... Или нет, лучше у касс... Только я не один... Я с женщиной, — и Савелий стыдливо хихикнул.

Сомов тоже был дома и согласился придти.

— Повидаться надо, земляк, — сказал он. — Разговор есть.

После этого Андрей задумался, звонить ли Васе, которого он не любил и немного побаивался.

Вася Коробков действительно был личностью опасной и странной, но не исключительной. Был он беден, неустроен, жил и пил неизвестно на что, как можно жить и пить только в России человеку с литературными заработками. Заработок этот в стране был очень обширен и кормил целое сословие, весьма разношерстное. Одних — с чрезмерными роскошными излишествами, других — досыта, третьих — экономно, обедками, четвертых вовсе от случая к случаю. Однако жили все, пользующиеся этим заработком: и вельможи, и люди разбойные, которые возле сытых всегда, если и не имели каждый день что поесть, то имели каждый день чем закусить. Так ежедневной даровой закуской жил и Вася, писавший странные стихи по-русски и по-украински. По-русски он писал массовую лирику:

Я в руки карандаш беру березовый
И стих с него стекает нежно-розовый,
На белый лист заснеженного поля...

По-украински он писал стихи индивидуально-религиозные:

Господь помылся
И в Киев явился.
И дуже пры цьому страждав...

— Я ведь с Харьковщины, — говорил он. — Село Шагаро-Петровское, хутор Луговой. То есть я-то родился в Керчи, где мать моя покойная, Мария, вместе с бабкой Марией работали по вербовке. Но все родичи мои с Харьковщины. Собственно, настоящая фамилия моя хохлацкая — Коробко... "В" мне уж потом прибавили, в детдоме... Я до десяти лет в дет-

доме воспитывался, а потом меня на воспитание тетка моя взяла, после того как разыскала, сразу после войны. Тетка Ксения из Воронежа. Отца своего не знаю, но Ксения говорит, что моряк он был, украинец из Крыма. А в Крыму ж там в каждом украинце туреччины намешано, татарщины, греческого немало... Вот и наградил меня внешностью вроде бы жидовской... А у меня все родственники иные, типично украинские. В селе Шагаро-Петровское — сестра Шура и дети ее, и дядька у меня был Коля, который в войну погиб, и еще один дядька Вася, который во время коллективизации малым пропал, отчего меня в его честь назвали. И тетка моя Ксения из Воронежа, вы б на нее поглядели, ничего подобного, типичная славянская внешность. Один я нос имею кривой, а глаза и волосы черные. Однажды подходит ко мне жид на улице, начинает со мной по-жидовски говорить. А я пьяный был, конечно, но не очень, и давай ему в ответ стих читать:

Тай нема краще, як на нашій Вкраїні,
Что нема жида, что нема пана
И унії не буде...

Он — ай, взй, а я — извините, разрешено цензурой, Тарас Григорьевич Шевченко, том такой-то, страница такая-то, разумеется, в дореволюционном издании. К тому ж, братцы, я как раз гонорар получил и в ресторане "Украина" закусил водку хорошим украинским борщом с чесночными пампушками. Повернулся я к жиду, который меня, украинца, имел наглость за своего принять, может, из-за запаха чесночного. Ну, говорю, украинец и чесноком не по-жидовски воняет. Повернулся к нему, ногу поднял и даже сам удивился, что сотворил. В страхе

бежал от меня жид, как от казацкого духа, страшного для него, некрещенного.

Смеялся Вася всегда с клокотанием и переливами, а способностью портить воздух был известен в широких кругах, помимо своего страстного ежеминутного антисемитизма. Газ из кишок исходил у него по-разному, отражая его внутреннее состояние. Иногда, как ясное короткое слово, иногда, как тихая протяжная жалоба, а иногда, как дикий вопль ужаса...

Андрей Копосов боялся Васю и душой, и телом, то есть душой испытывал к нему брезгливость, а телом спасался от гнева личности несчастной, которой незачем себя беречь, и оттого опасной для других. Когда во время религиозного спора Вася крикнул Андрею, высказавшему свое мнение, — "фашист!" — Андрей тотчас же ушел. Он знал, что недавно Вася ударил в религиозном споре о Христе старика Иловайского, эрудита-античника, кулаком в глаз. Но было и иное.

Однажды давно, еще до совместных споров о Христе, в первые дни знакомства, Вася пригласил Андрея к себе домой, куда-то на московскую индустриальную окраину, где он имел комнату в результате размена жилплощади с бывшей женой. У Андрея тогда еще не было своего Евангелия, и Вася обещал одолжить. Васю он застал в рубашке поверх брюк, измазанном краской, с кисточкой в руках. Что-то он подрисовывал в стоящей перед ним иконе, по виду старой. Он предложил Андрею сесть, налил плохого чаю и поставил черствые пряники. Вначале угостил бедно. Однако потом притащил хлеб и бидон пахучего топленого свиного смальца.

— Тетка из Воронежа прислала, — сказал он. Тратится на меня, она еще не знает, что я плохо кончу, — и улыбнулся.

Может, из-за того случая и решился сейчас Андрей позвонить также и Васе. Вдруг Андрею захотелось, чтоб в день, когда ему открылось то, что он хотел сберечь, и этот человек был с ним рядом.

— Знаю, знаю, — ответил Вася, к счастью трезвым голосом, — уверен, что это суетня, которую наши местные французы подняли, как поднимают у нас на щит Малевичей, Татлиных и прочих гонителей русского реализма. Но из любопытства приду.

Наскоро поев остывшую яичницу, запив бутылкой кефира, Андрей вышел в жаркий московский день. Он слышал, что публика на выставку валом валит, приходится долго стоять в очереди и потому вышел гораздо ранее условленного времени, думая, что на Новокузнецком метро будет битком. Однако на Новокузнецком было пусто и прохладно, возле ограды Третьяковки была, правда, небольшая очередь, но минут на двадцать, не более. "Что ж делать, — подумал Андрей, — пойду сам, а потом пойду вместе со всеми". Когда он так решил и направился к кассе, отстояв даже менее двадцати минут у ограды, вдруг кто-то его окликнул. Сомов, земляк, который тоже пришел пораньше.

— Это он, — улыбаясь сказал сатирик Сомов, глядя на Андрея, — я узнаю его, нет, не в блюдечках-кружках спасательных очков, здравствуй, некто, как я рад, что ты живой...

— Ребят еще нет, — поздоровавшись, сказал Андрей и радуясь, что первым пришел самый глупый, а не самый болезненно эмоциональный, как Савелий, и не самый злой, как Вася.

— Пойдем без них, — сказал Сомов, — я тебе кое-что показать хочу... Поэму сочинил, конечно, не для публикации. Называется: "Побочные явления инстинкта размножения". Или вот, — он задышал возле щеки, зашептал:

Поел салат и в самиздат,
Редактор — хват, давай, мол, брат.
А я в ответ ни "а", ни "бе",
Ни "а", ни "бе", ни "КГБ".
Редактор зол: куда пришел?
С таким ЧП иди в СП...

"Я ошибся, — подумал Андрей, — лучше б пришел Вася, если мне уж не суждено посмотреть одному. Тот хотя бы злобно молчал... Вообще, я ошибся... Надо было смотреть все-таки одному. Этот более других мешать будет".

Французский выходец из России произвел на Андрея впечатление, вопреки заранее внушенному самому себе разочарованию. Темпы двадцатого века отняли у людей одно из главных благодетелей жизни — терпение. Люди двадцатого века нетерпеливы и в поведении, и в понимании. Если сразу же не поняли, шагают вперед и дальше.

Выставка французского художника, выходца из России, была в двух глубинных залах, так что на пути к ней надо было пройти мимо множества картин и миновать множество лиц посетителей. Андрей был возбужден и крайне болтлив, но не вслух, а в себе, и ему нравилось такое состояние.

— Мне кажется, — говорил Андрей о французском художнике, — рисунки его, особенно позднего периода, ближе к литературе, чем к художничеству. Нечто меж литературой и художественным творчеством. Зрительское восприятие здесь лишь служебно. Как при чтении. Краски, фигуры — суть буквы некой азбуки. Их надо научиться читать — и проникнешь в происходящее, тогда как реалистический художник доступен даже безграмотному. Это не преимущество и не недостаток, это просто разное. Безграмотный смотрит картину Рембрандта или Ре-

пина, он видит деревья, людей, небо — то, что можно различить и на фотографии, в то же время он знает, что это очень знаменитый художник и гордится тем, что в этом художнике ему все предметы понятны и за это художнику благодарен. Иное, если этот безграмотный возьмет в руки Шекспира или даже грамотный возьмет в руки Шекспира на английском языке. Он его даже по складам прочесть не сможет. Вы заметили, что книга на непонятном языке внутренне раздражает. То же и с творчеством художника не реалистического направления. Он раздражает явно или тайно...

При виде абстрактных или сюрреалистических рисунков Сомов скучал, но в иных, немодных русских залах он проявил интерес подлинный и лицо его приобрело тот мучительно тупой оттенок, когда человек, умственно слабосильный, хочет понять непомерное. Впрочем, в ранних залах чувствовал он себя более вольно. Ранний зал — портреты. Эпоха Екатерины. Лица в париках, но снимии парики, и обладатели их сядут в кресла директоров, начальников жилстроев, замминистров, развратных дам из главков, жен членов высших инстанций. Усядутся в "Волги", а графа Орлова вполне можно в трамвай или в метро. Екатерину Вторую — на дачу, в сарафане варенье варить. Вот кто строил Вавилонскую башню, передав ее надежным наследникам. Далее огромная картина Иванова "Явление Христа народу". Перед этой картиной всегда множество музейной публики, главным образом, провинциальной. Те, кто спешат на француза, перед ней не задерживаются, или задерживаются не надолго. Однако Андрей постоял вдоволь, разглядывая картину и публику. Сомов сопел рядом, и на лице его царило то творческое напряжение, которое является на лице человека, сидящего в туалете. Впрочем, такие

лица можно и в церкви встретить. Вот неподалеку видит Андрей женщину, шавочку лет около сорока, может и моложе, но постаревшую от частых родов и недоносков. Лицо не крестьянское и не городское. Мелкое. Среднее. Щеки красные, вернее, с нездоровой краснотой, нос мал и кверху. Не женственна, груди отвисли. Такие набожны. И эта набожна. Такие верят слухам и правительству, если правительство свое, русское. Рядом с ней мальчик девяти-десяти лет, круглолицый с тяжелым подбородком, вид плохого ученика провинциальной школы или пригорода. Но не озорник, слушает, судя по поведению, мать. Задает вопросы. Спрашивает о картине:

— Это что, мама?

— Это Христос, — тихо отвечает она, — он хотел, чтоб всем людям было хорошо, за это его евреи убили.

Мальчик понимающе кивает, отходит к другим картинам. Рядом с женщиной вертятся какие-то длинные нескладные русские девахи, то ли дочери, то ли вместе в Третьяковку из "глубинки". Приехали к родичам или за продуктами. Список у них: посетить Кремль, мавзолей Ленина, Третьяковскую галерею, Гум, Цум, Детский мир. Продовольственные магазины, разумеется, в первую очередь и вне конкурса. Женщина смотрит на "Явление Христа", Андрей смотрит на нее, думает: "Вот он русский верующий. В компаниях с религиозными спорами сейчас много говорят о том, что атеизм проиграл, и начинается религиозное возрождение. Хорошо, допустим, атеизм проиграл, но выиграла ли от этого в России религия? Ничему не научившись, возрождается она с прежним юродством вместо чувства, с тяжелоголовыми спорами о Христе и с простонародьем, которое о Христе не спорит, но ждет от него того же, что и от грузина Сталина, от турка

Разина или иного русского атамана. И если суждено России в будущем попытаться спастись через национально-народное сознание, то не материалистическим и атеистическим оно будет. Национально-религиозную будет носить личину русский фашизм-спаситель. Во-первых, то, что именовалось "атеизм", действительно в России себя скомпрометировало, надоело, потеряло новизну. Во-вторых, в национальном оно не проявило должной гибкости, оказалось неповоротливым, в то время, как православие неоднократно доказывало в прошлом свою способность открыто возвеличивать национальную силу, а ныне для молодежи оно еще и новизной привлекательно".

Но вот иной вовсе зал. Картины Кипренского "Пушкин" и Перова "Лермонтов" не производят впечатления более, чем репродукции этих картин, виденных в журнале "Огонек". Тут же Толстой и Достоевский. Толстой пуст во взоре, но это у него естественно, по-буддистски, ибо усилившаяся среди гуманистов девятнадцатого века страсть достичь совершенства наиболее кратким путем неизбежно вела к духовному поэтическому схематизму, которым характерен буддизм. На противоположной стене висит картина Перова "Странник". Перов писал Достоевского в 72-м году, а "Странника" — в 70-м. Удивительно похожи. Особенно взгляд. У Достоевского, как и у "Странника", напряженное углубление и погружение во взгляде и в фигуре. Как будто сосредоточен взгляд на самых глубинах творения Божия, а на самом деле, если приглядеться, — на старых лаптях да непогашенных долгах. Но это эклектично соединено с глобальными великими думами. Достоевский недаром так возносил "Странника" в святого. Странник, особенно русский странник, эклектик до мозга костей, механически легко

соединяет свои насущные нужды с нуждами мира. Мечтает, чтоб сбылось все, как он выстроил. У "Странника" Перова за спиной зонтик, у пояса кружка. Достоевский ухватил руками колено. Оба сосредоточились, задумались об одном и том же.

Но вот француз, эмигрант из России. Андрею кажется, что ошибка, вынужденная ошибка — смотреть француза в натуре, на стене музея. Его нужно листать в альбоме, как книгу. Репродукция от оригинала почти ничего не теряет, так же, как почти ничего не теряет отпечатанный в типографии Толстой рядом с рукописью. Зато можно сосредоточиться. Здесь же сосредоточиться невозможно, ибо толпой допустимо разглядывать картины или массой слушать музыку, но массовое чтение невозможно. "Глубинки" мало. Заносит ее изредка. Много евреев, та, в основном, публика, из которой формируется современный выкrest, церковный или гражданский.

Дореволюционный выкrest в значительной степени был купец, торговец или инженер, доктор, человек с расчетом, ничего не имеющий против Моисея, если тот обеспечивал ему прибыль. Ныне выкrest это интеллигент, философ, мистик, Моисеем он сознательно недоволен. "Сплошные запреты: нельзя, нельзя, нельзя. А у Христа: можно, можно, можно". Но из Моисея знает в основном "око за око". Из Христа: "возлюби врага своего"... Евреи явно москвичи, другие залы видели много раз и в них не задерживаются, впрочем, как и иная подобная публика. Состав зала, где вывешен француз, довольно постоянен, тогда как другие залы меняются, тасуются. Скучно. Оживление вносит "глубинка".

— А это что? — спрашивает какой-то из глубинки. — Почему человек на щеке?

— А это художнику так захотелось, — отвечает некая с большим носом, блестя глазами и таинственно усмехаясь.

”Вряд ли, — думает Андрей, — реалистическую живопись гораздо труднее объяснить, там больше тайны. Здесь же все расставлено, как фразы в хорошо отредактированной рукописи. Ничего лишнего”.

Некий экстремист из глубинки, сухощавый и русоволосый, пожилой умышленно говорит вслух сыну.

— Пойдем, после Репина и других хороших картин это смотреть нельзя.

На него не реагируют. Ссоры нет, и он уходит. А хотелось ему как в очереди поговорить, защитить матушку-Русь...

Далее зал Врубеля. Общеизвестный ”Демон” 1890 года кажется слабее ”Демона” распростертого, телесного, лежащего в страстной позе насилия, но одного, без женщины... Черное, синее, сиреневое... Далее мученик-Фальк... Кончаловский — портрет Якулова. Сидящий по-восточному веселый человек с шутовскими усиками, при галстукке, кажется частью орнамента вместе с висящими на стене ятаганами... Все, как ковер, и все равноправно, и человек, и ятаган... В творчестве Фалька ощущение слабости. Краски его стыдливы, тогда как талант Кончаловского расположился по-хозяйски. Дело не в административном распределении мест. Это внутреннее чувство — стыдливости и слабости у Фалька, силы и сочной цепкости у Кончаловского. Это стыд и слабость, которые необходимы ночью за закрытыми дверями, и сила и цепкость, которые необходимы днем в толпе себе подобных... Слабость переходит в легкость, воздушность не по плоти, а по сути и несет к небу, сила и цепкость корнями опутывают землю. Силе и цепкости неуютно на небе, слабости и

стыду неуютно на земле... Далее натюрморты... Российский хлеб, мясо... Здесь же вытасненный из запасников француз в бытность свою молодым русским евреем... Вот "Медовый месяц". Он и она длинными туманными туловищами-радугами встают из-за горизонта... Небо в цветах, земля в белорусской грязи. И козлиные еврейские лица влюбленных... Самый грустный зал. Все красочно, все молодо, и слезы набегают на глаза. Но не всем. Сомову, земляку, здесь просто нравится. Он ходит не скучный, как перед абстрактно-сюрреалистическими рисунками, и не сосредоточенно-тупой, как перед реализмом. Ему интересно, как на гулянке... Абстракция и реализм — искусство самоутверждения, но импрессионизм — искусство жертвенное... Художник здесь гладиатор, который умирает, чтоб восхитить толпу. Не абстракция и реализм, а импрессионизм более всего способен приобщить к искусству души незрелые, грубые, если бы он хоть когда-либо официально господствовал... Но человеку с чувством здесь тяжело, как на дорогом кладбище. Прочь отсюда, в социалистический реализм, успокаивающий душу прочностью мелочей, к навек застывшей повседневной ясности... Если среди абстракции Сомов скучен, среди реализма прошлого сосредоточенно туп, среди импрессионизма праздничен, то здесь, в залах социалистического реализма, он чувствует себя как в троллейбусе. Здесь все узнаваемо, здесь все привычно, здесь он ведет, уходит вперед и теряется где-то в залах народных художников — академиков. А Андрей выходит во двор, к скульптуре Вучетича "Перекуем мечи на орала".

На скамейке рядом с кафе, из которого без всякого благоговения перед святым местом доносятся обычные запахи общепита, на скамейке сидит Савелий и какая-то молодая женщина, которая, как сра-

зу понял Андрей, часто снится Савелию ночью, причем в разных видах. Да, Савелий по-прежнему пребывал в том состоянии, когда даже вареная курица, целиком уложенная на блюдо с растопыренными ляжками-булдыжками, вызывала в нем не аппетит, а сексуальную жажду... У женщины было лицо простонародное, но не круглое, общероссийское, с татарщиной, а лицо русского севера, вольного от азиатчины... Особенно глаза ее были необычны. Русский светлый глаз обычно жидок, а здесь была голубизна густая, отдающая в темноту.

И когда посмотрел на нее Андрей, человек замкнутый, мигом проснулось в нем от сестры его Таси, полюбившей Антихриста третьей любовью, не плотской, не платонической, и от матери его Веры, самозабвенной любовницы Антихриста. И обрадовался этому Андрей, ибо пронеся через залы Третьяковки утренние свои библейские понятия неповрежденными, он это знал, ныне вспыхнувшим вдруг для него, человека замкнутого, чувством, еще более душой укрепился.

— Что же ты, — сказал Савелию Андрей.

— Опоздали, — сказал Савелий, — виноват.

Очевидно, они пришли гораздо позже условленного срока, не зная, что Андрей пришел гораздо раньше и не стал их дожидаться.

— Пришел Иловайский, — сказал Савелий, — заболтались о Христе... Виноват...

— Кто виноват, тому виват, — выкрикнул появившийся Сомов, — кто виноват, тому виват, а тем, кто не виновен — здрастье!

Сквозь залы социалистического реализма Сомов прошел как сквозь душевую, где смысл с себя скуку от абстракционизма и тупую сосредоточенность от классического реализма, праздничность от импрессионизма, и явился он на улицу как и вошел, ничем

не изменившийся и готовый к дальнейшей жизни в современной действительности. Залы социалистического реализма были словно баня, смывающая с человека ненужные наслоения искусства прошлого либо чуждого действительности, находящейся за стенами галереи.

— Это Руфина, — сказал Савелий, — соседка моя, а это Андрей Копосов, мой сокурсник.

Так свел их случай, тот, который в действительности есть Божий помысел. В первых же общих разговорах признали они друг в друге земляков. Признали, что дружила когда-то в детстве Руфина с сестрой Андрея, Устей, и была знакома с другой сестрой, Тасей, и с матерью Андрея, Верой. Сомов тоже сообщил, что он земляк из города Бор, отец его — рабочий газифицированной котельной центральной борской больницы, а мать — бухгалтер, но уже на пенсии. И что по этому случаю надо выпить.

Так, чему надлежало — свершилось. Однако чего-то еще не хватало. Васи не было, Коробкова. Сильно запаздывал он. А как появился, сразу все оформилось. Увидела его пророчица Пелагея еще издали и поняла — вот оно дурное семя Антихриста, которое надлежит извести, как извела Фамарь дурное семя Иуды — сыновей его Ира и Онана...

Подходит Вася вплотную, выпивший, и говорит:

— Запоздал я, виноват!

А Сомов повторяет:

— Кто виноват, тому виват, а тем, кто не виновен — здрасьте!

Но не понравился этот стих Васе, как не понравился в свое время стих Сомова Павлову, инвалиду войны из города Бор. Тогда в саду возле танцплощадки Павлов Сомова ударил. Теперь в Москве, во дворе Третьяковки, Коробков Сомова саданул... Ну, Третьяковка место хорошо охраняемое, мили-

цией богато. Потому побежали всей группой подальше от выставки известного французского художника, а когда собрались вновь неподалеку, в скверике, Сомова среди них не было, обиделся... Пророчица Пелагея говорит Васе:

— Вы чего деретесь?

А Вася, который всегда был весел после того, как безнаказанно ударит кого-либо, ничего не отвечает, а смотрит на пророчицу Пелагею и замечает в свою очередь ее внимательный взгляд на себе.

— Вы на меня чего так смотрите, — говорит тогда Вася, — или узнали?

— Узнала, — говорит пророчица Пелагея, известная под именем Руфина, — сильно вы на отца моего похожи... Удивительно похожи...

— А ваш отец случайно не еврей? — с сарказмом спрашивает Вася, — Сруль Самуилович?

— Еврей, — отвечает пророчица Пелагея, — но зовут его Дан Яковлевич... Вы ошиблись...

— Извините, — сатирически говорит Вася, — пробачте, помылввся, як кажуть на Країни... Господь помылввся и в Къив явився и дуже при цьому страждав... Вы таке чулы?

— А вы приходите, — говорит пророчица Пелагея, — убедитесь, как на моего отца похожи... Чайку выпьем...

И опять глянула. Второй взгляд ее уже был смертелен, было в нем уже много от Фамари, убившей дурное семя Иуды, сыновей его первенцев Ира и Онана...

Исказился лицом Вася из племени Данова и говорит, повторяя судьбу Хулила от Суламифи из племени Данова:

— Плевал я на вашу жидовскую лавочку и на вашего жидовского Бога...

Тогда сказала пророчица Пелагея в себе: "Да свершится. Хулитель имени Господнего должен умереть. Пришелец ли, туземец ли станет хулить имя Господне, предан будет смерти".

Так говорила она в себе, глядя вслед удаляющемуся Васе. Андрей и Савелий, которые оба боялись Васю за его решительность в дурном, говорят:

— Хорошо, что ушел, — это Андрей.

А Савелий добавил:

— Я теперь лишь сообразил, что Вася на отца Руфины похож.

Андрей говорит:

— Я виноват, пригласил по глупости.

— Неудачно день начался, — говорит Савелий, — но может удачно окончиться... У меня сейчас Иловайский дома... На дачу к друзьям своим приглашает. Дача эта какому-то хирургу принадлежит, который когда-то вместе с Иловайским в духовной семинарии учился. Хирурга Всесвятский фамилия.

— Опасно это, — говорит Андрей, — они о Христе говорить будут, тяжело мне такое ныне слышать.

— Ничего, — усмехается Савелий, — эти старики по-другому говорят о Христе... Смешно и весело говорят... И Иловайский с ними весело о Христе говорит... Пойдем... Ты да я, да Руфина, да мать моя с Иловайским.

— Пойдем, — соглашается Руфина-Пелагея.

Тогда сразу же и Андрей согласился. Ибо он уже начал ценить каждую минуту рядом с этой голубоглазой женщиной. Пока ездил Савелий домой за матерью, более часа провел Андрей с Руфиной наедине в окружении, разумеется, случайной публики: сперва прохожих, потом пассажиров троллейбуса, а потом вокзального народа на Савеловском вокзале. Говорили о городе Бор Горьковской области, отку-

да пророчица Пелагея хоть и уехала девочкой, но многое помнила.

— Что же Устя? — спрашивает Пелагея.

— У сестры Усти двое детей малых, — говорит Андрей, — а у сестры Таси — тезка мой Андрей и брат его Варфоломей. Андрей в армии, Варфоломей шофером работает.

— А Вера как, мать твоя? — спрашивает пророчица Пелагея.

— Мама у меня хорошая, — говорит Андрей, — но слабовольная. Все на нее кричат, у всех она в подчинении, и у дочерей, и у внуков, и старуха Веселова ее третирует, мать Тасинога мужа. Бойтся мать всего, и даже когда молится, лицо у нее испуганное, точно и Бог на нее покрикивает...

Так поговорили и говорить вроде более не о чем, а времени, к счастью, еще много для совместного общения, и понравилось им сидеть друг с другом молча, как иногда пророчица Пелагея с отцом своим сидела, Антихристом. Удивилась этому Пелагея, ибо не знала она еще, что Андрей Копосов тоже есть семя Антихристово, как и Вася Коробков, однако семя здоровое, хоть и не основное.

Плодоносен пристальный взгляд, когда предмет не подавляет личность того, кто смотрит, как это случается в буддизме... Во взгляде буддиста холодный эпос — от слияния с природой, то, что все более завладело в упадке и христианством, однако лиричен пристальный библейский взгляд. Мудрость закона — уста Божьи, но плоть Божья — это высокая лирика. Глянула пророчица Пелагея на Андрея Копосова среди вокзальной сутолоки и узнала его. И поняла, что жизнь его сложится лирично. Ибо когда жизнь складывается лирично, неважно из какого материала, часто даже из самого низменного, злодейского, то Господь всегда бывает рядом с подобной

судьбой. Долгую жизнь проживет этот человек, и будет эта жизнь напряженной и опасной, однако будет эта жизнь духовного труженника, и не будет в этой жизни наказания Божьего, а лишь наказание людское, душе нестрашное...

Когда поняла все это пророчица Пелагея об Андрее Копосове, не о чем ей стало более с ним молчать, и тотчас появились Савелий, мать его Клавдия, молодящаяся старуха с накрашенными губами и старик Иловайский, знаток античности. Старик Иловайский был неприятен тем, что при встрече нечистыми старческими губами своими, неухоженным запущенным лицом одинокого неряхи лез целоваться в губы, и проблема состояла в том, чтоб уклониться от поцелуя в губы, подставить щеку или вообще заставить Иловайского как бы невзначай, неловко повернув голову, поцеловать воздух, но при этом не обидеть старика. Пророчица Пелагея совершила это легко и умно, однако Андрей попался и ощутил на губах своих мертвую старческую плоть. К тому же мать Савелия, Клавдия, которая Иловайскому во всем теперь подражала, тоже поцеловала, ткнула напомаженным ртом. Савелий суетился.

— Скоро электричка, — и побежал за билетами.

— Иволгин сынок у меня, истинный Иволгин, — сказала Клавдия, — вижу, как он суетится, вспоминаю отца его, покойного, паникера, — и она по обыкновению всплакнула.

Погода испортилась внезапно. Летом в Москве это случается чаще, чем зимой. Вдруг среди безоблачного почти неба громыхнуло раз, другой, когда садились в электричку, уже было ветренно, прохладно, а минут через десять езды окна залило дождем. Разговоры меж собой в электричке вели главным образом люди подмосковные, городские же, уставшие от Москвы, крайне назойливой, когда она по-

стоянно перед глазами, старались глядеть в окна поезда на дачную местность. Исключение составлял Иловайский, который говорил, рассказывал и не давал покоя.

— Вы, молодежь, — говорил Иловайский, — не слышали, конечно, и не читали писания священника Петрова... Христианствующий философ, — Иловайский хихикнул, — любовь как основа жизни общества... Отвергал частную собственность и экономическое неравенство, доказывал, что частная собственность иудейское, а не христианское творение... Семинаристы под его влиянием решили идти в народ с новым Евангелием... Упущено, упущено из истории революции религиозное народничество... Но Петров был отлучен... Да, глупость его была встречена репрессиями, как обычно в России...

— Тише, Гавриил, — сказала Клавдия Иловайскому.

— А что я такое говорю? — вызывающе удивился Иловайский. — Я наоборот, антиправительственные глупости высмеиваю.

— Не произноси слова "антиправительственный", — шепотом сказала Клавдия.

— Ох и еврейская же у тебя стала душа от первого твоего брака с Кацем, — сказал Иловайский.

Меж Иловайским и Клавдией началось неожиданное препирательство, свидетельствующее о близости их отношений.

— Я сейчас вернусь, — шепотом сказала Клавдия на первой же остановке, — это бестактно, при Савелии... И при Руфине...

— А что, — говорил Иловайский, — Руфина знает, что я не антисемит и уважаю ее отца, ведь верно?

— Верно, — согласилась пророчица Пелагея.

Но Савелий действительно побледнел, и неизвестно, что бы произошло, если бы не приехали. При-

езду и смене обстановки обрадовались все, в том числе и импульсивный старик Иловайский, понявший, что хватил через край. Он знал за собой подобный грешок, однако не мог отказать себе в удовольствии позлословить, если был убежден, что его за это обругают, но не ударят, как Вася Коробков.

Мокрое дачное Подмосковье встретило городской народ угрозой, какая исходила от чужих заборов, собачьего лая, отсутствия поблизости милицеских перекрестков и нескольких опасных фигур у пивного ларька. Однако когда нашли дачу хирурга Всесвятского, друга Иловайского, и вошли во двор, отбиваясь от грязных лап большой ласковой собаки, сразу веселей стало. Когда же увидели на террасе стол с тарелкой яблок, сорванных с черенками и кое-где с листьями, из местного дачного сада, и тарелку свежей малины, также оттуда, вся подмосковная прелесть разом заслонила первое неприятное впечатление.

За столом, кроме хозяина хирурга Всесвятского, розовощекого, следящего за собой старика, сидела жена его Варвара Давыдовна и еще один старый сверстник, тоже знающий Иловайского и сказавший при знакомстве:

— Белогрудов... Фамилия былинная, но скорей в женском, девичьем роде, — что сразу определило в говорящем шутника. Указал Белогрудов и профессию свою — преподаватель литературы.

Иловайский принялся тут же целовать всех троих, вначале хирурга, потом жену его, потом преподавателя, потом опять хирурга. Домработница внесла самовар, а Варвара Давыдовна пыльную бутылку вишневки. "Сейчас заговорит о Христе", — с тревогой подумал Андрей. Но пока не выпили вишневки, не заговорили, а когда выпили, заговорили сладостно, как обычно вспоминают старики о дале-

ком, молодом, мечтая о прошедшем, как о несбывшемся.

— Помните, — говорят они, — помните, — и глаза их сладостно жмурятся, словно видят приятные сердцу сны, после которых просыпаются с сожалением.

— Помните, гомилетика, — сладостно жмурясь говорил Белогрудов, преподаватель литературы, — гомилетика — теория церковного ораторского искусства...

— Литургика — церковный устав, — подхватил сладостно Иловайский.

— В церкви и устав есть? — удивленно, как гусыня, глядела Клавдия, — Гаврюша, неужели есть устав, — она тоже выпила наливки и кокетничала.

От злой и потому производившей умное впечатление, внутренне собранной, церемонной, хорошо обеспеченной жены искусствоведа Иволгина, некогда железной рукой изгнавшей вон детей репрессированной сестры, не осталось и следа. Клавдия ныне злилась и нервничала, как это делают легковесные глупые женщины, быстро все прощала, удовлетворялась самым малым. Савелию, сыну своему, она была давно уж не опасна, давно уж не строгая мать, пресекавшая его юношеский грех, и он относился к ней требовательно, как воспитатель, соперничая за ее слабую душу с Иловайским, однако не затем, чтоб эту душу беречь, а затем, чтоб через нее доказать свое мужчине-конкуренту.

— Церковный устав, — наставительно сказал Иловайский, — изучение порядка совершения всякой церковной службы.

— А Евангельские тексты, на которые дома писали проповедь, — вел свое Белогрудов, — изучение Иоанна-Златоуста, помнишь, Гаврюша? Помнишь, Сенечка? — обернулся он к хирургу.

— Как же, — сказал хирург Всесвятский, — практику проходили по приходским церквям. Но более всего любил я богословие и медицину... Это в старших классах изучали...

— А как же католики доказывают, — сказал уже сильно захмелевший Иловайский, — м-да... Католическая мысль — это Европа со всеми своими слабостями... Но братья и сестры, в понятии Троицы... — он попытался встать, однако Клавдия, обняв его за плечи, усадила, — в понятии Троицы... У нас Святой Дух исходит только от Отца, у Европы также и от Сына... Католическая мысль свободна... Мы же порабощены еврейством, моисеевым. Смешно, мы, русские — и моисеево...

”Сейчас начнется”, — с тревогой подумал Андрей. Если б не Руфина, сидевшая рядом с ним, то он бы сильно затосковал, но его любовь к Руфине созрела быстро, а красивую тридцатилетнюю женщину юноша, которому не многим за двадцать, любит послушно, покорно, без мужского насилия в чувстве и стараясь ей подражать в манерах. Руфина же сидела спокойно и смотрела на пьяных стариков-семинаристов.

— Кант отождествлял религию с нравственностью, — словно с кафедры или амвона торжественно говорил Белогрудов, — для Гегеля религия это начальная стадия философии, которая возникла у дикого человека как потребность в мысли и знании. У Фейербаха религия — самообольщение человека, преклоняющегося перед самим собой... Богоподобие духа человеческого... — Вдруг он перескочил в изложении и заявил, — в семинарии запрещались Тургенев, Гончаров, Толстой, Белинский, Добролюбов, Писарев, Чернышевский, Гончаров... Впрочем, Гончарова я назвал два раза...

— Вот чаша, — сказал Иловайский, облапив ревматическими пальцами красивую, с золотым ободком сервизную чашку с чаем, — она проста...

— Мама, — сказал Савелий, — отними у Иловайского чашку, иначе он разобьет чужую вещь...

— У вас, молодой человек, Эдипов комплекс, — повернул лохматую седую голову русского интеллигента-хулигана Иловайский.

— Если б не ваша немощь, я бы ударил вас, — блеснув слезами юношеского негодования, сказал Савелий, но увидев испуганное, страдающее лицо матери, удовлетворился этим и успокоился.

— Полноте, — растерянно, наперебой заговорили хозяева Всесвятские, — выпили, и как дети.

— Ничего, я уже спокоен, — сказал Савелий, — я погуляю в саду.

— Сад у нас хороший, давайте я провожу вас, — сказала Варвара Давыдовна, и они ушли.

— Вот оно, моисеево, — сказал Иловайский, когда Савелий ушел, — заносчивое...

— Именно, — добавил Белогрудов, — помните, революция... В семинарии митинг... Входит в класс ветхозаветник, а мы ему: Библия это догмат... Почему, спрашивается, мы, русские должны изучать историю еврейского народа, отчего-то Богом избранного, изучать всю подробность этой истории. Историю евреев изучать основательнее, чем историю нашей родины. Я об этом случае русского патриотизма в семинарии в 1952 году в антирелигиозный журнал написал, но не пропустили...

— В 1952 году, — сказал Всесвятский, — случилась история, которую я часто вспоминаю... В лагерьной больнице у нас умершего арестанта вскрывали... Вскрывал главный врач, а все врачи-арестанты, находившиеся в лагере, при этом присутствовали. Труп это был человека пожилого, и на груди его

был большой медный крест. Крест со шнурком передали в канцелярию лагеря, а главный врач лагеря, майор Баранов, воспользовавшись случаем, спрашивал всех заключенных врачей: веришь ли ты в Бога? Все ответили: да, верю. Один только ответил: верю, но в философском смысле. Это один черт, — сказал Баранов... Я думаю, — добавил Всевяцкий, если бы они были на свободе, то не говорили бы так смело: верую... А там, с приговором в 10—15 лет терять им было нечего.

— Вот чаша, — снова облапил чашку Иловайский, — она проста, но ударь ее об пол, разбей, и она станет сложной... Помните, Моисеева Чаша... Моисей — фигура явно преувеличенная, — он гнул свое, — я античник. Уж извините, меня не проведешь. Моисею книжник Ездра величие придал в поздний период... Это доказано... У пророков периода Судей или Царств Моисей не упоминается, и вообще великие пророки его не упоминают, кроме Иеремии... Да и то так, мимоходом. Культ Моисея возник в поздний период при Неемии и Ездры... Ездра и написал Моисеево Пятикнижье и искусственно придал ему древний характер.

— Ну что ж с того, — не выдержал Андрей Копосов, побледнев и волнуясь, — что с того... Вы, извините, неточно термин употребляете. Не "написал", а "записал". Я читал философский трактат, пытающийся унижить Пятикнижье, утверждая его позднее происхождение... Зачем же ломиться в открытую дверь? И патриархи не летопись. Там, например, упоминается, что Авраам пришел в область Дана, тогда как Дан появился на свет в четвертом после Авраама поколении, а область Дана появилась после выхода из Египта, то есть спустя еще много веков после патриархов. Ездра укрепил фигуру Моисея в момент исторического подobia, когда выходил из

Вавилонского угнетения, повторив выход из Египетского угнетения. Это пример гениального подражания, которое в творчестве выше всего ставил Пушкин... Подражание великим образцам требует гораздо больше таланта, чем новаторство... Низшая стадия творчества есть эпигонство, затем новаторство, а затем — подражание великим образцам... Это классицизм... Величие Библии в подражании, в повторении Божьего... Может быть, гениальный подражатель Ездра по древним устным преданиям записал поэму в Пятикнижье Моисея и поставил ее во главе, на подобающее ей место, ибо правда поэзии выше правды истории... Я это не вычитал... Я это сам понял, а уж потом у Аристотеля вычитал и обрадовался, что подтвердилось. У Аристотеля сказано, что историка Геродота можно было бы переложить в стихи, и тем не менее они были бы историей, а не поэзией. Различие в том, что историк говорит о действительно случившемся, тогда как поэт — о том, что могло бы случиться. Поэтому поэзия философичней и серьезней истории. Поэзия говорит об общем, история — о единичном. Общее состоит в том, что следует делать и к чему стремиться, тогда как историческое частное говорит о том, что произошло и случилось... И библейское сотворение мира, вокруг которого тупоголовые попы спорят с научно-философскими краснобаями, есть поэма, не поддающаяся научному историческому анализу...

Так высказавшись, многословно и до болезни горла, Андрей тотчас понял, что хотел сказать то, в чем был убежден и во что верил без труда, но Иловайский возразит ему более умно и неопровержимо, согласно способности русских спорщиков говорить умней смысла своего. Но тут молчаливая домработница внесла подогретый самовар, к тому ж

вмешался шутник Белоградов, красный от домашней наливки.

— Молодежь, — сказал он весело, — чадо... Помните, — он засмеялся, — рцы мне, чадо, не растли ли детства своего млакадою, не малакствуешь ли...

— Рцы мне, чадо, — тут же подхватил всклокоченный интеллигент-хулиган Иловайский, — не мужеложествовал ли еси кого или ни тебя, не сблудил ли еси со женою...

— Ну тебя, Гавриил, — глупо заморгав, покраснев, сказала Клавдия, — говоришь такое при молодежи...

— Не попался ли со скотом или птицею, — совсем расшалился Иловайский.

— Обрезание Христа иже на осьмой день плоти, — балованно говорил и старик Белоградов, — на осьмой день обрезатися изволив, нашего рода ради спасения.

— А помните пожар в церкви, — сказал весело Всесвятский, — на хорах загорелся ящик со свечными огарками... Духовник бегаёт с крестом, кричит: тушите, тушите... Потом пол загорелся...

— А мы в кустах, — смеялся Белоградов, — кто "дерьмо" кричит, кто "лови", кто "дурак"...

— А молитва на основание дома, — смеялся Иловайский, — на копание кладезя... Иже благословите яйца и сыр... Молитва о приносящих початки овощей...

И совсем плохо стало за столом, весело по-монастырски, но молчала пророчица Пелагея, ибо знала, как трудно русскому человеку верить в Бога... Если б предложили ему что-либо путное в безверии, в атеизме, счастлив бы он был... Поначалу казалось, нашлась замена, и счастлив он был, но не долго... Еще быстрее минуло... И опять возвращается, а куда? Может ли русский верить при таких просторах и такой истории? В Бога — нет, так хотя бы "в

распятого за мы при Понтийском Пилате". Есть у пророка Исаяи слова, что не всегда следует искать Бога, но лишь когда Он близок. Близок же Он бывает молодой нерелигиозной нации, когда устанет она от шумного, веселого, свободного безделья. Молодой нации ближе всего Он в горе, в радости Он далек. Нация взрослая соблазняется в угнетении, как соблазнились и лишились Отца в Египетском угнетении евреи, но в радости — расцвет Божьего... Велик библейский плач, плач пророков, плач Иеремии, но ближе человек к Богу в хвалении. Недаром Псалтырь именуется в еврейском первоисточнике Книга Хвалений... Сумеет ли русский полней всего ощутить Бога не в горе, а в радости, повзрослеет ли русская вера? Или ничему не научившись, вернется на круги свои?.. Русский атеизм проиграл, но выиграла ли от этого русская вера...

Вот устали веселиться три хохотуна-старика, бывших семинариста, от усталости поблекли их лица, и вместе с усталостью проступила на них набожность. Уж по иному о молитве говорят.

— А молитву с тремя земными поклонами помните? — говорит Иловайский. — Господи, владыко живота моего, дух праздности, любоначалия и празднословия не даждь ми, дух же целомудрия, священномудрия, терпения и любви даруй мне, рабу твоему... Ей-Господи, Царю, даруй ми запреты твои погрешениям и не осуждати брата моего вовека-веков, аминь.

— А какое пение было в семинарии, — тихо уже, мечтательно сказал Белогрудов, — хор архиерейский... Регент, — и он запел неожиданно молодым голосом: — Верую, Отче наш...

Два других старика подхватили, ладно выходило. Варвара Давыдовна, войдя из сада с тарелкой мокрых яблок, сказала было:

— Вы, свечкодуи, потише, хватит молебен служить, — потом присела с глупой ласковой улыбкой, какая была и на лице Клавдии, утирая глаза.

И все старики, до того кощунствовавшие, пели с чувством, даже философ-античник Иловайский, пьяно сморкаясь, сказал:

— А при семинаристской церкви два хора было со своими регентами... Помните Кольку-регента, который на жене богатого попа женился... Попадья на рояле играла, а Колька на скрипке...

Пророчица Пелагея осторожно, чтоб не нарушить пришедшее наконец, с трудом, к старикам блаженное состояние души, встала из-за стола и вышла во двор, а оттуда по выложенной кирпичом дорожке пошла в сад. Андрей, увлеченный стариковским пением молитв и псалмов, не заметил ухода Руфины, когда же опомнился, огляделся, не нашел Руфины рядом, вдруг точно во сне испытал он безвозвратный страх от потери, ибо впервые за последние три часа ее не было с ним рядом. Вскочив торопливо, обратив на себя внимание, так что старики даже прервали пение, он сбежал по ступенькам террасы и огляделся, не зная, куда идти. Вдруг кто-то кинулся на него сзади, толкнул в спину, и он от испуга нехорошо крикнул.

— Что с вами? — появилась на ступеньке с фонарем, ибо уже было темно, встревоженная Варвара Давыдовна.

Высунулся и всклокоченный Иловайский опять с лукавым злопыхательским, безбожным лицом.

— Молодежь, у них свои дела... Ревность... Ревнует к Савелию...

— Его собака напугала, — сказала Варвара Давыдовна, — она не кусается, молодой человек.

— Где тут дорога на станцию? — сказал Андрей, страдая от внезапности происшедшей с ним переме-

ны, ибо только что он так уверен был в себе перед этими людьми и уверенными словами защитил близкое ему, так взросел был и вот, крикнув от глупой неожиданности, выдал свои душевные мучения, которые в глазах этих стариков выглядят по-детски, отчего и слова его, сказанные в споре, глупо продуманные, стали теперь детскими...

— Да вы подождите, — показала и Клавдия, — может, все вместе скоро поедем... Или с Савелием поедете... Савелий! — позвала она. — Да где же он? Наверное, с Руфиной гуляет.

— Нет, я пойду, — торопливо сказал Андрей, чувствуя на себе насмешливый, безбожный взгляд Иловайского, — мне пора...

Он вышел из калитки и пошел наугад по мокрой траве, когда же оглянулся, то даже если б хотел вернуться, не знал бы куда. Все дачные дома проступали в темноте одинаково. Отойдя как можно дальше, он уселся на большой камень, который нередко торчит из земли или валяется неизвестно для чего при дороге в загородной местности, и задумался почему-то не о любви своей к Руфине, которая была сильна, хоть длилась не более трех часов, и которая уже успела причинить ему такое страдание и такой глупый публичный стыд. А задумался он о начальном пребывании своем в Москве, когда все, что теперь было напряженным, выглядело празднично и приятно.

Попав в столицу, он обнаружил у многих им в ту пору уважаемых людей национально-религиозное русское чувство, и именно это национально-религиозное русское чувство было первой ступенькой приобщения его к духовному. Можно по-разному относиться к происходящему ныне, однако следует признать, что обновление молодежи началось с ширпотребовских распятий, которые делались из того же

материала, что и кошечки-копилки с дыркой для монет в голове. Он тоже очень мечтал достать себе такое распятие, как когда-то мечтал достать себе финский нож, который видел у сильных мира сего. Поскольку и раньше все достойное подражания было русским и русским все венчалось и награждалось, эти русские распятия помогли отрешиться от прошлого и многое изменить, ничего по сути не меняя. Он начал читать Евангелие, которое на время одолжил ему Вася Коробков, и в Евангелии тоже все было русским, отрицающим все нерусское, а самым предельно нерусским было, конечно, еврейское, Моисеево... Моисеево было злым, Христово — добрым... Множество интеллигентных дам, некоторые даже из евреек, приобщившихся к обновленно русскому, еще более усилили влюбленность в русского Христа... Этот радостный свадебный, медовый для Андрея месяц приобщения к русскому христианству был разрушен не духовными сомнениями, для которых он был тогда еще слишком неразвит, а на первый взгляд явлениями мелкими, бытовыми — дурным характером столичных христиан. И не только дурным, но и узнаваемым, привычным, потребительским, более отвечающим национальным эмоциям, чем стремлениям проникнуть внутрь Евангельских изречений. Когда же начали молодые люди переписку от руки Евангельских текстов и передачу их друг другу, точно прокламаций, он окончательно понял, что религия не спасет Россию в будущем, как не спас ее атеизм в прошлом. Нет от самого себя спасения, и перед самим собой человек беззащитен. Национальный характер — вот его истинный поработитель. Не дано человеку себя изменить, но дано ему себя понять и иных предостеречь словом. Что будет — то знает Бог, но как не должно быть, может знать и человек. Не должно

быть излишнего упования на религию, как было излишнее упование на атеизм, ибо христианская религия ныне не может уповать сама на себя. Христианство, начавшее свой исторический путь с заговора апостолов против Христа, понимает, конечно, что главное, чего ждет человек от религии, это успокоения, за которое он согласен платить покорностью. Ждет того же, что ждет ребенок от матери. Успокойсь — буду покорен, не успокойсь — не буду покорен. И успокаивает она любовью к страданиям и наградой в загробной жизни. Однако если заменить любовь к страданию любовью к подвигу, что в принципе одно, если заменить награду в загробной жизни наградой от славы нации, вполне это будет пригодно для земного вызова Богу — строительства национальных Вавилонских башен. Апостольское христианство гордится своей любовью к человеку, в действительности же в основе всей его морали лежит преувеличенный смысл и значение человека в Божьем мире, и здесь они сродни атеистам. Нет, не тому учат библейские пророки, не тем успокаивают. Библейской правдой успокаивают они, Божьей правдой. Правда же состоит в том, что человек существо проклятое с момента изгнания из рая-Эдема. Понять правду о себе доступно каждому, однако не каждый согласится ее понять. Мало кто согласится. А ведь правда о себе не только облегчит, но и укрепит жизнь. Каждая удачная минута, всякое счастье, любое доброе дело будет восприниматься тогда как незаслуженная, а оттого вдвое дорогая награда, всякая же беда и неудача будет приниматься как заслуженное, а оттого менее обидное наказание. Не ждать наград, которые всегда должны быть неожиданны и восприниматься как незаслуженные, и не страшиться наказаний, которые всегда должны восприниматься как есте-

ственные — вот подлинная судьба религиозного деятеля.

Есть знаменитое место во Второй Книге Моисеевой "Исход". В страхе перед преследующим их фараоном сыны израилены вместо борьбы-деяния обратились к Богу с молитвой, а к Моисею с проклятиями за то, что он поднял их к борьбе-деянию, оторвав от молитвы. И великий пророк, тоже дрогнув сердцем, обратился к молящемуся народу с обещанием милости Божьей за молитву их. "Не бойтесь, стойте и увидите Спасение Господне, которое Он сделал вам ныне. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны". Тогда Господь преподавал Моисею урок. "И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? Скажи сынам израиленным, чтоб они шли". Недостаточно Божьего замысла, но человек сам должен быть на уровне Божьего замысла, иначе не сбудется, не свершится.

И вспомнилось Андрею Копосову, вспомнилось ему, как некоторое время тому посетил он подмосковный Загорский монастырь, Троице-Сергиевскую лавру, и как вернулся оттуда с тяжелым сердцем. Он всегда боялся кладбища, здесь же было как бы кладбище, могилы которого разрыты для обозрения. Все выглядело этими старыми, разрытыми могилами, приносящими доход от посещений туристов — монастырские стены, колокольни, трапезная в стиле аляповатого "русского барокко". Трапезная эта напоминала нарумяненный, окаменевший калач, извлеченный из захоронения, пищу мертвых, страшную для живого рта. И все это было покрыто надписями, как на могилах, церковными — вязью и государственными — строгими буквами. Единое целое со всем этим составляли толпы старух примерно одного возраста, где-то вокруг шестидесяти, примерно одного роста, одного черного или серого цве-

та. Изредка среди них мелькало лицо мужчины, либо лицо молодое, реже мальчика, чаще — девочки. Но и они были похожи на лица старушек и почему-то подумалось, что лица всех покойников старушечьи, независимо от пола и возраста. Посторонние посетители поглядывали на них с любопытством и опаской, как смотрит живой на покойника. Только монахи, кто в полном черном облачении со знаками отличия, цепями и крестами, кто в сером, приталенном облачении без всяких знаков шли по двору в разных направлениях со здоровыми, живыми, полнокровными лицами и обращались с богомольцами спокойно. Что-то было в монахах от могильщиков, привыкших обращаться с мертвыми телами, как с бытовыми предметами повседневного своего труда. Хоть было лето, но день холодный, ветреный, а богомольцы по-вокзальному расположились под открытым пасмурным небом на длинном ряде садовых скамеек. Кто спал, улегшись на скамейку, кто закусьивал бедной пищей: хлебом, вареной колбасой, запивал водой из поллитровых баночек. Здесь же были и монастырские кошки, видно, кормящиеся от подаяний богомольцев, и тучи голубей, прямо садящихся на спящих и разгуливающих по спящим.

В одной из древних церквей, у именованного, представляющего достояние государства иконостаса, шла служба. Священник в очках, с седой гривой волос сидел в изголовье того, что изображало Гроб Господен, мертвенно поблескивающий серебряный Одр Божий, и мужской речитатив его подхватывался женским: "Алилуйя!" Вереницей шли богомольцы и прикладывались губами к серебряному Одру. Все это происходило в полутьме и тесноте. В другой половине, такой же тесной, как бы в комнате ожидания, стояли скамьи, и плотно, по-вокзальному, сидели богомольцы с узлами и корзинами. И не-

смотря на "алиллуйя!", чувствовалось русское присутственное место, азиатчина русских учреждений, русское равенство, однообразие и коллективизм. Русский лесостепной характер испокон веков складывается в коллективе и по сей день на том и застыл. Оттого так слаб в нем индивидуализм, оттого характер этот атеистичен, коллективен, и русская церковь даже видом своим подтверждает это. Когда же русский человек пытается изнасиловать себя, прячась в скитах, в отшельничестве, соблазны возникают в нем с особой силой, те соблазны, от которых можно спрятаться лишь в коллективе. Лев Толстой, личность с достаточно здоровым восприятием жизни, отобразил это в полной мере в "Отце Сергии". Истинно по-толстовски выразилась одна девочка лет восьми, которую привела с собой посмотреть на церковную службу мать-туристка.

— Уйдем отсюда, здесь страшно, — шепнула девочка, наслушавшись "алиллуйя" и насмотревшись на зацелованный серебряный гроб...

Нет, религия не обновит русский характер, ибо сама она есть порождение русского характера и сама она требует обновления. Впрочем, справедливости ради следует сказать, что русская религия в силу своей азиатчины лишь наглядно выражает то, что характерно для нынешнего состояния религии вообще. Сегодня особенно понятен страх Толстого перед церковью, делающей веру публичной и коллективной. Все религии складывались, когда основная масса людей была темна и по-овечьи нуждалась в пастыре. А между тем, религии интимность необходима не менее, а, пожалуй, гораздо более, чем любви. Никакой другой человек, как хорош бы он ни был и каким бы саном он ни был облачен, не должен и не может нарушать интимности веры, ибо церковная публичность веры еще в большей степени, чем

публичность любви есть путь к разочарованию и духовной гибели. И так ли далек публично верующий от публично прелюбодействующего? Если в прошлом публичность веры была печальной необходимостью, то в будущем интимность веры станет неизбежной потребностью. Интимность религии это единственный путь к религиозному обновлению. Люди могут знать, что кто-либо влюблен, но как он любит не должны знать либо должны лишь догадываться. То же и в религии. Значение религиозного обряда, лишаящего религию интимности, должно все более ослабевать, а значение интимной веры — увеличиваться...

Тем успокоил себя Андрей Копосов, побочный сын Антихриста из колена Данова и русской женщины Веры Копосовой из города Бор Горьковской области. Понял он, что мучает его и ясно определил свою дорогу. Он знал о себе, что верит в Бога и потому он чувствовал свое право предостерегать от религиозного соблазна, который приближался к России среди скуки бесталанных официальных атеистов, предостерегать, что в будущем религия будет главной опасностью в России. За антирелигиозность будут ненавидеть его и будут смеяться над ним в неофициальном антиправительственном обществе и будут стараться использовать его в обществе официальном, как Пилат пытался использовать предостережения Христа против необновленного Моисеева Закона, Закона, в который Иисус Христос, иудей, верил сам всей силой своей великой души.

Когда понял свое Божье антирелигиозное предназначение Андрей Копосов, сын Антихриста, пророчица Пелагея, приемная дочь Антихриста, которая стояла с Савелием в темном дачном саду, ощутила это через мягкий толчок в сердце свое и сказала с улыбкой:

— Понравился мне, Савелий, друг твой Андрияша, только молод он, не пара я ему.

А меж ней и Савелием уже давно установились те, по-женски откровенные, дружеские отношения, с помощью которых умная женщина удерживает от рискованных шагов нелюбимого человека. Если длится это слишком долго, то человек этот действительно начинает понимать каждое ощущение такой женщины, и жизнь ее становится почти его жизнью.

— Сильно он полюбил тебя, — говорит Савелий, — сразу полюбил, и если даже встретит другую, уже счастлив не будет.

— Не для счастья с женщиной он живет, — сказала пророчица Пелагея.

— И Вася полюбил тебя, — говорит Савелий, — ты не смотри, что злой он ругатель... Это несчастный человек.

— Я знаю, — сказала пророчица Пелагея, — но не долго уж ему мучиться и страдать.

И вдруг какой-то нечистый отблеск явился в глазах ее. Темно-вишневый цвет явился, каким горит накаленное железо, или тлеют угли потухающего костра. То был жестокий цвет небесной кары, который заимствовала пророчица у приемного отца своего, Антихриста. Всякая и добрая, и злая жизнь кончается от господства такого цвета...

Никогда подобного не видал еще Савелий, ибо осветился сад, и стали видны аккуратные яблони с побеленными стволами. Здоровый человек, увидев такое от любимой женщины, повредился бы в разуме, но Савелий уже прошел курс в психиатрической лечебнице и ныне увлекался алхимией с той же страстью, с которой он в ранней юности увлекался сладким грехом затворников. Бывали у него и приступы, и ощущал он их без беспокойства, просто в эти моменты был более настойчив в тех мыслях, кото-

рые мучили его постоянно. Так сейчас начал он упрашивать Руфину-Пелагею подарить ему немного крови своей.

— Всякий человек сдает анализ крови в поликлинике, — говорил Савелий, — я договорился, я заплачу, и мне выдадут пробирку с твоей кровью... Конечно, неофициально... Есть у меня двоюродная сестра Ниночка, я думал взять кровь у нее, когда Ниночка приезжала, но потом узнал, что она замужем. Мне нужна кровь девственницы.

В дачном саду было прохладно и влажно после вольного загородного дождя, и пахло богато, казалось бы, самой жизнью. "Именно запах земной жизни в корнях своих должен быть таким, — думала пророчица Пелагея, — после дождя поздно вечером в загородном яблоневом саду".

Этот запах вдохновил и Савелия. Он говорил о причине бессонных ночей своих, об идее своих последних месяцев, о мечте своей — обновленной современной алхимии, которая единственно способна решить тайну всего, тайну тайн, тайну жизни.

Поняла пророчица — и этому не спастись. Погубила его книга, как часто случается с натурами впечатлительными, женскими, у которых эмоциональная жизнь пригодилась бы и гению, а умственная жизнь пришлась бы впору подростку. Сильно, глубоко, хоть и односторонне способны они принять художественный образ, но книга, требующая взрослого единого обобщения вредна для них. Конечно, Савелий, человек дурного кровосмешения и опасностей предельных, однако многое, ему свойственное, вообще свойственно молодому религиозному чтению. Не в Евангелии, а в Пушкине скорей обнаружит пылкий молодой человек Бога... Как некогда в начале века было повальное увлечение умными книгами экономического материализма, с которых на-

чалось падение многих талантливых душ, так и ныне является опасность увлечения святыми книгами, от которого началось уж падение некоторых и, может быть, падение многих. Со Святого Евангелия, библейского осколка, началось падение Савелия. Библия подобным натурам менее опасна, ибо менее для них привлекательна. Ясно — "око за око" — чего тут не понять? Но Евангелие — "возлюби врага..." — уведет, пообещает, увлечет и не ясному Пушкину передаст, а книгам мистическим. Так, христианский аскетизм неизбежно превращается для молодого верующего в мистическую эротику. Особенно опасно это в эпоху духовного голода, вызванного засильем неталантливому, непоследовательного атеизма, идеалистического атеизма.

С некоторых пор посещал уже Савелий кружок молодых людей, собирающихся тайно на квартире у одного из них и радостно предающихся средневековью, благо явилась ныне мода петь хвалу средневековью по всякому поводу. Гоголь имел право в стареющий век любоваться средневековьем, радоваться юношеской свободной игре души и мысли; однако люди нашего времени, увидевшие и ощутившие неизбежно бездарный финал талантливой средневековой игры в человекобога, не должны стремиться в бездарном своем финале подражать плодотворному талантливому началу... Всякая детская игра не должна быть доведена до скучного конца, ибо любой ребенок знает, что самое неинтересное в игре это ее конец. Средневековье это возрожденное веселое временное детство, наступившее после Библейской мудрой вечной старости. Именно в средневековье христианин окончательно стал веселым язычником. Фашизм, как всякое народное движение, есть детская веселая игра, начатая еще гениями Средневековья. Но гений наделен великим

спасительным свойством совершать ужасное в мыслях и душах своих, тем ограждая мир от самой страшной для него угрозы — материализации немислимых человеческих фантазий и причуд. Когда же в эту игру начинают играть дети с дурной кровью, становится ясно, что фантазии Шекспира и Данте имеют своих исполнителей-практиков. Проста загадка, мучившая интеллигентов-либералов — откуда взялся фашизм в культурной Европе? Фашизм это когда к талантливым играм Средневековья прибобщается множество бедных детей с дурной кровью. И взрослый человек, представитель казалось бы взрослой нации легко включается в эти веселые игрища, отбрасывает путы разума, лишавшие его стольких диких удовольствий, проклинает Моисеево "нельзя", придает свой языческий смысл Христовому "можно", резвится, превращается вновь в средневековое дитя двадцатого века, однако резвится уже со щипками и укусами, как резвятся, радуются и играют пахнущие мочой прыщавые недоноски. Но средневековую пышность этой игре придают мистические побрякушки. Когда-то в России мистицизмом увлекались разучившиеся верить в Бога декаденты. А если им ныне увлекутся не научившиеся еще верить в Бога дети скучного атеизма прошлых лет? Во что превратится массовый, народный русский мистицизм? В какую игру сыграют русские люди себе и другим на погибель? Много грехов на душе у России, ибо таков ее удел; нации, завладевшей таким пространством нельзя обойтись без своих и чужих мучений. Однако не готовится ли в будущем страшный грех, за который уже не простит Бог. Грех, когда Святое Евангелие научит незрелые, истосковавшиеся в атеизме души дурному...

Вот книги, которые читали в кружке, посещавшемся Савелием: "О состоянии человека по смерти и превращении тленного его тела в нетленное, как он в Эдеме создан был, также и о состоянии осужденных нетленных тел из начала мрака", "Отверзтые врата тайной природы и действующих свойств ея в добре и во зле. Также что есть Эссенция вещей и давно желанная всеми химиками к сведению первая материя философского универсального лекарства в пользу ищущих истинных снагерических и медицинских знаний".

Впрочем, Савелий с некоторых пор в кружок являлся редко, больше просиживал дома среди колб и реторт, раздобытых на аптечном складе. Подумывал он также и об оставлении литературного института с тем, чтоб поступить по биохимической специальности в университет. Пока же увлекался он книгой "О философских человеках, что есть они в самом деле и как их рождать". В книге этой была на титульном листе приписка, которая особенно Савелию нравилась: "В печать издана, украшена фигурами и свету сообщена". Сообщалось свету о рождении философских человечков просто и уверенно, без излишнего лиризма и с научной убежденностью.

"Сие происходит следующим образом. Возьмите колбу из самого лучшего хрустального стекла, положите в оную самой лучшей майской росы, в полнолуние собранной, одну часть - - две части мужской крови и три части крови женской. Но заметить должны, что сии особы, если только можно, были чисты и целомудренны. Потом поставь стекло оное с сиею материею, покрыв его слепой крышкой, сохрани для гниения в теплом месте, и тогда на дно осядет красная земля. После сего процеди сей менструм, который стоит наверху, в чистое стекло и сохрани его хорошенько".

Так начиналось описание процесса создания философских человечков — мужчины и женщины...

Пророчица Пелагея знала, что то, чем хочет заняться Савелий, есть грех, и слыша ранее не раз его увлеченные рассказы и выслушивая его просьбы о том, чтоб подарить ему немного своей крови для опыта, она думала, как предостеречь этого влюбленного в нее, страдающего больного парня. Она знала, что слово бесполезно в подобном случае, а как предостеречь делом — придумать не могла. Можно было не дать ему своей крови, что она и делала, но он бы только этим укрепился в желании совершить задуманное, искал бы кровь в другом месте, жил бы этим и укреплялся бы в грехе. Можно было бы дать ему своей крови, и тогда он совершил бы опыт, который конечно бы окончился ничем либо не тем, что задумывалось, как всякий алхимический опыт. Тогда бы он проявил истинно мистическое упорство, стремился бы к новым опытам, опять неудачным, и если б ему суждена была бы долгая жизнь, то постарел бы в грехе. И сейчас, стоя в темном дачном саду среди яблонь, глубоко дыша богатым, волнующим, влажным запахом жизни, видя рядом с собой бледное, по-славянски безудержно влюбленное лицо с Клавдииным коротким носом и испуганными сочными глазами Алексея Иосифовича или даже деда, Иосифа Хаимовича, видя и чувствуя все это, пророчица Пелагея решила вдруг бороться с грехом, помогая ему совершиться и обнаружить себя, бороться с Сатаной, идя Сатане навстречу...

Надо, кстати, заметить, что пророчица Пелагея и сама уже продолжительное время мучилась женским и вполне испытывала на своем теле третью казнь Господню — дикого зверя. Через попытку изнасиловать ее еще девочкой, в лесу, вблизи города

Бор, было дано ей знамение о пророчестве ее, и она помнила это. Знала также, что подвиг девичества, который ныне совершался ею ради Господа, укреплялся Сатаной, неизбежным участником всякой рискованной Господней драматургии... Вначале, пока Пелагея была подростком и молоденькой девушкой, помогал стыд и дочерняя любовь к отцу своему -- это было самое несложное время в ее борьбе. Но когда она стала читать Библию, читать Евангелие и часто молиться, ей почему-то особенно тяжело пришлось соблюдать обет. Тех, кто сватался к ней, она отвергала легко, и тут никакой борьбы не было, люди эти большей частью были ее круга, ибо знакомства у нее с отцом, дворником жэка, были не широкие... Но в самый тяжелый для себя период, с 25 до 30 лет ей несколько раз доводилось видеть мужчин, для нее опасных...

Однажды послали ее от жэка за город на уборку картофеля. И шофер, который вез пророчицу Пелагею в кабине в район на заготовительный пункт, попытался ее изнасиловать. Очевидно, было в ней что-то крайне женское, что толкало натуру необузданную к насилию... Они боролись в лесочке, куда пошли воздухом подышать, и пророчице Пелагее вдруг захотелось дать ему возможность одолеть себя. Но Сатана, который стоял рядом и у которого были свои замыслы, увидел это и понял все. Шофер этот был известный деревенский хулиган, отсидевший в тюрьме за поножовщину, но красавец. Он изнасиловал в деревне уже несколько женщин, однако на него боялись жаловаться. Не просто он любил насиловать, а сперва испугать, поизмываться, тем более ныне, когда эта женщина была в его полной власти, в вечернем лесу, наедине. Сатаны, стоявшего рядом с пророчицей, он, конечно, не видел. Однако, когда ударил Пелагею шофер по лицу и схватил,

не захотела Пелагея воспользоваться пророческим, а захотела воспользоваться только своим, людским. Ибо при насильнике Павлове была она слабой девочкой, ныне же стала налитой, дюжей женщиной русского севера. Ударила она шофера ногой в живот и ушла в разорванной кофточке, прикрывая руками обнаженную грудь. Так спаслась она от соблазна в первый раз. Второй раз все должно было произойти добром, понравился ей мужчина хороший, красивый, но инвалид войны. Все тоже быстро произошло, главная опасность была в быстроте. Сватовство — тут все по порядку и закону, а против порядка и закона ее обет девичества был силен. Боялась она лишь беспорядка и случая. Случай этот опасный начался на каких-то поминках, где она была с отцом своим, Антихристом. Отец ее, Дан, Аспид, Антихрист по дворницкому своему делу раньше отлучился, а Пелагею пошел провожать этот инвалид. На поминках, конечно, слезы были, покойник, хоть и не очень знакомый, но душа была размягчена. И вот в таком состоянии идут они, и не так он ее провожает, как она его, поскольку гололед, а он на протезе с палкой. Подошли они к дому его, и стал он пророчицу Пелагею просить войти к нему.

— Пойдем, Руфина, чайку попьем с мороза...

Все как обычно мужчины делают в такой ситуации... Вошла она, и начал он ей фотографии фронтовые показывать, на которых с покойником вместе был изображен. Показывает и плачет, лицо детское совершенно стало, жалко его, пожертвовавшего мужскую молодость войне, а теперь не имеющего полноценного мужского. И захотелось ей опять дать себя одолеть. Но Сатана по-прежнему был рядом. Свет заранее погасили, видно инвалид стеснялся перед молодой женщиной своего увечья, культяпки... Пророчица Пелагея уже на койку легла и вдруг в

темноте рукой зацепила палку инвалида, та упала с шумом, от шума этого вернулась к себе пророчица издалека, куда успела уйти на минуту-другую, пока лежала на подушке рядом с напряженным чужим телом, которое она должна была спасти от напряжения и спастись сама... Разом встала она с подушки, ибо все случившееся уже сложилось в некую историю еще до того, как произошло непоправимое. А как только оно сложилось в историю, восстановился порядок, а как только появился порядок, восстановился и обет девичества, который она дала Господу. Оделась пророчица, извинилась перед инвалидом и ушла, только свет попросила не зажигать, пока уйдет, ушла она ошупью... Было ей тогда 27 лет и с тех пор ей казалось, что девственность ее особенно прочна и не подвергается соблазнам. Однако соблазны недавно вновь явились, сперва во сне, потом и наяву. Потому, стоя сейчас в темном саду рядом с влюбленным в нее грешником, решила пророчица бороться с грехом, идя греху навстречу, навстречу Сатане, но все-таки не нарушая обет девичества.

— Хорошо, — сказала она, — я дам тебе крови своей для опыта.

Не поверил счастью Савелий, засмеялся он радостно и попросил поцеловать ее в щеку. Она разрешила. Тогда руку попросил он поцеловать. Она снова разрешила. Но большего он просить не решился, и они пошли из сада.

— Может, Руфина, здесь заночуем, — сказал Савелий. — Дача большая, найдется тебе комната.

— Нет, — сказала пророчица, — отец один дома... Да и соскучилась я по нему...

— Тогда я тоже поеду, уйдем не попрощавшись, мать поймет, а то еще задерживать будут. Только вот как Андрея позвать?

— Андрей уже давно ушел, — сказала Руфина-Пелагея. — Я видела.

— Страдает он, — сказал Савелий. — Жалко его.

— А Васю тебе не жалко, — сказала вдруг Руфина-Пелагея, — он ведь тоже страдает.

— Васю? — удивленно переспросил Савелий. — Знаешь, я давно с ним знаком. Опасный он, страшно живет, точно в чем упрекает всех остальных, перед ним виноватых. Боюсь я его, — признался Савелий, — антисемит он ужасный, болезненный какой-то, беспокойный антисемит.

— А правда, он на отца моего лицом очень похож? — сказала пророчица Пелагея.

— Действительно, — сказал Савелий. — Я и сам теперь подумал. Это потому, наверно, что южные украинцы сильно с турками смешаны. Он, кстати, знает, что похож на еврея и сильно от того страдает. Если б ему другую внешность, может, он добрый был бы парень, и антисемит более спокойный. Сегодня возле Третьяковки он слишком сильно нервничал и слишком тупо Сомова ударил. Сомова можно было и поумнее ударить, он того стоит. Вася ведь не всегда тупой; когда забудется, словно не помнит себя, доброта проступает в нем, и с ним бывает приятно. Но сегодня как бы чего не натворил.

Это была правда. С тех пор как расстались возле Третьяковки, как крикнул он про жидовскую лавочку и жидовского Бога, не находил места Вася и не мог сидеть, а все ходил и ходил, надеясь устать и успокоиться. Но не уставал и не успокаивался. И не мог он понять, что с ним — то ли евреев до нервного приступа возненавидел, то ли голубоглазую еврейку полюбил. К женщинам Вася всегда относился более спокойно и рассудительно, чем Савелий или Андрей, а влюбленность и вздохи вообще считал не мужскими, еврейскими, слабосильными штучками.

Была у Васи жена, посудомойка, с которой он разошелся; теперь была деваха, преподавательница английского языка из школы, расположенной против его дома... И вот с утра такая напасть. Знал Вася, где живет Савелий и слышал, что в той же квартире живет и еврейка, которая не давала ему покоя.

”Пойду, — решил Вася, — давно пойти надо было. Там, у Руфины-жидовки наскандалю, успокоюсь и забуду ее”.

Предварительно зашел Вася в Дом литераторов, в знаменитый ресторан, где привилегированной литературной публике разрешалось дышать пряным запахом разлагающегося мяса и прокисшего томатного соуса... Подсев к столику богатого еврея-песенника, который очень боялся Васиных скандалов и которого Вася в позапрошлом году на майские праздники ударил, он выпил триста граммов даровой водки и съел одну даровую шпроту. Ел Вася мало. От Дома литераторов к бульвару, где жила еврейка, было рукой подать, быстро шел Вася, но триста граммов даровой водки еще быстрее разобрали и исказили перед Васей Божий мир. Так пришел Вася к дому на бульваре. Дом этот был старый, интеллигентный, дореволюционный, и Васе показалось—со сладким жидовским запахом на лестнице. Однако выше этажом гуляли грубо, во всеуслышание, с частушками, и это успокоило — значит теснят жида, не дают ему одолеть... Слезящимися почему-то глазами нашел он номер квартиры и позвонил. Дверь отперли.

— Можно Руфину... Руфиночку можно... Девушку Руфиночку, — начал было Вася заплетающимся языком и тут же осекся.

То, что увидел он в дверном проеме, поразило его. Свой постаревший облик увидел он, освещен-

ный слабым желтым светом коридорной лампочки. Себя пожилым человеком увидел Вася, поседевшим, со сгорбившейся еврейской спиной. То отец его отпер ему, Дан, Аспид, Антихрист.

— Нет Руфины дома, — сказал Антихрист и, взглядевшись в Васю, тоже тотчас узнал.

Это был его первенец, зачатый под Керчью на берегу моря с Марией, доброй душой, малолетней блудницей из села Шагаро-Петровского Димитровского района на Харьковщине. Тогда шире распахнул Антихрист дверь, и вошел Вася из колена Данова, дурное семя. Сели отец и сын друг против друга за стол и смотрят. И чем больше смотрят друг на друга, тем больше узнают.

— Ну, — говорит Антихрист, — расскажи, сыночек, как ты ругал еврейского Бога своего?

— Врешь, жид, — кричит Вася. — Украинец отец мой... С туретчиной украинец. И мать моя из села Шагаро-Петровского. И Бог мой — православный. А жидовского Бога ненавижу. И нечистый жидовский хлеб ваш ненавижу, — схватил он кусок хлеба, лежавший на столе, и бросил его на пол.

А то был действительно нечистый хлеб изгнания, завещанный пророком Иезекиилем. И преобразились мягкие еврейские глаза Антихриста, загорелось в них то, что губит и что заимствовала у приемного отца своего пророчица Пелагея. Как раз, когда у отца загорелось, и у нее загорелось за много километров отсюда, во тьме дачного яблоневого сада. Когда загорелось в глазах Антихриста, и осветилась комната мигающим, то вишневым, то малиновым, темным, словно от вечернего небесного облака, испугался Вася, заныло еще миг назад по-славянски уверенное сердце и впервые ощутило подлинную и единственную еврейскую вину перед павшим миром, имя которой Беззащитность. Встал Вася и по-

шел, отцом не провожаемый, сам отпер входную дверь и вышел на лестничную площадку. В тот момент двери этажом выше распахнулись, там, где грубо гуляли, и жлоба́ с красными лицами, все сколько их было, вышли на лестничную площадку. Это называлось: "Мужчины вышли покурить". И сказал один жлоб Васе:

— Куда прешь, жид, глаза повылазили, что ли?

Ничего не ответил Вася и как домой приехал, не помнит. Когда же приехал домой, начал искать он способ удавиться. Сперва хотел он на ремешке от брюк удавиться, однако понял, что ремешок может не выдержать, и нашел в пыли под ванной бельевую веревку, неизвестно с каких пор лежащую, может, еще от старых хозяев, и его, Васю, дожидавшуюся, чтоб выполнить свое предназначение. Сделал он из веревки петлю и начал искать крючок, но не мог найти хорошего крючка ни в комнате, ни на кухне, гвоздя же крепкого тоже не было и молотка не было, ибо жил Вася бесхозяйственно, как придется. Жил с бутылками и банками грязными на подоконнике, с грязными носками на батарее парового отопления, с кучками мусора, заметенными во все углы и кроме двух икон — Христа-Спасителя и Николая Угодника, — не было у Васи никаких ценностей.

"На эти иконы меня и похоронят, — подумал Вася, — если удачно продать, да еще иностранцам, и крест можно будет поставить. Напишу тетке Ксении записку, чтобы продала иконы для похорон моих и для могильного креста".

Присев к столу с бельевой веревкой, намотанной на руку, Вася написал записку Ксении и тут же просьбу к тому, кто обнаружит его смерть, дать телеграмму в Воронеж Ксении Коробко, по мужу Гусаковой, и адрес указал. А также в Харьковскую

область, Димитровский район, село Шагара-Петровское, хутор Луговой Александре Коробко, по мужу Наливайко. Приложив к этому смятый трешник и окончив тем подготовку, он начал опять искать крючок. Не найдя, он решил просто кинуться с балкона, однако постеснялся вызвать этим веселый шум зевак и глупую толпу. Тогда продолжил он поиски и нашел все-таки крючок в углу у окна, сильно затянутый паутиной и покрашенный при побелке. Очевидно, на крючок этот прежние хозяйка укрепляли перекладину, к которой подвешивали портьеры. Убедившись, что крючок крепок, он намочил под краном мыло и, намылив веревку, бросил мыло тут же, посреди комнаты. Сделал Вася петлю, подставил шаткий табурет, почувствовал сильные колики в желудке, стоя на табурете, помочился на пол и подпрыгнув с петлей на шее, наступил на край табурета так, что табурет упал. Мигом затянулась петля, захрипело, заклокотало и умер Вася нечисто, испустив из кишок грубый харьковский пердунец.

Так отвергнуто было гнилое семя Антихриста, Господнего посланца.

Обнаружили Васю через три дня соседи, и конечно же он их напугал. Без того невозможно, чтоб висельник не напугал, однако здесь испуг еще усилился следующим происшествием. Когда покричали уже, поохали и, не прикасаясь к покойнику, вызвали по телефону милицию и скорую помощь, вдруг, еще до приезда властей, Вася на глазах у толпящегося из разных квартир народа оборвался, упал на пол, и как бы из него выкатилось зубчатое тонкое колесико, подобное часовому из больших карманных часов, описало полукруг, задрожало, задрожало и затихло плашмя. Но на этом необычность Васиной смерти кончилась, наступила обыденность. При-

ехали Ксения и Шура, вызванные телеграммами, заказали гроб, заказали музыкантов.

Ксения, как это нередко случается с развратными в молодости женщинами, превратилась в добрую, участливую, бездетную старушку. Она была богатая вдова, на средства, которые оставил ей муж, жила на окраине Воронежа в собственном домике с садом. Васе она всегда была чем-то вроде опекуниши и, помня о матери его, сестре своей Марии, которая девочкой приезжала к ней жить в голодном 1933 году, но которую она отправила назад в село вследствие семейного скандала, старалась, чем могла, сделать доброе Васе. Похороны Ксения организовала на свой счет, Шура не дала ни копейки. Да и не было у Шуры. Шура жила по-прежнему почти безвыездно в селе Шагаро-Петровское и была бедна, со множеством детей, выросших и дурно устроившихся, а взгляд имела по-прежнему злой, тупой и измученный. Васино старое пальто, Васины стоптанные босоножки, Васин закопченный чайник — все, кроме того, в чем Васю хоронили, она увязала в узлы и увезла к себе в хозяйство, в село Шагаро-Петровское. Только две иконы Христа-Спасителя и Николая Угодника Ксения взяла себе. Ксения хотела увезти иконы, однако по совету одного из соседей продала хорошо, удачно какому-то бородачу, дав, разумеется, советчику комиссионные.

И вот вынесли Васю. Когда вынесли Васю, сразу стала видна постыдность обыденной смерти. Летним днем, в раннее рабочее время вдруг ни с того, ни с сего раздалась в будничной скуке звуки похоронного марша, который играли несколько нанятых музыкантов. Из дома вынесли венки и крышку гроба, которая опиралась не на плечи, а на головы несущих. Наконец вынесли покойника с неумным ли-

цом, как и у большинства из лежащих в гробу, а в общем, как у всякого, лежащего в гробу. Так что если говорят: "У покойника было умное лицо", — то обманывают себя воспоминанием о том времени, когда он жил и был им дорог.

Похороны были малочисленны. Несколько стариков, старух, какие-то молодые люди, очевидно, соседи. Был среди них и Андрей Копосов, узнавший о смерти Васи и приехавший проводить брата своего. Ибо он не знал, но ощущал странное — будто Вася брат ему, но брат позорный, неудачный... Так оно и было, и в том он убедился позднее. А отец Васи и Андрея Антихрист и приемная дочь его, пророчица Пелагея, наблюдали за похоронами издали.

Похороны у Васи были веселые, и создали это веселье дети. Против Васиного дома была школа, где Васю знали, может, оттого, что он несколько раз приходил пьяный к учительнице английского языка Екатерине Анастасьевне... Учительницы этой то ли не было в Москве в данный момент, то ли она начала дурно к Васе относиться за какой-то его дикий поступок, чем он при жизни отличался. Видно было, что улица знала о его поступках, и ребят они веселили. Вот и сейчас резво и радостно побежали ребята к похоронам. Девочки-подростки, взявшись за руки, стайкой подпрыгивали и кричали:

— Чеснока похоронили, чеснока похоронили...

Оказывается, здесь у Васи была кличка — "чеснок". Мальчик-озорник, желая потешить девочек, подбежал близко и отскочив, морщась, как от чего-то грязного, сказал:

— Фу, воняет.

Дети бегали взад-вперед через улицу.

— Вон гроб, — кричали они, и им было весело.

Ведь дети не чувствительны, ибо не измучены еще сознанием, им расти надо, сердца их прочны и гру-

бы, как корни врастающих в землю молодых растений. Но рядом из прачечной вышли две работницы в белых халатах. Слушают они звуки похоронного марша, видят чужой гроб и утирают слезы. Жизнь уже не кажется им такой бесконечной, как этим ребятам, и всякая чужая смерть для них угроза. Им себя жалко и за себя обидно.

Тогда сказал Антихрист, отец отринутого Господом первенца своего, сказал из шестого псалма Давидова:

— Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей.

И продолжила приемная дочь Антихриста, пророчица Пелагея:

— Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить тебя.

Но Антихрист не знал еще, что дочь его — пророчица, подумал, что хорошо изучила она Псалтырь. И похвалил ее.

Покойного Васю меж тем погрузили на грузовик и увезли похоронить. Немногие сопровождали его к кладбищу. Ксения да Шура, да несколько нанятых на Ксенины деньги, которые держали венки. Бесплатно сопровождал Васю, брата своего, только Андрей Копосов, сын Антихриста и Веры Копосовой из города Бор Горьковской области. Малочисленны, позорны были похороны Васи, однако через несколько дней о Васе вдруг заговорили как о трагически и преждевременно погибшем таланте. В литературном ресторане обеда и ужины превратились в поминки, все размякли душой и несколько дней обращались друг с другом бережно. Однако были и другие. Смерть Васи тоже на них подействовала, хотя и в ином смысле. Еще сильнее замкнулись они в знаменитой своей позе: "кто губит Россию?" — подперев щеку, изредка играя желваками и глядя на

залитую вином скатерть. Огляделся и Андрей Копосов, посмотрел на эти разные лица, лица, достигшие всего или, во всяком случае, многого, и понял он, что при естественном развитии рано или поздно увидит он эти лица в некрологах. "Кто живет, тот помрет, — подумал он, — я же не живу, но и не помру". Такое он себе внушил — не помру я, и все тут. Грешную мысль внушил. Ибо многое он уже о себе знал. О том же, что он сын Антихриста, посланца Господа, догадывался смутно, как сквозь сон. О том ему вскоре мать его сообщила, Вера Копосова, богомольная старушка.

После страстей, случившихся в ее жизни, быстро состарилась она за чтением Евангелия и выглядела гораздо старше своих пятидесяти с небольшим. Лет на десять старше, а то и более. Надевала она дешевые старушечьи очки в железной оправе, брала в руки Евангелие, лицо ее делалось глупо торжественным, и затылок был как у домашнего животного, с интересом глядевшего на какой-нибудь человеческий предмет.

Удивительно красиво лицо человека мыслящего, читающего искренне про себя глубокую книгу. У человека не мыслящего, читающего искренне волнующую его неразумно, согласно внешнему внушению, книгу, лицо, наоборот, теряет часто вовсе человеческие черты, и черты животного, всегда неприятные на человеческом, проступают в нем. Что-то обезьянье проступало у Веры при чтении ею Евангелия. Но при этом, будучи глупа в мыслях, Вера была иногда неожиданно умна в словах. Когда приехала она навестить сына, решил Андрей повести старушку-мать на Красную площадь, куда часто бывшие провинциалы водят своих провинциальных родственников, чтоб внушить им почтение к своему нынешнему положению.

У Андрея в тот день была предэкзаменационная консультация в институте, поэтому пришли они с матерью рано, еще солнце вставало. Центр Москвы мучает днем шумом и толчеей, однако тихий рассвет над Кремлем торжественней всяких церковных молений. Розовое небесно-младенческое сияние лежит на старых кремлевских камнях. Русь задумчива в эти минуты, уютно в ней человеческой душе, покойно, как в доме родительском, и кто б ни пришел, видит в ней мать, для которой нет ни своего, ни чужого, которая всех пожалеет, как Мать Божья... Коротки эти сборные минуты на Красной площади летним рассветом. Высоко в хрустально-голубом торжественном небе раздается колокольный звон часов на кремлевской башне Спасителя и, печатая шаг по гулкой брусчатке, точно под сводами храма совершается ритуал смены почетного военного караула у марксистского гроба господня, у мавзолея Ленина.

Стояли Андрей Копосов и мать его Вера Копосова и смотрели, как все это свершается. Вдруг оглянулся Копосов и видит слезы на глазах у матери своей. Не плач, а редкие, по-настоящему церковные слезы, которые текут у человека несознательно и незаметно для него.

— Что вы, мама, — говорит Андрей Копосов, — это смена караула у мавзолея Ленина. Она каждый день бывает и по несколько раз.

— Какой почет человеку, — говорит тихо и со слезами в голосе Вера Копосова, униженная постоянно и грехом своим, и грехом людей, — какой почет человеку... — Сказала, не подумав разумом, но умными словами.

Так проявляет себя подлинная народность. Термин "народность" на Руси давно уже стал идолом. Смысл его давно уже канонизирован славянофиль-

ской интеллигенцией: народность, — это простонародье. Есть у славянофила и Библия своя, которую они изучают с тщательностью монахов-фанатиков, которой безоговорочно верят, которой кичатся и которую противопоставляют в спорах Библии иудеев. Библия эта — русская деревня.

— У вас Библия, а у нас русская деревня, вот она наша Библия. Вам нашей Библии не понять.

Здесь та самая тайная мечта славян об остановке истории сказывается. Тут и умница Герцен с нелепым упованием на общину. Тут пророк русской несамостоятельной ителлигенции Достоевский, обнаруживший народное якобы в лучшем его виде среди каторжан. Что же оно, народное, не по Достоевскому, а по Пушкину? По Пушкину, народное — не простонародное, а национальное. Народность в писателе, пишет Пушкин, — достоинство, которое вполне может быть оценено одними соотечественниками. По Пушкину, аристократ Расин народен для француза, но не народен для немца. Пушкин, как всегда, гениально ясен, однако даже пророческий гений его не мог понять того, что не было еще рассказано Господом через идущее время. Ибо время — это язык Господень, которым он говорит с человеком. Во времена Пушкина народный вопрос не был еще трагическим вопросом. Во времена Пушкина проблемы "народ" — не существовало в таком трагическом осмыслении, как существует она ныне. Да и подлинно народного было во множестве, казалось, разливным, неисчерпаемым океаном подобно полезным ископаемым нашей планеты. Кто ж его иссушил, исчерпал? Народное сознание исчерпало, через которое народ в правители истории начал выбираться. Плодоносен народный инстинкт, этот массовый вечный разум от дедов-прадедов, где казалось бы по-своему поступает человек, по-своему

говорит, а в действительности прадед его так говорил, дед его так поступал. Не свое человек говорит, а общее, вечное. Как только начинает говорить человек свое, будучи лишен культуры, так сразу он становится бесплоден. Народ научить не может, но у народа научиться можно, чтоб затем объяснить ему самого себя. Это святая обязанность личности. Народ не способен понять свой плодоносный инстинкт своим низким бесплодным сознанием хотя бы потому, что для того, чтоб понять свои национальные инстинкты, надо обладать наднациональным, общечеловеческим сознанием. Когда народ хочет своим низким сознанием понять свои глубокие инстинкты, получается та лубочно-частушечная философия, перед которой преклоняются славянофилы в России. Непутевый разбойник, оппозиционер или правитель — вот конечный продукт народного сознания. Но еще хуже, когда культура, обязанная служить народу, разъясняя ему самого себя, то есть разъясняя народу народность, трусливо-рабски пытается услышать от народа истины о себе, о культуре, о личности. Этим она развращает народ и, воздавая почести бесплодному народному сознанию, уничтожает в народе плодоносный инстинкт. Не много уже его осталось, кое-где сохранился он лишь там, где в личной бессознательности рождаются общие святые слова, где человек мыслит глупо, а говорит умно... И если в XIX веке России удалось создать великую культуру, то это благодаря тому, что Петровские реформы оторвали интеллигенцию от народа, тому, что черпая из плодоносного океана народного инстинкта, культура не была порабощена народным сознанием. Лишь позднее, к концу века, благодаря стараниям разночинцев-обличителей, народное сознание начало порабощать культуру и последователи

этих обличителей довели этот процесс до своего предела.

Так думал Андрей Копосов, сидя на консультации и вспоминая слова матери. В литературном институте, бывшем доме Герцена, сторонника деревенской общины — спасительницы России, уже шел летний ремонт, пахло краской, коридоры были загромождены мебелью, пол устлан газетами. Нетронутым оставался конференц-зал, где продолжался учебный процесс воспитания сторонников соцреализма. Продумав некоторое время о своем и сделав несколько беглых заметок-намёков на листе бумаги, Андрей хотел было вслушаться в то, что говорилось вокруг него, однако говорилось вокруг в духе того самого славянофильского, народного сознания так много и ведущий консультацию известный поэт, человек с чисто русским псевдонимом, исконно, по-рязански был так звонок в голосе, что Андрей вновь отвлекся и начал смотреть по сторонам.

Конференц-зал был увешан кусками литературы всех времен и народов, именно отдельными органами, извлеченными из тела. Андрей долго думал, на что похожи эти тесно покрывшие все четыре стены стенды с обложками книг, классики прошлого и того, что ныне именуется классикой и попросту книгами первого, второго, третьего сорта. Вокруг были лозунги-цитаты, великие слова на красном холсте, великие профили и силуэты. И понял Андрей — это литературная анатомичка, морг для отдельных частей тела. Заспиртованные цитаты и обложки, что-то вроде печени, легких, рук и ног в банках со спиртом. Части тел в спирте менее имеют отношения к человеку, чем камень на улице или ветка дерева. Камень и ветка дерева более похожа на живого человека, чем его собственная печень или легкие, из него вынутые. Так же далеки от литера-

туры и эти куски литературы в литературной анатомичке. Да и во всем этом заведении есть что-то медицинское, научное, где литература выглядит подопытным существом, кроликом, которого мучают исследованиями, где литературе уготовлена роль жертвенная во имя людского благополучия, согласно гуманным принципам социалистического реализма.

Окончив занятия, Андрей Копосов поспешил домой, ибо ему с матерью предстояло посетить множество мест, в которых провинциал приобретает дефицит. Варфоломею Веселову, сыну сестры Таси надо было купить джинсы, Тасе, бывшей возлюбленной отца своего Антихриста, о чем Андрей не знал, надо было купить комбинацию, патрульной старушке Сергеевне, матери Тасиного мужа — кускового натурального сахара к чаю, которого в городе Бор не сыщешь, детям Усти — нательное и гостинцев, а также, по возможности, мясных консервов в припас и лимонов-апельсинов, фруктов святых, чтобы ими побаловаться... Однако вернувшись, обнаружил Андрей, что все уже куплено, увязано-упаковано белой, серой и синей упаковочной бумагой и бумагой разноцветной с магазинным клеймом. И святого фрукта, лимонов-апельсинов, полная авоська. И мать его Вера в чистом белом платочке сидит и Евангелие читает, сама же вида лукавого, радостного и таинственного.

— Догадайся, сынок, кто здесь был и покупки мне помог совершить...

— Да разве вы, мама, знаете кого-либо в Москве?

— И я знаю, и меня знают, — говорит Вера, — не хотела я тебе сразу говорить, неудобство испытывала, но староверка Чеснокова, древняя старуха из тридцатого номера по улице Державина, она ведь с бывшими квартирантами переписывается. Адрес

мне дала Дана Яковлевича и дочери его Руфины. А по телефону я им соседку твою попросила позвонить, славную такую женщину... Руфина мигом приехала. В гости приглашает, вот он адрес.

Садится тогда Андрей на стул и испытывает странную тревогу от услышанного.

— Я знаю этот адрес, — говорит он, — и Руфину знаю. Люблю я ее, мама, и не могу более скрывать.

Тут лукавство на лице Веры, матери его, пропадает и торжественно глупый, кроткий испуг, как при чтении Евангелия, воцаряется на нем.

— Неразворотливый ты у меня, сынок, — говорит Вера и крестится мелким крестом, — беспокойный, шатучий, да разве можно родную сестру любить? Грех тебе простится оттого, что не знал, а на мне грех, что не сказала. Ох, грешна я грехом непролазным.

— Что вы такое говорите, мама, — удивляется тоже с испугом Андрей, — разве она дочь вам?

— Она не дочь мне, но она отцу твоему дочь... Отец твой Дан Яковлевич, еврей... Так что и ты не русский... Недаром тебя родня наша через Тасичку, Веселовы, род старый, волжский, не любит... Особенно Сергеевна. У ней на еврея нюх лесной, звериный, хоть уж лет она преклонных. Так что каюсь я перед тобой, сынок, и прости мне тяжкий грех мой.

И хочет она перед сыном своим на колени пасть. Однако Андрей ее вовремя подхватил и говорит:

— Что вы, мама. Не то страшно, чей я подлинно сын, а то страшно, что не могу я пока к этому привыкнуть. Давайте, мама, в обнимку посидим, может, скорей я к этому привыкну.

Обнялись они и просидели так до вечера. Вечером Андрей Копосов говорит:

— Пойду к отцу моему.

— За это тебе, сынок, спасибо, — говорит Вера. —

И я с тобой, хоть не муж он мне перед людьми, но перед Богом муж.

Приходят они, встречает их в передней Руфина и говорит тихо:

— У отца нашего сегодня печальное торжество. Начало поста еврейского Шиво-осор бе-Тамуз, что означает пост в память разбития скрижалей Завета...

Когда вошли они в дом и увидела Вера Копосова, богомольная старушка, предмет последней женской страсти своей, постаревший и поседевший, со спиной веками сгорбленной, молодо закружилась у нее голова, и сказала она:

— Ты ли это, желанный мой, вот я, сударка твоя... А вот сын твой Андрей, не по тебе названный, но тобой рожденный...

Обнялись мать и отец, давно не видевшие друг друга, обнялись сын и отец, никогда не видевшие друг друга, обнялись брат и сестра, видевшие друг друга, но не знавшие, чем друг другу придется и оттого едва не согрешившие... Тут и время подошло свечи зажигать. А зажигание свечей в канун религиозной даты всегда происходит в строго установленное время.

Так, в кругу земной семьи своей встретил пост Дан, Аспид, Антихрист, посланец Господа. Вот перечень святого семейства. Из товарного вагона от безымянной матери своей, угоняемой в немецкое рабство, попала маленькой девочкой к Антихристу пророчица Пелагея, уроженка села Брусяны, что неподалеку от города Ржева. Через прелюбодеяние, третью казнь Господню, приобщилась к святой семье Вера Копосова, как через прелюбодеяние приобщилась к святой семье Иуды Фамарь. И родила Вера от Антихриста в городе Бор сына Андрея, доброе семя. А семя злое, первенец Вася, рожденный от Марии Коробко под городом Керчь, отверг-

нуто было и отторгнуто и стало навек потерянным Братом... Ибо не все осколки Чаши будут склеены, будут и отторгнутые, однако Божьей Силой Чаша будет как новая...

Пост Шиво-осор бе-Тамуз, пост 17-го Тамуза был одним из самых печальных, ибо это была скорбь не по насилию внешнему, чего немало было в еврейской истории, а по злодеянию внутреннему, совершенному народом против себя же, отвергнувшего Бога своего и оскорбившего пророка своего Моисея, который в гневе и страдании отрекся от неразумных и разбил скрижали Завета. Далее последовал известный диалог между Господом и Моисеем. Всякий раз, когда Моисей пытался отречься от своего неблагодарного народа, его уговаривал Господь пересилить свой справедливый гнев не во имя этого народа, который так же дурен, как и иные народы, а во имя исполнения предсказания пророка. Когда же Господь хотел отречься, уговаривал Моисей и опять же не во имя народа этого, а во имя Замысла Господня, с этим народом связанного. Так, в промежутке между Первыми и Вторыми скрижалями, укрепилось Моисеево отношение к народу, самое достоверное и простое. Сказано: "Скрижали были дело Божье и письмена, начертанные на Скрижалях, были письмена Божьи".

Когда же приблизились Моисей и Иисус Навин к стану, сказал Иисус:

— Военный крик в стане.

Но Моисей сказал:

— Это не крик побеждающих и не вопль пораженных, я слышу голоса поющих.

Так, с пением и плясками вокруг золотого тельца — языческого кумира — отрекся народ от Бога. Так, искусство — Божий дар — было обращено против Подарившего. Двойной это грех, ибо, кроме искус-

ства, нет ничего Божьего у человека. Наука — дело людское, насущное, необходимое для удовлетворения людских благ. Она в Боге не нуждается, и религиозной науки быть не может и не должно. Философия тоже дело людское, как и наука, ясно причиной своего существования, философия необходима разумному существу для умственных физкультурных упражнений. Подобно тому, как белка в колесе бесполезным бегом совершает полезное деяние, сохраняя силу мышц, так философия сохраняет силу мышц умственных, необходимых для удовлетворения людских благ в борьбе за существование. Потому религиозная философия выполняет, по сути, то же предназначение, что и атеистическая и всякая последовательная попытка через философию постичь Бога неизбежно ведет к атеизму. Нельзя постичь Бога и через мораль, поскольку всякий последовательный честный моралист, даже такой, как Лев Толстой, должен ответить на пресловутые вопросы, связанные с моралью: отчего человек смертен и отчего в Божьем мире существует и в пределах человеческой жизни торжествует зло?

Но есть нечто для жизни, для удовлетворения благ, для борьбы за существование ненужное и непонятное, а как раз наоборот, часто уменьшающее физические возможности в противовес науке, не всегда прибавляющее ума в противовес философии и затемняющее вечные вопросы, противоборствуя этим с моралью... На седьмой день Творения было его Рождество, когда Господь попросил человека дать имя всему Им сотворенному...

Так начал Господь свою игру с человеком и назвал эту игру человек искусством. Что есть искусство, как не инстинктивное подражание Творцу? Конечно, и через искусство нельзя увидеть Бога и

постичь Его. Сказал ведь Господь Моисею: "Лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может Меня увидеть и остаться в живых". Но искусство есть то "пламя огня" из тернового куста, которое увидел Моисей, никому еще неизвестный пастух, далеко в пустыне у горы Хорив. Даже великое искусство не может постичь Бога, но оно есть знамение, подобно пламени из тернового куста. Знамение того, что Бог рядом. Когда душа человеческая потрясена и просветлена искусством, значит рядом Бог, и не упустит этого мгновения, как не упустил своего потрясения пастух Моисей. В эти минуты Господь разрешает тебе говорить с Собой прямо с глазу на глаз, ибо сказано у пророка Исайи: "Не всегда говори с Господом, а тогда лишь, когда Господь рядом"... Однако, чтоб не упустить мгновения своего, когда Бог рядом, нужна хотя бы частица таланта, которым обладал Моисей, сказавший: "Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает..."

А в святом семействе Антихриста, посланца Господня, все наделены были такой частицей таланта, никто не упустил своего мгновения. Ни пророчица Пелагея, ни Вера Копосова, ни Андрей Копосов. Дурное же семя, Вася от Марии Коробко, отвергнуто было.

Когда попрощались уже перед уходом, подняла Вера Копосова глаза на мужа своего и сказала вдруг:

— Ты ли это, Господи?

Ответил он:

— Не называй меня Господи, ибо один у нас Господь. Мы же все придем и уйдем. Ибо какая разница, что изгоняет нас на тот свет, то ли внешние безысходные обстоятельства, то ли наши собственные хитрости.

Так поговорили и простились они. Каждый зажил своим. Вера, жена Антихриста, еще более поглупев разумом и поумнев словом, увезла в город Бор купленные свертки и святые фрукты — лимоны-апельсины; Андрей, сын Антихриста, окончив курс, поехал передохнуть возле матери от столичных раздумий; пророчица Пелагея занялась выполнением своего обещания, данного Савелию, мечтающему в опыте по созданию философских человечков использовать ее кровь девственницы; Антихрист, ожидая повелений Господних, по-прежнему работал дворником жэка, а Вася, отторгнутое семя, лежал на кладбище среди цветов, которыми завалили его могилу неожиданно появившиеся многочисленные поклонники.

Меж тем пророчица Пелагея сдала свою кровь на анализ в лабораторию местной поликлиники. Савелий выкупил пробирку с ее кровью у выпивающей медсестры-лаборантки, разумеется, незаконно. Так же незаконно выкупил он и пробирку с собственной кровью, которую, хотя бы в колбе, вздумал смешать он с кровью любимой женщины. К опыту можно было приступить во второй раз. Ибо скрыл он от пророчицы, что уже совершил он первый опыт, окончившийся неудачно: выкупил у непутевой медсестры из лаборатории кровь неизвестных ему мужчины и женщины, в нужном соотношении смешал, прибавил чистой майской росы, собранной на рассветном Тверском бульваре, прикрыл слепой крышкой и поставил в теплое место для гниения. Однако после того, как процедил он образовавшуюся сверху пленку — менструм — и перенес ее в другую чистую колбу, пузырька, который должен был свидетельствовать о зачатии искусственной философской жизни, не образовалось. И хоть в одном Савелий огорчился, но в другом обрадовался. Нет,

не оттого он обрадовался, что решил покончить с бесплодным грешным делом. Обрадовался он оттого, что все равно сомневался в рискованном деле, каким явилось взятие для опыта крови людей неизвестных. Поскольку сказано: "Ежели кровь, из коей приготовлен Отцер и из которого выросли мужчинка и женщина взяты из людей нецеломудренных, то мужчинка будет наполовину зверь, также и женщина будет снизу ужасного виду".

Ныне вторично проделывал он опыт, запершись в своей комнате, ибо в комнате матери античник Иловайский громко спорил то с одним, то с другим приятелем своим о Христе. Недавно Иловайский переехал к ним, стал Савелию отчимом и теперь спорил о Христе одетый по-домашнему.

Античник Иловайский дома был бос, и в споре он быстрым мелким шагом ходил взад и вперед, ступая по натертому Клавдией паркету старческими, белыми с краснотой ногами. Пальцы ног его не были все одинаково измучены мозолями, однако все они были нездоровы. Одет он был в широкие короткие штаны неопределенного цвета, салатную майку с широкими шлейками, постоянно сползающими с белых костлявых плеч при жестикуляции. Маечные проемы были так велики, что обнажали бока и худые ребра, а спереди майка была короче, ибо на худом теле Иловайского бугрился шариком живот.

— Вот чаша, она проста, — кричал он, хватая пахнущую водкой чашку из наполовину уж сведенного на нет сервиза, купленного во времена Иволгина. — Но вот я ее ударю о пол, и она сразу станет сложной...

Савелий брал с собой термос с чаем, бутерброды с сыром, колбасой и запырался на целый день, выходя лишь по нужде. Ни глупая мать, ни даже бестакт-

ный Иловайский его не тревожили. Однако как-то под вечер вдруг постучали.

Это был трудный, тревожный вечер. Опыт приближался к той стадии, на которой он прошлый раз окончился неудачей. Уже была смешана кровь в соотношении две части его собственной и три части Руфины, уже отстоялась она в теплом месте под глухой крышкой, уже смочена она была росой, правда, не майской, и это тревожило; уже осела на дно красная земля, уже отделен был менструм, процежен и помещен в чистую колбу; уже часть тинктуры из царства животных, сырое яйцо, помещена была в колбу, однако пузырька-зародыша не появилось.

Когда постучали в дверь, сидел Савелий, сжав голову руками, и ему казалось, что в затылке у него завелись черви. Он хотел уже злобно крикнуть, обругать мать свою, когда вдруг услышал голос Руфины, любимой женщины, чья кровь участвовала в опыте с его собственной. Сердце забилося, дыхание участилось. Отпер Савелий.

— Как душно здесь, — сказала Руфина, входя, красивая, голубоглазая, — окно заперто..., — и она распахнула окно.

Июльская лунная теплынь мягко, по-птичьи впорхнула в воспаленную комнату Савелия и, казалось, шепнула на ухо Савелию нечто неразборчивое... В центре каменной, бесплодной Москвы запахло вдруг яблоком, не прелым яблоком с лотка, а живым яблоком, орошенным ночным дождем. Так пахнет жизнь. А запах жизни и взгляд любимой женщины, одновременно совпавшие, — это уже то безумие, без которого невозможно плодоношение. Безумие подняло Савелия, измученного с позднего детства своего застенчивым грехом мальчика-затворника, и понесло с распростертыми руками навстречу женщине. Однако в тесной комнате, устав-

ленной колбами и пробирками он зацепился ногой за какой-то предмет, который потом не мог обнаружить, и упал, сильно ударившись коленом. Руфина засмеялась, провела сладкой ручкой своей по волосам его, отчего тело его покрылось, как на холодном ветру мурашками, гусиной кожей, и вышла. Савелий лег не раздеваясь на койку и, не закрыв окна, уснул, измученный. Проснулся он внезапно, словно от выстрела. То античник Иловайский хлопнул дверью. Хмельно разругавшись с Клавдией и находясь в вольтеровском состоянии, вышел он побродить по городу. Войдя в метро, он опустил на сидение. Едва поезд тронулся, как Иловайский бешено, но безвольно замотал седой головой то влево, то вправо, зажав в кулаке очки без футляра и пугая окружающее мирное население своим желтым лицом. Выйдя на конечной остановке, он вихляя пошел в толпе, но к выходу не дошел, глянул по-бараньи выкатив глаза сверху вниз на каких-то женщин, сидевших на одной из скамеек, и уселся рядом на свободный краешек, подперев ладонью провисающую, точно готовую сорваться с шеи, голову.

А Савелий, ненадолго разбуженный, вновь крепко уснул. Снился ему сон сперва жутко комический, потом просто жуткий. Вначале снится: идет он по улице и на заборе мелом написано — зарежу. Поворачивает он за угол, и там опять мелом надпись — верь, зарежет. Потом снится: тошнит его каким-то веществом, напоминающим вату, и маленькие частички этой ваты во время тошноты летают вокруг него. Сделав над собой усилие и проснувшись, как делает усилие тонуций, чтобы вынырнуть, Савелий действительно ощутил подкатившуюся снизу, от живота, тошноту. Зажег ночник, встал и торопливо подошел к колбе, где находился менструм, и к колбе, где была частица куриного яйца, сбрызнутого

менструмом из крови и росы. Пузырек-зародыш поднялся кверху, да не просто пузырек, а уж нечто развившееся за ночь, с жилками. Тогда дрожащими руками, не гнуцимися пальцами, холодея от страха уронить колбу, откупорил Савелий менструм и влил туда, где был зародыш, немного менструма, предварительно подогрев на спиртовочке.

С этого момента жизнь Савелия потеряла всякий смысл для него, помимо опыта. Строго исполняя предписание, он старался не шевелить крепко закупоренную колбу. Не выходя из дома, побледнев и потолстев от малоподвижного своего поведения, следил он, как бродит в колбе концентрат и пузырек становится все больше. За месяц четыре раза вливал он менструм, все увеличивая порции. И вот свершилось, как предсказывалось в алхимической книге. "После сего времени, когда услышишь нечто шипящее и свистящее, то подойди к колбе и к великой радости и удивлению твоему ты увидишь в ней две живые твари. Ежели от целомудренной крови они, то будешь радоваться ими и взирать на них с сердечным веселием. Но они будут не выше одной четверти аршина, однако же шевелятся и движутся, и ходят взад и вперед по колбе. В середине же вырастет деревце, украшенное всякими плодами".

Так все и случилось. Менструм Савелий подливал отныне через трубочку с зажимом резинкой, ибо знал, что воздух, которым дышит обычный человек, вреден для крошечных мужчины и женщины, живших в его колбе. Вокруг них выросло много трав и деревьев, от которых они питались и к Савелию они относились со страхом и почтением. Решил Савелий воспользоваться этим страхом и почтением, узнать у философских человечков то, что хотелось ему узнать. Спросил Савелий:

— Каковы главные идеи мира?

Ответил философский мужчинка, тогда как философская женщина сидела в колбе подле него и его ласкала:

— Главные идеи — это идея Времени и идея Пространства. Идея Времени — религиозная, идея Пространства — атеистическая. Идея Пространства родила философию и науку, идея Времени — религию и искусство. Однако позднее произошло кровосмешение. Идея Пространства — созерцательная, и человек способен достичь в ней иллюзии равенства с Богом. Идея Времени — деятельная, человек чувствует в ней свою слабость перед Будущим, зависимость от Будущего и нуждается в помощи Господа. Буддизм и античность — идеи Пространства, Библия — идея Времени. Когда разбита была Чаша, Христианский мир из временного все более становился пространственным. В идее Пространства, идее настоящего, идее красоты гений достигает величия, но предела своего он все-таки достигает в идее Времени, идее Будущего.

Тогда спросил Савелий:

— Что есть мир философский и что есть мир религиозный?

Ответил мужчина из колбы:

— Философский мир — это мир Единства, религиозный мир — это мир Полярности. В философском мире все исходит от Единого и возвращается к Единому. Это мир Человекобога. В религиозном мире основное навек разделено пропастью. Это Божий мир. Небо и Земля, Бог и Человек, Жизнь и Смерть... То, что по эту сторону пропасти, доступно пониманию, то, что по другую сторону пропасти, доступно домыслу. Но связи между Богом и Человеком, Небом и Землей, Жизнью и Смертью недоступны ни пониманию, ни домыслу. Смешение религиозных и философских понятий есть прием условный,

научный, плодотворный в частности, но затемняющий суть.

Тогда спросил Савелий:

— Каковы пути к Богу?

Ответил философский человек из колбы:

— Три пути к Богу: Вера, Неверие и Сомнение.

Вера — путь самый простой, распространенный и непрочный. Это путь церкви. Неверие — путь самый опасный, хоть и плодотворный. Это путь тех земных гениев, которые на личном пути к Богу сеют атеизм среди слабых. Путь Сомнения, — путь праведников, путь Иова. Это самый тяжелый путь через каждодневный духовный труд. Это медленный, но прочный путь.

Тогда спросил Савелий:

— Как отличить Доброе деяние от Злого, ибо в мире Злое часто в Доброй личине, а Доброе — в Злой?

Ответил человек из колбы:

— Если то, что ты делаешь и чему учишь тяжело тебе, значит ты делаешь Доброе и учишь Доброму. Если учение твое принимают легко и дела твои легки тебе, — значит ты учишь Злому и делаешь Зло.

Тогда спросил Савелий:

— Что есть Истина?

Ответил человек из колбы:

— Нет одной Истины для человека, но нет и трех Истин. Истины две — подлинная и ее зеркальное отражение. Человеку не дано отличить, которая из них Достоверная, которая Легендарная, однако следует сделать выбор и ища Достоверную, не переходить к Легендарной, а ища Легендарную, не переходить к Достоверной. Не отречься от своей и не искать третьей, ибо ее нет...

Тут оборвался разговор Савелия с философским мужчинкой из колбы, так как мать позвала обе-

дать, а Савелий не мог отказаться, чувствуя вдруг сильный голод. Уходя он видел лишь, как женщина в колбе прильнула к усталому от речей своих мужчинке и начала его ласкать.

При искусствоводе Иволгине Алексее Иосифовиче, портрет которого стоял раньше на письменном столе, ныне же был перевешен на стенку, Клавдия никогда не была хорошей кулинаркой. Правда, бычье мясо она могла неплохо обжарить, но борщ готовила солдатский, с твердой капустой, а на второе — чаще всего сардельки или котлеты с макаронами. Нового же мужа своего Иловайского, которого она обожала, хоть и препиралась с ним из-за его дурного характера, Клавдия баловала вкусной едой, говоря при этом со слезой:

— Он ведь там, в концлагере, соленой рыбы наелся, наголодался.

Баловала она его разной едой, но особенно получалась у нее еда национальная, белорусская. Щи кислые с грибами или кашей гречневой, печень по-гомельски, тушенная рулетом с салом, луком и кореньями, драчены картофельные со свиной, сырой картофель со свиной, мукой и кореньями, запеченный в духовке.

Вкусна была еда и на сей раз, так что Савелий, невзирая на тяжелый умственный труд, ел с аппетитом, и головная боль его несколько ослабла. Однако он помнил, что не все понял из объяснений мужчинки в колбе и не все у него спросил. Потому поел Савелий наскоро и, утершись салфеткой после тяжелой сальной пищи, удалился вновь к себе и заперся на ключ.

— Что такое добрый человек? — спросил он у мужчинки в колбе.

— Добрый человек — это не Божий человек, — ответил мужчинка, — в доброте нет Божьего, это

слишком мелкое для Бога чувство, но оно самое необходимое грешному маленькому человеку. Гораздо более необходимое, чем Правда и Духовное богатство. Добро и Доброта — разные вещи. Гений не может быть добрым человеком, ибо он служит Богу, добрый человек не может быть гением, ибо он служит человеку. Добрый человек редко вносит в мир добро, ибо к нему тянутся люди дурные, растраившие себя, потерявшие себя, капризные, жадные, требовательные, и добрый человек при них не как врачеватель, а как сиделка при духовно неизлечимых. Добрый человек — это безымянный праведник, готовый полностью отказаться от себя, потому гений и пророк не могут быть добрыми людьми, ибо они тогда согрешат против Бога, отказавшись от Божьего, свыше им данного, ради людского несовершенного и преходящего. То хорошее, что появилось в мире, совершено не добрыми людьми, а пророками — врачевателями и гениями — накопителями духовных богатств. Горечь правды лечит мир, беспощадное прозрение гения, но не доброта. Доброта не лечит мир, но она утешает и спасает от одиночества грешного человека, а значит, укрепляет падший мир, не дает погубить себя телесно, ибо доброта не духовное, а телесное чувство. Она стонет вместе с больным, жаждет вместе с жаждущим, голодает с голодным, выслушивает чужие ропоты и невзгоды. К ней тянутся и от нее требуют безвозмездно и неблагодарно тем более, чем более она дает. Мир остается злым, но благодаря доброте он существует и не погибнет от собственной злобы. Подлинный христианин — это добрый человек любой религии, но подлинный иудей — это гений и пророк любой религии. Проанализируйте любого гения и вы найдете в нем иудейское начало, даже если он иудаизм отвергает. Иудаизм гораздо ближе

к Богу, чем христианство, христианство ближе к человеку. Но добрый человек, как и гений, — явление редкое, поэтому подлинных христиан, как и подлинных иудеев, мало. Большинство лишь так именуется, чаще в силу рождения, реже — в силу обстоятельств. Главная неправда христианства в том, что, по его утверждению, служа человеку, можно служить Богу. Другое дело, что Господь в силу грехов людских одобряет и этот путь, хоть он далек от Божьего. Господь ведь тоже несколько раз менял Свои решения. Он создал человека, не предвидя последствий. Когда же создал и увидел, что получилось, то решил уничтожить творение Свое. Сперва изгнал из рая — Эдема, потом увидел, что это еще более усилило грех, вовсе решил разрушить жизнь. Но после первого праведника — Ноя, первого Спасителя, которого Бог не осмелился погубить и из-за него спас и остальной мир, понял Господь, что человек не способен любить Его не в силу злого умысла, а в силу своего ничтожества. На это способны лишь гении и пророки. Тогда решил он послать Мессию — Христа, чтоб подменить для грешника идеал Любви. Если не могут они любить Бога, то пусть хоть любят друг друга. И на этом идеале была построена цивилизация. Не гений во главе угла ее — не пророк, а добрый человек, который не служит Богу. Будучи слепым и неразумным, он одинаково раздает себя всем, но более умело берут его злые. Значит, доброта плодит зло, ибо она слышит не Бога, а свое слепое сердце. Те, кто более всего нуждаются в доброте, наиболее обделены ею. Христианство построило цивилизацию, потому что оно дальше всех отступило от Бога и благодаря идеалу доброты сумело увлечь за собой наиболее цепких, сильных, голодных и злых, то есть тех, кто более других этим идеалом был обделен. Только

гении не участвовали в этой игре. Игра эта основана на лжи, что служа человеку, ты служишь Богу. Человек, живущий по Божьим Заповедям, которые крайне просты, не нуждается в христианстве. Но поскольку грешник не способен исполнить "не убий", "не укради", "не прелюбодействуй", он спасается в христианских неопределенностях. Меж массой и личностью всегда пропасть. Масса живет по привычке и для массы христианство — благо. Трагедия же для тех, кто пытается быть сознательным христианином. Правда, и здесь ловкачи находят выход: "я стремлюсь, но не готов". Христианство — наиболее умелая игра на грани безбожия. Иудаизм не способен на такую гибкую игру, для этого он слишком серьезен. В христианстве же можно очень сильно верить, будучи неверующим и используя эти преимущества, ибо христианская вера крайне диалектична. Борьба и поиски в Вечном, Незыблемом, в том, в чем ни борьбы, ни поисков быть не должно — вот драматургия христианской жизни. На первый взгляд может показаться, что христианство — учение идеалистическое, не учитывающее природы человека. Человек зол, а оно проповедует идеалистическое добро. В действительности это не так. Идеалистическое учение способно создать религию или культуру, но оно не способно создать ни мощные империи, ни земные цивилизации. Как раз христианство весьма умело использовало подлинную природу человека. Ибо первоосновой человека является все-таки не зло, а легкомыслие. Предельное легкомыслие — основа христианского чувства, и оно соответствует падшему миру. Ясно, что Христос не был христианином и даже не слышал при жизни этого термина, но Он понял, что надо легкомысленной природе человека. Не Христос, а христианство построило цивилизацию. Сам Христос был человек острый, глубокий,

общающийся с Богом. Христос считал себя иудеем и был иудей из секты фарисеев. Но серьезная заслуга христианства в том, что, ничего не изменив в злом, ненавистном ему языческом мире по сути, оно, тем не менее, создало видимость полной перемены. Этому, в свою очередь, научился у христианства и социал-атеизм в момент своего господства. Он сумел сохранить порядок в падшем мире, многое изменив по форме и ничего не изменив по сути. Иудаизм не смог бы так, слишком велик разрыв меж ним и язычеством, идолопоклонством, слишком сильно взаимное отвержение. Бог велик, человек грешен, вот почему иудаизм — религия гения и пророка — сохраняет Бога для человека, а христианство — религия безымянного, неразумного, доброго человека, добровольного мученика, отрекающегося от себя во имя иных, неблагодарных — спасает в легкомысленном падшем мире человека для Бога. Спасает, если не духовно, то хотя бы телесно. К христианской телесности мир не только привык, но и полюбил ее. Христианскую телесность менять не следует, но суть христианства следует сегодня понять и видоизменить. Суть же ее состояла в течение пятнадцати веков в противоборстве с библейским корнем своим.

Савелий видел, что мужчинка в колбе уже изнемогает от усталости, как и он сам. Однако Савелий знал, что мужчинка покорен ему и чтит его, потому продолжал спрашивать.

— Скажи, — спросил Савелий, тяжело опустившись на стул и закрыв глаза, — отчего я разумом не могу верить в Бога, хотя много разумных книг, доказывающих существование Бога читал?

— Оттого, — тихим усталым голосом ответил мужчинка из колбы, — что Бог не в разуме, а в инстинкте. Человек родился с инстинктом Бога так

же, как он родился с инстинктом есть, пить и размножаться. Но те инстинкты просты, конкретны и доступны опытной проверке разумом. Разум дикаря не способен был постичь даже подвластные разуму, но лежащие вне опыта физические научные явления земли и неба. В таком же положении находится и разум цивилизованного человека по отношению к лежащему вне опыта сложному инстинкту Бога. Если представить себе такой фантастический случай, что желание пить не подкреплялось бы доступным наличием влаги, то существование воды было бы такой же проблемой для разума, как и Бог. Жажда заставляла бы искать и воображать воду, но разум легче доказывал бы ее отсутствие, чем наличие. Если представить себе человека, никогда не видевшего женщину, мир без женщин, то желания и похоть заставляли бы вообразить женщину, однако разум легче опроверг бы ее наличие, чем доказал. Желание было бы сильно и мучило бы разумных, может, еще более, чем неразумных, потому много разумных книг было бы написано о существовании женщины. Когда же разум был бы измучен этими попытками найти женщину анализом, не менее разумные, наиболее честные и последовательные из этих разумных одной-двумя ясными, толковыми книгами доказали бы абсурдность существования женщины только оттого, что существует похоть, или наличие существования воды только оттого, что существует жажда. А если учесть, что жажда и похоть возникли в дикие времена, то их легко можно было бы объявить результатом этих диких времен, до сих пор не изжитых. "Верую, ибо абсурд", — в отчаянии воскликнул ранний христианский писатель Тертуллиан. Ему хватило ума, чтобы признать бессилие разума в постижении Бога, но ему не хватило ума, чтоб отречься от разума в постижении Бога,

ибо абсурд — понятие разумное, научное. Подобно Моисею, услышать Бога из пылающего тернового куста может только человек искусства. Разум требует разумного доказательства, но единственное доказательство в инстинкте — это потребность. Потребность в Боге — единственное доказательство наличия Бога, так же, как жажда, единственное доказательство наличия воды, даже если б на земле ее не существовало, а похоть — доказательство наличия женщины, если б Бог, сотворив Адама, не сотворил Еву...

После этих слов наступило в комнате молчание, и вдруг услышал Савелий нечто шипящее и свистящее, как в начале зарождения. В испуге открыл он глаза и увидел, что мужчинка и женщина в колбе вкушают от того деревца, которое первым выросло и расцвело. А под крышкой колбы скопился туман вроде облака. Буквально на глазах сгущалось это облако, и вот оно стало красным, как кровь. Быстро нагрел на спиртовке менструм Савелий, хоть не время было его вливать. Но едва влил он большую порцию менструма, который сохранял крошечным людям в колбе жизнь, как из кровавого облака полыхнуло, и оба человечка поползли, пытаясь скрыться от огня. Больно стало сердцу Савелия. На глазах его поблекли краски в колбе, увяли травы, сохли деревья, как при засухе. Вот разверзлась земля в колбе, полыхнуло сильно огнем, и оба человечка, мужчинка и женщина, упали неподвижно и происходящим извержением были поглощены. В ужасе зарыдал Савелий, уже не сердце болело у него, а душа, нечто гораздо большее, чем сердце и расположенное во всей груди от живота до горла. Он слышал, что мать и Иловайский стучат в дверь, однако не отпирал, смотрел, как в колбе образовались четыре части, одна на другую севшие. На верхней нельзя было остановить глаз по причине великого сияния,

в середине была хрустальная часть, далее следовала красная, как кровь, и в самом низу — черный дым, беспрерывно курящийся.

— Савелий, — кричала мать его, — отопри, мальчик, мы тебе поможем.

Однако Савелий знал, что отпирать не следует, пока все не завершится.

— Не дури, старик, — услышал он голос Иловайского, — и безумцем надо притворяться себе во благо.

— Гавриил, — сказала мать, — сходи за дворником, будем ломать дверь, — и она громко заплакала.

Савелий слышал, что за дверьми уже много людей, кто-то что-то подвинул, кто-то налег плечом, что-то металлическое лязгнуло. И в этот момент раздался сильный взрыв, обожгло Савелия, он ощутил нечто острое, рванувшее его за левую щеку и левую руку, ибо левой стороной он был повернут к колбе. Он стоял, чувствуя разрастающуюся боль, пока не полилась кровь, когда же полилась кровь ручьем из щеки и ладони, он упал и потерял сознание. Но в мгновение до потери сознания он понял ошибку свою. Взрыв был следствием недостаточно прочной колбы, и форма ее была подобрана неудачно — продолговатая, тогда как необходимо было использовать колбу круглую, подобно шару.

Вбежавшие в комнату Иловайский, Клавдия, слесарь жэка и пророчица Пелагея, подменявшая отца своего, дворника, увидели картину страшную. Все было в злом ядовитом дыму, частью темного, частью желтоватого цвета, пол широко залит каким-то скользким, жирным раствором, брызги которого были также и на мебели, осколки стекла разорванной колбы хрустели под ногами, а из колбы вывалилась какая-то масса, напоминающая ил и пахну-

щая болотом. Савелий лежал среди всего этого хаоса на полу, израненный стеклом, окровавленный.

Незачем говорить о горе Клавдии, матери израненного безумца, незачем говорить о тревоге и растерянности всех, кто увидел происшедшее. К счастью, "скорая помощь" явилась вовремя, и Савелию эта скорая помощь была оказана. Его перенесли на тахту в гостиной, обработали раны, которые оказались неопасны, хоть и обильно источали кровь. Савелий открыл глаза.

— Что с тобой, сыночек, — упав перед ним на колени, спросила Клавдия.

— Мама, — тихо сказал Савелий, — мне кажется, что голова у меня стала маленькой, как булавоочная головка, и через нее хотят продеть что-то очень большое, — он прижал ко лбу забинтованную руку.

Вскоре Савелия увезли. Когда Савелия увезли, пророчица Пелагея пришла в себя, опустила на колени и сказала:

— Согрешила я, Господи, против раба Твоего Савелия... Как замолить грех сей?

И поняла пророчица, что не сделала бы так, не будь с ней рядом опять Сатаны. А Сатана только к женскому ее приходил всегда, и ныне неспроста он к женскому явился. Вдруг поняла она, зачем в этот раз Сатана явился, и страшно ей стало. Но вспомнила она дочерей Лота, во имя продолжения рода после гибели грешного Содома напоивших отца своего и спавших с ним, отчего продолжался род моавитян. Вспомнила она, как великая моавитянка Фамарь, переодевшись блудницей, спала с тестем своим Иудой, продолжив тем колена Иудино и создав Дом Давида, откуда и премудрый Соломон, и Мессия Христос родом. Ей же было знамение осуществить свою Идею через насилие с помощью Сатаны, ибо в любви дочери к отцу — нежность, в страсти

женщины к мужчине — жестокость, а Господь не может быть жесток.

Вот возвращается откуда-то отец ее Дан, Аспид, Антихрист, и садятся они ужинать. К ужину этому приготовила пророчица Пелагея подобно дочерям Лота бутылочку домашнего вина, настоящего на лесных травах, которое через Веру передала староверка старуха Чеснокова из города Бор Горьковской области. Думала оставить эту бутылочку пророчица Пелагея на веселый праздник Симхат-Тора, радость чтения Торы, но поняла — сейчас пора, ибо надлежало исполниться Идее. Вот Сатана уже частью своей явился. А Сатана имеет обыкновение являться частями, у человека это как бы постепенное заглядывание в дверь. У Сатаны же сперва копыта являются, затем к ним — туловище косматое, а потом уж вырастает мудрое козлиное лицо лукавого пессимиста.

Хороша старушечья наливка на лесных травах. Выпил Антихрист подобно Лоту из Содома и увидел сбереженное налитое, по-женски не потраченное и не изношенное тело своей любимой дочери. Руки ее были округлы, плечи широки, но не по-мужски широки, в них не кость мужская чувствовалась, не жилистый мускул, а цепкая женская сила роженицы. Антихрист знал, что женщина эта физически сильна, как сильны бывают крестьянские, северные жены-красавицы. Для девушки она была уже не молода и как любимый отец любимой, во всем ему доверяющей дочери, он знал, что она еще не тронута. Есть старые девы, которые не плодонося засыхают. Она не засохла, это было чудом долгого цветения, как существует чудо долгой жизни. Но даже долгожители умирают, и любое чудо имеет свои границы. Через лукавого пессимиста Сатану Антихрист понял, что ему, отцу суждено положить предел этому неплодо-

носящему цветению дочери. Она не была ему дочерью по крови, но она была ему дочерью по душе, он взял ее крошкой из рук матери на пороге смерти, вырастил ее, теперь же ему надлежало совершить то, что невысказано без помощи Сатаны. Он не видел Сатаны, он чувствовал лишь терпкий запах влажного, теплого тела, дурной, несвежий, острый селедочный запах, запах того, что всегда далеко упрятано и тлеет в тепле, а теперь обнажилось... То был запах соблазняющего Сатаны, который уже явился частью своей, ибо Сатана является частями и постепенно, чтоб подготовить и приучить к себе.

Дан, Аспид, Антихрист понял, что назад уж нет пути, позади лишь проклятие, понял, что погубит свою мечту, если обнимет сейчас Руфину ласково, по-отцовски, а не схватит ее силой, как мужчина, готовый к мужскому деянию. А если схватив, промедлит и не опрокинет сразу, то уж погубит надежду окончательно. Но он, Аспид, был хитер, он решил дать дочери возможность повернуться спиной, чтоб схватить. Когда она обернулась к буфету, было самое время, и все-таки он промедлил и схватил в момент для себя неожиданный. Она пошла за чем-то в дальний конец комнаты и до кроватей, ее девичьей за ширмой и его раскладной, было далеко, поэтому он опрокинул ее прямо на пол. Однако далее случилось то, что он менее всего ожидал. Он думал, что она будет сопротивляться руками и коленями, а она сильно вцепилась ему зубами в ладонь, укусила не так, как кусает человек, женщина, а как кусает зверь, без оглядки, чтоб насквозь, пренебрегая болью того, кто схвачен зубами. Антихрист застонал от физического страдания и от неожиданности, рука его разом онемела до самого предплечья, и не думал уже Антихрист ни о чем, кроме как о том, чтоб спасти руку. Но в тот момент,

когда он решил отступить, Сатана помог ему отвлечься от жуткой боли в ладони и понять, что этим только и ограничено сопротивление Руфины, которая не может так просто поддаться в женском любимому отцу своему. Однако сильные колени ее, главная защита женщины, неподвижны и податливы. Тогда своей свободной, не схваченной зубами рукой Антихрист помог себе во всем, чего хотел и о чем мечтал.

Так свершилось и наступило мгновение, когда Сатана явился весь, всеми частями своими, и жестокая сладость гибели волной прошла по телам их в надежде, что сердца их одновременно откажут и оба умрут в счастье. Но как ни стремились они оба удержаться в этой губельной сладости, та же сила, которая погрузила их в нечеловеческое, низвергла их оттуда вон, назад к жизни, к боли и страху перед смертью, и сердца их, взяв разом крутой подъем, преодолели блаженство Вечного Сна...

Что-то мелькнуло еще во тьме комнаты, то был лик исчезающего Сатаны, красивый и печальный, а вовсе не злобно-сатирический, каким он бывает в соблазнах, когда человек борется с ним.

Часы пробили два ночи. Обоим хотелось пить, как во время болезни, слюны было мало во рту и она была вязкой. Руфина встала с постели и, не зажигая света, зашелестела во тьме одеждой своей, которая была смята Антихристом и может даже порвана кое-где. Она разделась и легла на кровать. Антихрист тоже снял рубашку и лег рядом.

— Что же теперь будет? — тревожно спросил он.

— Помолчите, отец, — сказала Руфина, ибо став ему женой, она по-прежнему звала его "отец".

Антихрист подчинился дочери своей, изнасилованной им, поскольку не было у них иного пути к Идее. Они лежали, а ночь, как обычно, жила и рабо-

тала и стремилась к своему концу. Сначала ночь стремилась к концу незримо, незаметно, ни в чем не меняясь, затем, побледнев, побелев и начав движение.

— Что же теперь будет? — снова сказал Антихрист, когда явился нервный красноватый отблеск, совсем уж чуждый ночному покою. Это была уже не ночь, а заря.

— Помолчите, отец, — опять приказала дочь его, ставшая ему женой.

И теперь они оба лежали среди неистового, торопливого труда утренних сил, расчищающих небо и землю под возрождающийся гомон птиц. Когда же стало все ярким, ясным и негде было скрыться от света, он в третий раз спросил:

— Что ж теперь будет?

Она не ответила. Она спала с красивым, добрым, по-утреннему чистым и свежим лицом. Тогда лишь узнал Антихрист от Господа, что дочь его Руфина, есть в действительности пророчица Пелагея из села Брусяны подо Ржевом.

Как праведника Иова Господь отдал в руки Сатаны, дабы он, претерпев мучения, укрепился в вере, так и отец с дочерью были ради Божьего отданы Сатане, постоянному, необходимому участнику трагической Господней драматургии. Вспомнил Дан, Аспид, Антихрист пророка Исайю. "Тогда сказал Исайя: слушайте же Дом Давида! Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак сам Господь дает вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына и нарекут ему имя: Еммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе". Далее говорит Исайя: "И приступил я к пророчице и зачала и родила сына". Антихрист знал, будучи образованным иудеем, подобно

Брату своему, что это не был еще тот Сын, но это был сын-знамение. А без знамения не может совершиться ничего Божьего. Ныне после Дома Давидова дано прославиться Дому Данову, возвестив: "Младенец родился нам, Сын дан нам".

Как понял это Антихрист и как свершилось, зато сковал он по прошлому своему и по земле своей. Так лишь в начале тосковал, когда еврейским юношей, почти мальчиком явился в 1933 году вместе со второй казнью Господней, голодом, на Харьковщину в Дмитровский район, село Шагаро-Петровское. Тогда особенно часто шептал он о любимом святом Городе многовековую клятву — проклятие: "Если я забуду Тебя, то пусть язык мой присохнет к горани".

Подлинная Родина человека это не земля, на которой он живет, а нация, к которой он принадлежит. Нет ни русской, ни еврейской, ни английской, ни турецкой, ни иной какой-либо земли. Вся земля Господня, и Господь — единственный коренной житель на земле. И подлинное право на тот или иной кусок Господней земли дают не исторические завоевания, не исторические перемещения, не факт многовекового владения, а то, сделала ли нация кусок Господней земли плодотворным и порядки на нем справедливыми, или подобно гоголевскому Плюшкину гноит нация обширные пространства Господни, попавшие к ней в руки. Жестоко спросит Господь с такой нации за Имущество Свое. Но воздаст Господь нации, хранящей Имущество Господне.

И ныне увидел Антихрист Город, но иным, не цветущим, а возрождающимся от четырех казней Господних. Таким он был после Вавилонского угнетения, согласно Книге Неемии, ибо при возрождении, после Вавилонского угнетения, не было, как после Египетского угнетения, единого Моисея, а

был Неемия, который вел народ из Вавилона, и был Ездра, который учил народ Закону.

”И встал Елияшив, великий священник, и братья его, священники и поставили Овечьи ворота. Они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела. И подле него строили Иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота Рыбные строили уроженцы Сенаи, они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремоф, сын Урии, сын Гаккоца, подле них чинил Мешуллам, сын Берехии, сын Мешизабела, подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фекойцы; впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинил Иоиада, сын Пасаха, и Мешуллам, сын Бесодии, они покрыли их и вставили двери их, и замки их и засовы их...”

Так, с муравьиным упорством слабыми людскими руками восстанавливали Вечное.

”На втором участке чинил Малхия, сын Харима и Хашшув, сын Пахаф-Моава, они же чинили и башню Печную... Ворота Долины чинил Ханун и жители Заноаха... И еще чинили они тысячу локтей стены до ворот Навозных. А ворота Навозные чинил Малхия... Ворота Источника чинил Шаллум... Он же чинил стену у водоема Селах, против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука... до гробниц Давидовых, и до выкопанного пруда, и до дома Храбрых... А подле него чинил Езер, сын Иисуса... насупротив востока к оружейне на углу... За ним Фалал... насупротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного... Нефинеи... починили насупротив Водяных ворот... Далее ворот Конских чинили священники...”

Однако в падшем мире рядом со Строителями — всегда Разрушители, и их тоже следует понять. Нынешний либерал и гуманист всегда скорее поймет великую правду Разрушителя, чем узкую правду Строителя. Недаром с конца XIX века позолоченные слова либерала всегда идут впереди ножа убийцы. И действительно, ведь Строитель эгоистично трудится для себя, тогда как Разрушитель бескорыстно старается для всех. Разрушитель всегда обделен, хотя бы у него всего было вдоволь. Его всегда жалко, он всегда теряет. Ибо в падшем мире не найти это значит потерять.

Сказали Разрушители, жившие окрест на широких просторах, пожаловались обычной жалобой своей, неизменной со времен Вавилона:

— Неужели они когда-нибудь кончат? Неужели они оживят камни из груды праха и притом пожженного?

Однако опытный Строитель всегда знает, чего следует ждать от страданий Разрушителя и как тяжело Разрушителям чужое благо. Тогда Разрушителями были Санаваллат, Хоромит и Товия, жившие на просторах, доставшихся им безвозмездно после Вавилонского нашествия. Вот слова Неемии, сына Ахалиина, бывшего виночерпия персидского царя Артаксеркса, Неемии, возглавившего тех, кто строил:

— Мы однако же строили стену и сложена была вся стена до половины ее. И у народа доставало усердия работать... А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят как вдруг мы войдем в середину их, и перебьем их, и остановим дело. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их, помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, за дочерей своих, за жен своих и

за дома свои... С того дня половина молодых людей у меня занимались работою, а другая половина их держала копыя, щиты, и луки, и латы... Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною рукою производили работу, а другою держали копье... И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего; у каждого были под рукой меч и вода.

Все это вспоминал Антихрист весьма часто и пребывал в задумчивости. С того дня, как через Сатану стал Антихрист мужем дочери своей, не оскудела у пророчицы Пелагеи днем любовь к отцу своему, но явилась также ночью страсть к мужу своему. И зачала Пелагея так, чтоб по ее расчетам разродиться младенцем к ранней весне, к празднику Пурим, празднику веселому. С тех пор, как зачала Пелагея, ходила она всегда с отцом своим, ибо знала, что не всегда он будет с ней. Отец заботился о ней и зная, как нужен роженице воздух не городской, уезжал часто с ней от города подальше, в осенние пригородные леса, ибо уже наступила осень.

Однажды приехали они в местность малолюдную, овражистую и с возвышением, поросшим лесом. Был с ними и Андрей Копосов, также знавший уже, кто в действительности отец его и кто сестра его, ставшая также и приемной матерью ему, и зачавшая от отца его младенца. Когда взошли они на возвышение, сказал им Дан, Аспид, Антихрист, посланец Господа через евангелиста Матфея, самого достоверного, словами Брата своего из колена Иудина:

— Не думайте, что Я пришел нарушить Закон или пророков, не нарушить пришел Я, но исполнить, ибо истинно говорю вам, доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота, ни одна черта не прейдет из Закона, пока не исполнится все.

Тогда спросил Андрей Копосов, идущий к Богу самым трудным, третьим путем, не через веру, и не через неверие, а через сомнение наподобие праведника Иова, спросил Андрей Копосов, раскрыв маленькое карманное Евангелие, которое всегда было с ним:

— Отец, отчего же Брат ваш Иисус из колена Иудина в семнадцатом и восемнадцатом стихах главы пятой Евангелия от Матфея прямо говорит о том, что Он пришел исполнить Закон Моисея, а со стиха двадцать первого он начинает говорить иное, в стихе же тридцать восемь и в стихе тридцать девять говорит: "Вы слышали, что сказано: око за око, зуб за зуб, а я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую". В стихах сорок третьем и сорок четвертом говорится: "Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас".

Ответил Дан, Аспид, Антихрист, посланец Господа:

— Верно все сказано, и нет здесь противоречия. Как верующий иудей, как гений, общающийся с Богом он сохраняет и исполняет Закон Божий, дабы сохранить Бога для человека, о чем и говорится в семнадцатом и восемнадцатом стихах. Это его первая Истина, Моисеева. Но как мудрец, Спаситель и Мессия Он знает, что грешник в падшем мире не способен любить Бога согласно Заповедям Моисеева Закона и не способен исполнить простые Заповеди Божьи: не убий, не укради, не прелюбодействуй. Не способны внушить это злым грешникам и Божьи пророки, глас которых есть глас вопиющих в пустыне. Оттого для спасения падшего мира, призвал

он не чуждый миру Божий Закон пророков, а понятные каждому грешнику заповеди доброго человека, самоотречением которого, самопожертвованием которого грешник живет, как червь яблоком. Так, не Божьим, а человеческим спасается для Бога падший мир. Об этом и говорит Брат мой Иисус из колена Иудина. Это Заповеди не для многих, но они спасают многих. Это его вторая Истина. А третьей Истины быть не может... И так говорит Иисус, Брат мой, оканчивая Нагорную проповедь свою: "Будьте совершенны, как Отец ваш небесный..." Таковы слова того, кто постиг Божье, сказанные для тех, кто не способны во грехах их постигнуть Божье и должны спасаться иным, человеческим совершенством, ибо доброта это тоже совершенство.

Тогда спросила пророчица Пелагея, приемная дочь Дана, Антихриста и жена его:

— Отец, для кого же принес спасение Брат твой Иисус Христос: для гонимых или для гонителей, для ненавидимых или ненавидящих?

Ответил Дан, Антихрист:

— Конечно же для гонителей принес спасение Христос и для ненавидящих, ибо страшны мучения их. Страшны страдания злодея-гонителя.

— Отец, — сказала пророчица Пелагея, — а как же спастись гонимым, как спастись тем, кого ненавидят?

Ответил Дан, Антихрист:

— Для гонителей Христос — Спаситель, для гонимых Антихрист — Спаситель. Для того и послан я от Господа. Вы слышали, что сказано: любите врагов ваших, благословите проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. А я говорю вам: любите не врагов ваших, а ненависть врагов ваших, благословляйте не проклинающих вас, а проклятия их против вас,

молитесь не за обижающих вас и гонящих вас, а за обиды и гонения ваши. Ибо ненависть врагов ваших есть Печать Божья, вас благословляющая. Если ненависть многовековая и всеобъемлющая, если страсть этой ненависти искренняя, если не сам ненавидящий ненавидит, а точно нечто внутри его ненавидит, если порой и разум ненавидящего не может совладать с ненавистью его, если вокруг этой ненависти создаются идеологии и империи, значит Господь через эту ненависть посылает ненавидимому знамение. Ненависть людей друг к другу не так уж редка в падшем мире, и она весьма часто также мелка, как падший мир. Но только один Господен народ достоин чести быть ненавидимым вселенской плодотворной ненавистью более двух тысяч лет неизменно и на протяжении более чем десяти империй—Вавилонских башен. Ничем он не выделен от остальных народов и ничем он не лучше, но этой неизменной ненавистью выделен и этой ненавистью лучше.

Так окончил говорить Дан, Антихрист, посланец Господен, который знал уже, что недолго ему быть здесь, ибо окончились нынешние четыре казни Господни, когда же новые мучения будут посланы, один Господь знает. Конечно, казни эти никогда не покидают падший мир, но есть грешные периоды, когда они обновляются и приобретают особую силу. Тогда и может вновь явиться Антихрист, хоть может и не явиться—это уж как Господь задумает. Поэтому пророчица Пелагея знала, что предстоит ей расстаться с отцом своим и мужем своим надолго, если не навсегда. Однако она не знала, когда и как состоится прощание, и молила Господа, чтоб хоть после рождения младенца свершилось это. Так в любви и тревоге прожили они до Рождества.

Рождество в этом году было не очень морозное, но ветренное, беспокойное. Скромно отметил Дан,

Антихрист рождение Брата своего, отметил наедине с пророчицей Пелагеей, дочерью своей и женой. Отметим он мыслями о Брате и в беседе с дочерью своей, которой от него надлежало родить младенца. Сказал он:

— Всякий рождается духовно нищим, рождается глупым и рождается злым. Но пока он неразумный младенец, то живет в раю Божьем. Когда же являются зачатки сознания, то мигом изгоняется из рая на свои хлеба, и вот нищета, глупость и злоба подстерегают его. Как же вернуться к Богу, живя в сознании на своих хлебах? Против нищеты — гении, против глупости — пророки и мудрецы, а против злобы — люди добрые, безымянные. Не земной гений Пушкин это, и не Шекспир, не Божий Моисей, не пророк Иеремия и не пророк Исая. Только те это, которые целиком раздадут себя в настоящем и от которых ничего не останется в будущем. И если оставит что после себя добрый человек, если станет он известен и прославится, если скажут о нем — этот был добр, значит не подлинную доброту он раздавал, не до конца задуманное исполнял. Только безымянный, неотблагодаренный праведник творит доброту до конца. Вот для чего рожден был Брат мой из колена Иудина, ибо Он — единственное утешение и награда безымянным праведникам, которые живут для спасения гонителей. Я же пришел, чтоб наградить и спасти гонимых.

Ночью проснулся Антихрист, поднялся на локте, вспомнил свои слова о себе, которые вложил ему в уста Господь, улыбнулся, посмотрел на дочь свою, которая спала подле него теплая, большая, с красивыми желтыми пятнами от беременности, посмотрел в ночное окно, за которым блестели рождественские звезды, а одна звезда среди них была ярче всех их сонма, посмотрел и мягко простился

он с миром Божиим, простился с дочерью своей, коснувшись ее лба губами осторожно, чтоб не разбудить. После опять заснул Дан, Аспид, Антихрист, пожил он еще во сне часа три с небольшим и умер на рассвете, мигом забыв бывшее с ним земное, как забывают иногда напрочь ночной сон при утреннем пробуждении.

Дочь же его, пророчица Пелагея и после того, как отец ее пробудился от земного, продолжала спать рядом с остывающим телом, которое некогда принадлежало отцу ее. Снились ей похороны, которые снились и Аннушке Емельяновой, нечестивой мученице, в немецком свинарнике. Однако Аннушке Емельяновой снился гроб матери, стоящий под сильным дождем посреди двора по адресу: город Ржев, третий участок, третий барак...

У пророчицы Пелагеи место точно указано не было, хоть были они с Аннушкой Емельяновой почти землячки, ибо неподалеку село Брусяны от Ржева. И не дождь был перед пророчицей Пелагеей, а солнечный день. Вот густая толпа народа идет и несет четыре гроба. Вошла толпа с гробами на узкий, но длинный мост. Прошла немного, оставила один гроб на мосту, прошла дальше, второй гроб на мосту оставила. Когда же сошли с моста, то третий гроб на воду пустили и четвертый гроб чуть подальше, пройдя берегом, тоже на воду пустили. Но не уплывают гробы по течению, а колышатся возле берега. Вдруг из гроба, который ближе к берегу, крепкая здоровая девушка вываливается, вываливается. Упала она и стала по горло в воде. Тогда из гроба, который колыбался подальше от берега, встал юноша, опустил в воду, пошел по воде к девушке, вывел ее за руку на берег к народу и вернувшись опять лег в свой гроб, который начал медленно уплывать и удаляться. Девушка же, с кото-

рой текла вода, едва выйдя на берег, заговорила очень громко, как безумная говорила, но не на том языке, на котором до смерти говорила, не по-русски. И изменилась она, потемнела, почернели волосы ее, округлость тела исчезла и по-южному быстры стали жесты. Люди, стоявшие на берегу, бережно, почтительно взяли ее за мокрые руки, повели и привели в какое-то помещение. Там девушка была уже в сухом платье, обнажающем ее колени, и с сумочкой белой, вышитой бисером. Но монолог ее продолжался, хоть и не так он безумен казался и не так был громок. Монолог этот на непонятном языке, первобытном, может быть, диком, пещерном, ни на что не похожем. И все ж, нет-нет, да мелькнет в этом потоке непонятных гортанных слов, привычное русское слово. Однако по слову этому ничего нельзя определить и угадать. А люди жадно слушают и смотрят на жесты этой девушки. Кто в комнату не попал, не поместился, те в окна глядят, в щелку дверную заглядывают, толпой стоят у входа. Много часов слушают, хоть ничего не понимают. Пророчица Пелагея вначале опасалась войти в комнату, а потом подумала: "Что она мне сделает?" — и вошла. Вошла и говорит покойнице:

— Здравствуй...

— Здравствуй, Пелагея, — по-русски отвечает покойница и вновь начинает чужое многословье, среди которого нет-нет да и мелькнет случайно русское слово.

Меж тем народ чем дольше слушает девушку-покойницу, чем больше не понимает, тем чаще поддакивает.

— Да... Ой, вот те раз... Надо же...

И вроде другой уже народ вокруг, не траурный, не похоронный. Много молодежи, разноцветные платья, лица не сумрачные, не задумчивые...

Так, с облегченной душой проснулась Пелагея от тяжелого сна и видит — за окном утро рождественское, морозное, солнечное, веселое. Обняла она отца своего, чтоб его разбудить и рассказать ему странный свой сон, однако тотчас же с брезгливостью отпрянула прочь. За мгновение до того, как в сознании своем была она поражена людским горем от смерти любимого, в чувствах своих испытала она истинно библейскую брезгливость к мертвому телу. Она знала, что в каждом слове, которое отец сказал, а она запомнила, и даже в каждом предмете, который отец видел и к которому прикасался, больше его, чем в этом безвольном, оставленном им навек теле. Недаром в древние библейские времена назореев, людям, посвятившим себя Богу, запрещалось прикасаться к мертвецу. Пока тело здесь, не может быть живой памяти о покойном. Тело следует быстрее предать земле, дабы то, что было дорого, воскресло.

Так она и сделала, скромно и незаметно, и помог ей в этом брат ее Андрей Копосов. В скромном недорогом гробу, на общедоступном ширпотребовском кладбище дети похоронили отца своего, помертвев сердцем. Однако уже когда шли они с кладбища, сердца их ожили. Отец был опять с ними. С тех пор редко они разлучались и с отцом и друг с другом, но не были при том другу другу в тягость и не уставали друг от друга.

Родила Пелагея в начале марта, как раз в праздник Шушан-Пурим, пятнадцатого Адара по еврейскому календарю. Это был праздник избавления евреев от угрозы полного истребления по замыслу Амана, грека, иностранца в Персидской империи, за триста пятьдесят семь лет до Рождества Христова попытавшегося окончательно решить еврейский вопрос, спасти человечество от евреев и заодно уж

также спасти его от Рождества Христова, дабы, как сказано в указе: "Сии люди не препятствовали нам в последующее время проводить жизнь мирно и безмятежно до конца".

Однако благодаря стараниям Эсфири-иудейки, женщины, мирное человечество не было избавлено от Рождества Христова. Сам же Аман, грек-избавитель был по приказу царя повешен. Так провалился первый греческий заговор против еще не родившегося Христа. Но второй греческий заговор, осуществленный после смерти Христа, был отчасти удачен. Чаша была разбита. И ныне, когда минуло четыре тяжких казни Господни, опять этому заговору противостояла женщина — пророчица Пелагея из села Брусяны подо Ржевом, родившая младенца — знамение от приходившего отца ее, Антихриста, Брата Иисуса Христа.

Младенец этот, названный Дан в честь отца своего, был иудейским обликом в отца, но глаза имел материнские, северные, ржевские. Подобно всем здоровым младенцам, пребывал он в Божьем Раю, однако было видно уже по некоторым неуловимым признакам, доступным лишь Пелагее, родной матери-пророчице, что покинув Божий Рай младенчества, Дан выделится из многих, а став юношей, выделится из всех. Быстро минет он пору поисков, а когда найдет, то быстро поверит в найденное. Полюбит он всей душой пророков библейских, но более всех полюбит пророка, навек оставшегося неизвестным, условно включенного в книгу пророка Исаяи и условно названного Второисайя. Потому чаще других читала теперь пророчица Пелагея неизвестного пророка Второисайю, каждое слово которого, как бы знаменуя Божественность смысла, заключенного в нем, горело не сгорая, подобно терновому кусту Моисея.

”Вот Отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на Него и возвестит народам суд, — так читала пророчица Пелагея, мать младенца Дана. — Долго молчал Я, — читала она, — терпел, удерживался, теперь буду кричать как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Я предал хребет Мой бьющим и ланиты Мои поражающим, лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания”.

Так сказано было неизвестным пророком Второисайей за полтысячи лет до Вифлеемской звезды. Сказано: ”И Господь Бог помогает Мне, поэтому Я не стыжусь, поэтому Я держу лице Мое как камень и знаю, что не останусь в стыде. Близок Оправдывающий Меня. Кто хочет состязаться со Мной? Станем вместе. Кто хочет судиться со Мной? Пусть подойдет ко Мне”.

Вот короткая, всего в двенадцать стихов пятьдесят третья глава Второисаи. Весь дух Евангелия, драматургия Евангелия и даже во многом основной сюжет Евангелия — в этой маленькой главе, написанной Второисайей за полтысячи лет до Рождества. Все, что есть творческого в Евангелии, дано в этой главе. Нет в ней лишь языческих украшений и языческого смысла, которым впоследствии через греческого опекуна Евангелие было унижено. Вот Евангелие от Второисаи, самое древнее, первоосновное, самое поэтическое. Не Евангелие-летопись, как все остальные, а Евангелие-пророчество.

”Господи! Кто поверит слышанному от нас и кому открылось мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлек бы нас к Нему. Он бы презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, мы отвращали от

Него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши, наказание мира нашего было на Нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу; и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих; как овца, веден Он был на заклание, и, как агнец пред стригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он был взят, но род Его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Но Господу угодно было поразить Его и он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он будет смотреть с довольством; через познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу Свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за преступников сделался ходатаем”.

Таково Евангелие от Второисайи, единственное пророческое Евангелие. Несмотря на то, что оно пророческое, то есть написанное задолго до того, как свершилось, в нем более сути и смысла, чем в Евангелиях, написанных значительно позднее того, как свершилось. В нем последней фразой указано, кем является Христос: ходатаем за преступников,

которых большинство. Однако не ходатаем за жертвы.

Конечно, в мире философии, в мире Единства, в пространственном мире общих понятий преступник и жертва неотделимы, и потому Христос философ — ходатай за всех. Однако в мире религиозном, в мире Полярности основных понятий, в мире подвижном, временном, библейском преступник в каждый конкретный момент четко отделен от жертвы, и Христос в религии является лишь ходатаем преступника. За жертву же ходатайствует Антихрист. Вот почему в античном пространственном мире Христос и Антихрист как бы слиты воедино, ибо в античном мире жертву нельзя отделить от преступника.

Не только о Христе, но и об Антихристе сказано у Второисаи: "И поведу слепых дорогой, которой они не знают, неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними и кривые пути прямыми, вот что Я сделаю для них и не оставлю их..., — так говорил ходатай не только преступников, Христос, но и ходатай жертв, Антихрист, — будешь ли переходить через воды, Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя".

Через Антихриста, посланца Своего обращается Господь к жертве: "Я, Я Господь и нет Спасителя кроме Меня... Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матерней; Я Господь, который сотворил все, один распростер небеса и Своею Силою разостлал землю. Который бездне говорит: иссохни!" А притеснителям, за которых ходатаем выступает Христос, Антихрист, ходатай ныне притесненных, говорит: "И притеснителей твоих накормлю собственной их плотью, и они будут упоены кровью своей, как молодым вином."

Вот Я беру из руки твоей чашу опьянения, дрожжи из чаши ярости моей; ты не будешь уж пить их. И подам ее в руки мучителям твоим, которые говорили тебе: пади ниц, чтоб нам пройти по тебе. И ты хребет твой делал как бы землею и улицею для проходящих”.

Так говорит Антихрист, отец пророчицы Пелагеи и отец сына ее, Антихрист, который в мире философском, в мире Единства есть враг Христу, а в мире религиозном, в мире Полярности есть Христу Брат, дополняющий в справедливом Божьем судопроизводстве. Так читала Второисайю и понимала его пророчица Пелагея.

Когда младенец окреп, часто начала ездить с ним пророчица Пелагея в местность загородную, малолюдную, овражистую с возвышением, поросшим лесом, где отец Пелагеи учил ее и брата ее Андрея Копосова. Вместе с ней бывал там и Андрей Копосов, брат ее, и Савелий Иволгин, сосед, согласно врачебному заключению практически излечившийся от душевной болезни своей. И верно, лицо его ныне потеряло прежнюю опасную живость, свидетельствующую о внутреннем многоголосии, стало менее одиноким, и с бóльшим доверием глядел он на мир, не подозревая более, что мир что-то замышляет против него и что-то от него утаивает. И вопрос познания не был более для него ироническим вопросом. Он знал уже, что в мире нет Единства, и потому вопрос познания житейский, а не трагический и роковой, каким он был бы при всеобщем единстве явлений и понятий. Помнил он также и основную религиозную заповедь неизвестного пророка Второисаи, которой подытоживались его откровения. Вот она из главы пятьдесят пятой, стих шестой: ”Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко”.

Так, благодаря новейшим методам лечения, благодаря отказу от поисков единства мира, чему научил его покойный человек из колбы, и благодаря великой заповеди пророка, успокоился душой Савелий, стал приятен в общении, и пророчица Пелагея охотно приглашала его с собой на загородные прогулки.

Когда наступила первая годовщина ухода отца ее, Антихриста, как раз на Рождество Христово собралась пророчица Пелагея с младенцем загород. Поехали с ней и постоянные спутники, Андрей и Савелий. Младенца своего Пелагея запеленала тепло, поскольку, хоть и не было нынешнее Рождество ненастным, ветреным, как прошлое, но с морозцем и густым снегом, который с самого утра валил, не переставая.

Зимой, особенно загородом в снежный день господствуют два цвета: белый и черный, ибо все темное на фоне белизны кажется черным. Потому, если посмотришь на стволы деревьев с той стороны, откуда ранее, может, ночью мела поземка, то все стволы точно братья белые, облепленные снегом, а с противоположной стороны, все они точно братья черные. От этих двух цветов и святость в зимнем лесу, и ходишь по нему с замирающей душой, как в храме Божьем. Святая мужская суровость в белом и черном, а все остальные цвета кажутся второстепенны и незаметны. Божественен зимний лес под белым куполом, пока не проглянуло солнце, не пробудило земные краски, земные, легкомысленные, радостно женские отблески, радостную голубизну в небе. Красиво это, приятно, но по-женски суетливо. Что-то является миготом от летнего, сладкого телу рассеяния, от летних, неистовых трат, когда чувствуешь каждый уходящий из жизни день свой. Но хорошей загородной деревенской снежной зимой

Бог как бы дает передышку человеку, уменьшает суету бытия, усиливает неподвижность, приятно обезличивает дни, и не чувствует человек потерь дней своих. Даже среди птиц, существ, наиболее оживляющих природу, главенствует неторопливая зимняя черная птица на белом снегу — ворона да галка. Яркий снегирь налетит, как случайное облачко, как нечто зыбкое, как крикливый женский цвет среди белизны, как мирское в храме...

С такими чувствами, словно в Божий храм, вошли в зимний лес Андрей Копосов, Савелий Иволгин и пророчица Пелагея с младенцем Даном, в котором уже пробуждались первые ростки сознания, радующие мать, но которому еще далеко было до изгнания из Божьего Рая. Пошли они, утопая в снегу, к тому месту на возвышении, где прошлой осенью учил Пелагею и Андрея отец. Осмотрелись они вокруг и видят: из низкого, земного все свято вокруг, а из высокого ни солнца, которому поклонялись солнцепоклонники, однако которому отказался поклоняться Авраам, ни неба, языческого божества, укрытого ныне белой пеленой, ни луны, мистического кумира, ныне погашенного земным святым днем Рождества, ни безбрежного простора звезд, главных, может быть, виновников многобожья, звезд, многоликой красотой своей надолго отвлекших древнего человека от Единого, Сущего Бога. Но сейчас близок Он, и это тот святой момент, когда можно найти Его, ибо зимний черный лес пылает своей белизной, как пылал некогда в пустыне перед пастухом Моисеем терновый куст. И слышали Андрей Копосов, сын Антихриста, Савелий Иволгин, грешник-алхимик, и пророчица Пелагея, жена Антихриста, голос Божий ясно, как никогда. Однако младенец Дан, лежавший в пеленках на руках у пророчицы и глядящий голубыми, север-

ными, ржевскими глазами своими в нависшие над ним снежные, свежие, пахучие ветви, услышал Господа так, точно Он стоял перед ним и держал руку Свою на лице его. Конечно, услышанное им будет надолго скрыто от него в сердце его, но когда придет срок, откроется ему, если будет он жить той жизнью, какая задумана для него Господом и сотворена отцом.

В библейской поэме о сотворении мира сказано, что Господь творил, а человек придумывал названия сотворенному, ибо ради немощи человеческой, Божье должно быть унижено через слово и наименование, то есть через искусство. Так и бездонные мысли Господа ради доступности их человеку унижаются через великое слово пророка. Но и слово пророка многократно унижено, если звучит оно без знамения, как был сейчас знамением для этих людей зимний святой лес. Сказано у пророка Исайи: "Проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине или на высоте". Вот что сказал Господь этим людям в зимнем святом лесу через пророка Исайю: "Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих".

Поняли люди в зимнем лесу, что только на Христа может уповать злодей, и Христом будет он прощен и утешен за пролитую им, злодеем, кровь. Но Господь не простит, ибо Христос — Спаситель, а Господь — Творец.

Всякая жизнь и всякая судьба, даже горькая жизнь и мучительная судьба, когда она проходит, должна складываться в Псалом, Хваление Господу за то, что она состоялась в отличие от жизней не родившихся и судеб не состоявшихся. Всякая жизнь,

даже горькая, есть удача и привилегия. Поэтому уже самым своим рождением злодей и отступник обманывает Творца. Христос же Спаситель, чистый сердцем, ибо чисто сердце, не знающее мук творчества, Христос послан Господом для того, чтоб не оставить тех, кого оставил сам Творец — Господь. Бесконечна и недоступна человеку сущность Господа, но в этой бесконечности только одна, может, не главная и не значительная сторона Господа доступна пониманию человека — Творец.

— Вот наступают дни, — говорит Господь через Амоса, самого древнего из пророков, зачинателя пророчества, — вот наступают дни, когда Я пошлю на землю голод, — не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания Слов Господних.

Эти времена ныне приближаются, и голод по Слову Господнему будет, может, самая страшная, пятая казнь Господня, казнь, возвешенная через пророка Амоса, как четыре прежних, возвешены были через пророка Иезекииля. От четырех прежних казней спасен был нечестивец, прощен через Христа — от первой казни — меча, от второй казни — голода, от третьей казни — зверя прелюбодейния, от четвертой казни — болезни — моровой язвы. Но от пятой казни — жажды и голода по Слову Господнему, не спасется нечестивец, и не спасет его ходатай за преступников — Христос. От голода по Слову Господню, от жажды по утешению Господню, умрет нечестивец в муках. Зато праведник насытится Словом Господним. Как сказано в книге пророка Исайи:

— И будет, прежде нежели они взовут, Я отвечу, они еще будут говорить, а Я уже услышу...

Сказано:

— Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте, и ешьте... Приклоните ухо ваше и придите ко Мне, послушай-

те, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду... Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напоет землю и делает ее способною рождать и произращать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и Слово Мое, которое исходит из уст Моих — оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно и совершает то, для чего Я послал его.

Так гений повторяет гения, и книга пророка Исаяи повторяет Второзаконие Моисея, где сказано о Божьем Слове:

— Полъется как дождь Учение Мое, как роса речь Моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву...

Поняли люди через знамение — пылающие святой снежной белизной черные лесные деревья, — что после четырех тяжких казней Господних грядет пятая, самая страшная казнь Господня — жажда и голод по Слову Господнему, и только духовный труженик может напомнить о ней миру и спасти от нее мир, напоив и накормив мир Божьим Словом. Тогда поняли они и суть сердечного вопля пророка Исаяи.

— О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!

Октябрь, ноябрь, декабрь 1974,
январь 1975.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I	7
Притча о потерянном брате	14
II	125
Притча о муках нечестивцев	129
III	199
Притча о прелюбодеянии	202
IV	263
Притча о болезни духа	269
V	327
Притча о разбитой чаше	341

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СТРАНА И МИР"



Издательство "Страна и мир" опубликовало на русском и английском языках "Список политзаключенных СССР", выпуск 7 (по состоянию на 30 октября 1985 г.). В списке приведены основные биографические сведения о 837 политических заключенных, известных поименно, указано место заключения, сообщаются сведения о семье. Даны фотографии многих политзаключенных.

К списку приложен справочный материал: таблица статей уголовных кодексов союзных республик, применяемых к политзаключенным, фотографии и планы основных мест заключения, таблицы официальных индексов мест заключения, сведения о режиме содержания заключенных.

Стоимость "Списка" – 30 н. м., вне Европы 12 долл. (включая пересылку авиапочтой), в Австралии и Новой Зеландии – 13 долл.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СТРАНА И МИР"

БОРИС ХАЗАНОВ



БОРИС ХАЗАНОВ. Идуший по воде. Статьи и письма.
250 стр. Цена в США, Канаде и Израиле 10 ам.долл.,
в Европе — 30 н.м.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СТРАНА И МИР"

Ю.КАРАБЧИЕВСКИЙ



ВОСКРЕСЕНИЕ
МАЯКОВСКОГО



Ю.КАРАБЧИЕВСКИЙ. Воскресение Маяковского.
280 стр. Цена в США, Канаде и Израиле 10 ам.долл.,
в Европе — 30 н.м.

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА "СТРАНА И МИР"

84

● СТРАНА И МИР

**ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ
И МАТЕРИАЛЫ**

**СТРАНА И МИР. Избранные статьи и материалы.
252 стр. Цена в США, Канаде и Израиле 10 ам.долл.,
в Европе — 30 н.м.**



СТРАНА И МИР

• das Land und die Welt • our country and the world • le pays et le monde • el pais y el mundo •

Ежемесячный общественно-политический экономический и культурно-философский журнал "Страна и мир" издается в Мюнхене под редакцией Кронида Любарского, Бориса Хазанова и Вадима Меникера. Оформление Б.Рабиновича. Представители журнала: в США Марк Поповский, в Израиле — Рафаил Шапиро. Корреспонденты журнала: Е.Фишер (Бонн), В.Кучинский, Г.Ферон (Париж), М.Филлимор (Лондон), Б.Вайль (Копенгаген), Я.Руссакис (Афины), Б.Шраги (Нью-Йорк), П.Ростин (Рабат). Стоимость годовой подписки в Европе 60 нем. марок (25 ам. долларов), в США, Канаде и Израиле — 35 ам. дол., в Австралии, Новой Зеландии и на Тайване — 45 ам. долл. Стоимость доставки включена в подписную плату.

Заказы и чеки просьба направлять по адресу
издательства: Das Land und die Welt e. V.,
Sendlinger Str. 37, D—8000 München 2.